

Александр Красницкий

ЦАРЕВНА НА ТРОНЕ



Книжный Дом

Царевна на троне //Книжный Дом, Минск, 2014
ISBN: 978-985-17-0750-4
FB2: , 13.05.2019, version 1.0
UUID: FC623494-CDEF-49B4-8433-D673715D674F
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Иванович Красницкий

Царевна на троне (История России в романах)

В книгу вошли два романа автора — «Царица Ганночка» и «Царевна на троне», в которых в захватывающей приключенческой форме повествуется о событиях второй половины XVII столетия. Романтическая любовь юного наследника российского престола Фёдора Алексеевича к дочери царского воеводы Ганночке Грушецкой и судьбы царевны Софьи и князя Голицына стремительно развиваются в вихре коварных интриг иезуитов, происков придворных московских «партий», козней бояр Милославских и Нарышкиных. Главные герои романов всей душой, всем сердцем радеют о благе горячо любимой православной родины, и их деяния оставляют глубокий след в её истории.

Содержание

#1	0010
Царица Ганночка	0009
#1	0010
I ГАННОЧКА ГРУШЕЦКАЯ	0010
II ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ	0019
III ТАИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ	0026
IV НЕВЕДОМЫЙ ХОЗЯИН	0033
V НАСЛЕДСТВЕННАЯ ОБИДА	0040
VI ОТ ГНЕВА К ГНЕВУ	0047
VII ЛЕСНОЕ ЛОГОВО	0056
VIII РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ БУРЯ	0064
IX ТЁМНЫЙ УМЫСЕЛ	0076
X СРЕДИ ЖЕНЩИН	0085
XI ЛУЧ НАДЕЖДЫ	0095
XII ТРУДНОЕ ДЕЛО	0102
XIII В ТУМАНЕ ГРЯДУЩЕГО	0107
XIV ВЫЗВОЛЕННАЯ БОЯРЫШНЯ	0115
XV В ЛЕСНОЙ ТРУЩОБЕ	0125
XVI ЗА ПОДМОГОЮ	0132
XVII ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ	0140
XVIII В ОБЪЯТИЯХ ЛЮТОЙ СМЕРТИ	0145
XIX ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ	0151
XX УСПОКОИВШАЯСЯ БУРЯ	0156
XXI НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО	0164
XXII КРОВОПРОЛИТИЕ	0172

XXIII СНОВА В ПУТИ	0180
XXIV ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ	0188
XXV ПОСЛЕ БУРИ	0196
XXVI НАРУШЕННОЕ ВЕСЕЛЬЕ	0204
XXVII ССОРА	0213
XXVIII ПОЕДИНОК	0222
XXIX ВЫРВАННАЯ ПОБЕДА	0230
XXX ОТЪЕЗД	0238
XXXI ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ	0247
XXXII ВСТРЕЧА ПОСЛЕ РАЗЛУКИ	0255
XXXIII ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ КРОВОМ	0264
XXXIV РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ	0277
XXXV НА МОСКВУ	0285
XXXVI ДУМЫ ЦАРЯ-ПРОФЕССИОНАЛА	0294
XXXVII ИНТРИГАНЫ СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ	0303
XXXVIII СЁСТРЫ-БОГАТЫРШИ И БРАТ- МЕЧТАТЕЛЬ	0312
XXXIX СЛУГА ДУШИ И ТЕЛА	0322
XL ВОРВАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ	0332
XLI ИСТОМНАЯ НОЧЬ	0339
XLII В ВИХРЕ ЛЮБВИ	0354
XLIII СУЖЕННЫЙ	0365
XLIV НА ЦАРСКОЙ ЧРЕДЕ	0377
XLV ЖДАННЫЙ СВАТ	0387
XLVI ИСПОЛНИВШЕЕСЯ ГАДАНЬЕ	0399
XLVII БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ	0410
XLVIII ПОД ВЛАСТЬЮ ЛЮБВИ	0422
Царевна на троне	0438

#1	0439
I ГРОЗНЫЙ АТАМАН	0439
II НЕЖДАННЫЙ ОКЛИК	0445
III ВНЕЗАПНАЯ ВСПЫШКА	0450
IV НЕЖДАННАЯ ВЫРУЧКА	0456
V В ЛЕСУ	0462
VI У ВРАТ ОБИТЕЛИ	0467
VII В ОБИТЕЛИ	0474
VIII НА СВОБОДЕ	0480
IX ТАИНСТВЕННАЯ БЕСЕДА	0485
X РАСКОЛЬНИЧИЙ ПОСЛАНЕЦ	0492
XI ТАРАРУЙ	0497
XII МЕЧТЫ ТАРАРУЯ	0503
XIII НОВАЯ ОПАСНОСТЬ	0509
XIV ДВА БРАТА	0514
XV ЛЮБОВЬ ОКОЛО ТРОНА	0521
XVI ВЕСТОЧКА ОТ МИЛОЙ	0527
XVII МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ДОЛГОМ	0534
XVIII НОЧЬ В САДУ	0540
XIX ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	0547
XX ПОСЛЕ НОЧНОГО СВИДАНИЯ	0554
XXI НА БАЗАРЕ	0559
XXII ПРИМЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК	0566
XXIII НА ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ	0572
XXIV ТАРАРУЕВ УЗНИК	0577
XXV ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИСЫЛ	0583
XXVI ПРЕД РОКОВОЙ ВСПЫШКОЙ	0589
XXVII СОРВАННАЯ СМУТА	0595

XXVIII ЦАРСКИЙ ОТЪЕЗД	0601
XXIX ЛЮБОВЬ И ТРОН	0608
XXX НА ПУТИ К ПЛАХЕ	0613
XXXI КОНЕЦ СТРЕЛЕЦКОГО БАТЬКИ	0620
XXXII ПОСЛЕ КАЗНИ	0628
XXXIII У КРЫЛЬЦА	0634
XXXIV ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ	0642
XXXV МУКИ ОЖИДАНИЯ	0648
XXXVI РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ	0653
XXXVII ПОСЛЕ ВСПЫШКИ	0657
XXXVIII ПОСЛЕ РАССЕЯВШЕЙСЯ БУРИ	0661
XXXIX МРАЧНЫЕ ТЕНИ	0666
XL ОСУЩЕСТВЛЁННЫЕ МЕЧТАНИЯ	0673
XLI РОКОВОЙ ЗАКАТ	0677

Царевна на троне



Царица Ганночка



ЦАРИЦА

ГАННОЧКА

ГАННОЧКА ГРУШЕЦКАЯ



анней неприветливой весной 1675 года по
асквернейшему просёлку от границы к пау-
ку-Москве двигался боярский поезд.

Видно было, что пробиравшийся из погра-
ничной глуши боярин был не из важных, так,
захудалый какой-то, а если и не захудалый, то
настолько обседевшийся в злосчастной и Бо-
гом, и людьми забытой мурье, что позабыл
там, в своей берлоге, как живут люди на све-
те. Там-то, у себя, он каков с вида ни был, —
всем и хорошим, и важным казался, хотя бы
потому, что видней его во всей захолустной
округе никого не было; но то, что было хоро-
шо для мурьи, для подмосковских мест, вся-
кие виды выдавших, казалось жалким, убо-
гим и смеха достойным.

Боярская колымага была бедная, подправленная, вершники и вся прочая поездная челядь рваные, чуть ли не в лохмотьях, лошадки тощие, чахлые, будто овса никогда не видали. Поглядеть со стороны — просто срам один.

Однако боярская челядь как будто и не знавала этого своего убожества. Вершники держались с наглой, вызывающей гордостью и на редких встречных проезжих так орали, требуя очистить дорогу, что у тех лошади шарахались с перепугу, а их седоки, с удивлением взглядывая на убогий поезд, только уже на большом расстоянии догадывались пустить вдогонку ему своё нелестное замечание.

Но всякое недовольство стихало, когда из возка выглядывала на встречного проезжего головка молоденькой красавицы-девушки.

Этот неважный поезд принадлежал московскому дворянину Семёну Фёдоровичу Грушецкому, внуку польского выходца, застрявшего в Москве во время лихолетья. Его отец ещё молодым человеком за какую-то дворцовую провинность был отослан Тишайшим на вотчину, т. е. попал в опалу. Там в глуши он и

скоротал свой век, и умирая, завещал своему единственному сыну, тоже успевшему состариться в отцовской опале, во что бы то ни стало восстановить блеск рода Грушецких, ещё недавно, при первых Романовых, славного и знаменитого. Но, какие хлопоты ни предпринимал Семён Фёдорович, — всё было напрасно. Вокруг Тишайшего во всё время его царствования так и кипели дворцовые интриги. Даже самому государю от них несладко жилось. Бояре так и грызлись, стараясь проглотить живьём один другого, и на Москве никому не было дела до сына давно позабытого чужака. Долгие годы опалы уничтожили всякую память о нём у гордых ближних бояр, а о сыне опального старика понятно и вовсе некому было думать.

Но в конце концов Семён Фёдорович, должно быть, надоел своими бесчисленными челобитьями о службе царской, которые он с упорством отчаяния слал на Москву с каждой оказией. Вернее всего только ради того, чтобы как-нибудь отвязаться от надоедливого челобитчика, ему дали в управление крохотное чернавское воеводство. Впрочем в том поло-

жении, в каком был Семён Фёдорович после смерти своего опального родителя, и это было хорошо.

Чернавск был хотя и захудалым городишкой, но всё-таки он был ближе к Москве, чем медвежий угол на границе Литвы, где была жалованная вотчина Грушецких, и Семён Фёдорович, даже недолго сбираясь, тронулся на своё воеводство, полный самых радужных надежд на будущее.

Он так спешил, что отправился один, даже свою единственную дочь, красавицу Ганночку, бросил на попечение мамушек да нянюшек — Грушецкий был вдов, — и только спустя порядочное время прислал приказ и дочери, нимало не медля, ехать к нему на житьё в Чернавск.

Теперь дочь ехала к отцу, и именно на Ганню-красавицу заглядывались случайные встречные, если им удавалось подловить то мгновение, когда молодая девушка выглядывала из возка, чтобы вздохнуть сырым, но чистым весенним воздухом.

И в самом деле хороша была собою Ганночка Грушецкая!

Предки-поляки передали ей типичную польскую красоту, растворившуюся в русской крови и слившуюся с русской красотой. Тонкие, словно точёные черты лица, русский здоровый румянец полымем во всю щёку, голубые с лёгкой поволокой глаза, нежно-золотистые волосы, непокорно выбивавшиеся кудряшками на высокий лоб, — всё это было стройно-гармонично и притягивало жадный мужской взгляд, надолго оставляя резко вливавшееся в память впечатление.

Предки-поляки дали девушке и ещё кое-что.

Грушецкие были герба Любеча, но вышли на Русь не так давно, чтобы польский дух, польский склад окончательно вытравился в них. Даже Семён Фёдорович, бывший по внешности уже настоящим русским, нет-нет да и проявлял кое в чём себя поляком. Единственную любимую дочь он воспитывал далеко не затворницею. Да впрочем в той глуши, где ему пришлось прожить долгие годы, собственно говоря, и затворяться было не от кого.

Грушецкие у себя в поместье жили как в

монастыре, часто по несколько месяцев подряд не видя никого постороннего. Может быть, изнывая от тоски, Семён Фёдорович и задумал воспитывать дочь совсем не так, как обыкновенно воспитывались на Руси девушки того времени.

Он выписал для дочери из Варшавы через знакомых старуху-польку, вдову когда-то богатого шляхтича, и поручил ей воспитание Ганны. Конечно, старая полячка повела дело по-своему и воспитывала Ганночку на родной ей лад. Семён Грушецкий тут не жалел денег. В его берлоге появились не только разные книги, но даже довольно сносные клавесины, и отец очень любил, когда дочь начинала играть на них в длинные скучные осенние и зимние вечера.

Войдя в девический возраст, Ганна, благодаря воспитанию на иноземный лад, была сравнительно развитой девушкой. Она умела читать и писать, бегло говорила по-польски, разбиралась в латинских книгах, имела довольно ясное понятие о жизни на Западе и даже понимала, если при ней говорили по-французски.

Впрочем западные обычаи, вплоть до воспитания детей на новый чужеземный лад, уже успели проникнуть тогда на старую Русь. Отнюдь не было той дичи среди русских людей, какую стараются изобразить некоторые исторические писатели, откуда-то взявшие, что допетровская старая Русь была страной каких-то дикарей. Нет, этого не было. У русских была своя самобытная культура.

Сразу после падения татарщины началось быстрое сближение России с Западом. Начиная с царя-собирателя, везде по Европе разъезжали русские посольства. Иностранцы тоже свободно проникали на Русь, но вследствие некоторой отгороженности от начинавшего и тогда уже гнить Запада русские люди могли брать оттуда только-то, что считали хорошим, и всякая западная скверна огромной волной влилась в нашу многострадальную родину только после петровской ломки русского быта.

Отнюдь не была дикаркой-затворницей и Ганна Грушецкая.

Долгий, утомительный путь несколько не нарушил её хорошего, ровного настроения.

Она, как птичка, вырвавшись из клетки, радовалась всему, что видела. Тёмные дубравы, сквозь которые им приходилось то и дело проезжать, не пугали её, русский простор приводил её в восторженное настроение. Однако к концу пути Ганна начала скучать.

Во всё время пути не было никаких приключений, и Ганночка уже не с прежним интересом стала относиться к нему. Она ехала в просторном, тепло обложенном войлоками возке со старухой-мамкой, и это усугубляло её скуку. Её воспитательница-полячка побоялась отправиться вглубь пугавшей её Москвы, а старая мамка была такая скучная, что и говорить с ней было не о чем.

— Да посиди ты покойно, Агашенька! — досадливо говорила старушка, которую беспокоило частое выглядывание девушки из возка. — Ну, чего ты там егозишь? Или пустырей не видала? Пожалей мои косточки старые...

— Скучно мне, матушка, — жаловалась Ганночка.

— Скучно, так уснуть попробуй! Сон-то от скуки куда как полезен!.. А не то, ежели хочешь, я сказку тебе расскажу. Хочешь?

— Расскажи, мамушка...

И старуха принималась рассказывать, да же и, не замечая, что её сказка вовсе не интересует её питомицу. Все сказки своей мамушки переслушала Ганночка, все начала и концы были известны ей, и если в них было что-либо хорошее для молодой девушки, так только то, что эти сказки скоро сон нагоняли...

И засыпала под мирный старушечий голос молодая красавица. Начинали ей сниться всяческие сны. А известно, что в раннюю весну жизни снится всякой молоденькой девушке. Сны тогда ярко-золотые: снятся юные красавицы, шепчущие дивные слова вечной любви! Редко когда такие грёзы становятся явью, но — что же? — хорошо хотя бы только и во сне быть счастливым...

ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ



Ганночка, убаюканная тихим говором старухи-мамки, сладко дремала, как вдруг неприятно-резкий толчок заставил её открыть глаза.

Возок сперва словно нырнул куда-то, потом накренился на бок и сразу замер на одном месте, как будто вкопанный. Девушка слышала кругом сердитые голоса, громкие крики, даже брань. Ржали лошади, суетились люди, и невольный страх охватил душу Ганночки.

Старуха-мамка, тоже дремавшая, мгновенно проснулась.

— Что такое приключилось-то? — далеко высунувшись из бокового отверстия возка, закричала она. — Чего стали-то?.. Волк или заяц

дорогу перебежал?

— Полозье, бабушка, сломалось, — подошёл к ней один из челядинцев, — вот что.

— Пришла беда нежданно-негаданно, — подтвердил слова первого другой. — И с чего бы, кажись, ломаться ему?..

— Так чего вы спите-то, окаянные? — залилась старуха. — Не зимовать же здесь на поле... Верёвками, что ли, подвязали бы...

— Да, говори ещё! Подвяжешь полозье верёвками, — раздались протесты.

— Так как же быть, голубчики? — смирилась мамка, чувствувавшая, что Ганночка дёргает её сзади за полы кацавейки. — Вы надумали бы там что-нибудь такое...

— А только-то и надумать можно, — подошёл старший из челядинцев, — чтобы кому-нибудь из нас на деревню скакать и кузнеца приволочь, ежели запасного полозья не раздобудем!

— А мы-то как? Здесь сидеть должны?

— Придётся, ничего не поделаешь!..

— Ай, мамушка! — тихо вскрикнула слышавшая весь этот разговор Ганночка. — Да неужели же среди лесу останемся?.. Страш-

но-то как!

— Не бойся, глупенькая, не бойся! — поспешила успокоить свою питомицу старушка, хотя и сама-то не на шутку струхнула: — Ежели и придётся, так не одни будем... Вон сколько народа... Да и страшного ничего нет! Столько времени ехали, всё Бог миловал, и теперь всё ладно обойдётся. Не пешком же тебе идти, да и то неведомо куда... А что, Гаврилка, — опять высунулась старуха из окна, — может, какая ни на есть деревня близко?

— А кто её знает? — лениво ответил холоп. — Нам эта сторона совсем неведома... Мы здесь чужедальние...

Он медленно побрёл от возка к кучке товарищей, совещавшихся на дороге впереди поезда.

— Нет, видно ничего тут иного не придумаешь, как поехать вперёд, да поискать, нет ли жилья какого...

— Видно, что так, — согласились некоторые с этим мнением, — лошади поотдохнут; экую ведь путину без подставы с утра сломали...

— А есть ли какое жильё впереди-то по-

близости? — полюбопытствовал один из кучеров. — Может, тот, кто поедет, даром проплутает только...

— Так не назад же ехать! — раздались возражения. — Впереди хоть что-нибудь, хоть избёнка какая ни на есть попадётся, а назад чего искать? Последнее жильё о полдень видели, почитай, вёрст двадцать назад переть придётся, да потом опять сюда столько же...

— Вестимо вперёд, — поддержал мнение большинства старший из холопов-вершников, на котором лежала вся ответственность пред Семёном Фёдоровичем Грушецким за благополучие в пути. — Да постой, ребята, — воскликнул он: — Вон чего-то Федюшка бежит... Колпаком машет и орёт что-то... Беги, милый, беги сюда скорей!

По дороге, плохо наезженной и ухабистой, бежал подросток, действительно спешивший к старшим с какими-то вестями.

— Эй, дяденька, — кричал он, — тут опушка близко, а дальше поле идёт, да такое, что глазом не окинешь...

— Ну, вона чем утешил! — недовольно проворчал старик. — С такими вестями и бе-

жать сломя голову не стоило!

— Да погоди, дяденька, не всё ещё сказал, — прервал его Фёдор. — На опушке-то изобка стоит, а в изобке кто-то живёт, дым курится...

— А-а, вот это — дело! — заволновались челядинцы. — Молодец Федюшка! Боярышню нашу, раскрасавицу писаную, к теплу пристроить можно... Всё не под небесами ждать ей придётся.

Ганночку все близкие к ней и её отцу — вся челядь, вся дворня — любили. Ко всем была ласкова молодая девушка, для всех находилось у неё доброе слово, и ради этого все были готовы пойти за свою любимицу не только в огонь, но и в самое пекло.

Поэтому и теперь известие, принесённое Федюшкой, обрадовало всех этих людей, сильно встревоженных тем, что любимицу-боярышню на время поисков подмоги пришлось бы оставить в возке неизвестно на сколько времени.

— И хвалить, дяденька, не нужно, — рассыпался Федюшка, — что заметил, то и говорю...

— За то хвалят, что догадлив ты, парень, вот что! — высказал новую похвалу старик. — Мы вот тут на одном месте топчемся, а ты, не долго думая, слетал, осмотрел всё и нас на новые мысли наводишь.

— Да ты что там, Серёга, балясы точишь? — раздался со стороны возка сердитый оклик старухи-мамки. — Ты бы лучше дело делал, а наговориться и после успеешь... Ежели есть поблизости какое ни на есть жильё, так Ганночка да я и пешком туда доберёмся...

Мамка и Ганночка, слышавшие радостные крики, сами выбрались из возка и теперь подходили к кучке холопов. Те почтительно расступились пред дочерью своего господина.

— Ты, матушка, — заговорил старик Сергей, обращаясь к девушке, — повременила бы малость; спервоначалу посмотреть нужно, кто в избке той живёт.

— Кто? Уж верно крещёные, — затараторила старуха, — в этой стороне о нехристях и не слышно... И не изволь, Серёга, препираться! Проводи-ка нас с Ганночкой вперёд, всё сразу и посмотрим, как и что! Идём, что ли, голубка моя сизокрылая? — обратилась она к молодой

девушке, теперь уже не чувствовавшей страха, а даже радовавшейся этому небольшому дорожному приключению, доставившему ей возможность поразмять ноги прогулкой по лесу. — Идём, милая, скорей! — добавила мамка и первая побежала вперёд.

Холопам оставалось только повиноваться, и все вершники, ведя на поводу коней, последовали за боярышней.

Идти им пришлось недалеко, немного более полверсты и, пройдя эту недолгую дорогу, путники очутились пред небольшой, но весьма ладной на вид избушкой, стоявшей действительно на краю огромного, только что пройденного поездом леса, пред необозримым, пустынным полем.

Едва они подошли к низенькому крылечку, как двери сеней растворились и на крыльце появилась высокая, далеко ещё не старая женщина, удивлённо смотревшая на подходивших пешеходов.

Одета она была в крестьянский тулуп и её голову покрывал редкий тогда в России шалевый турецкий платок, из-под которого выбивались пряди непокорных чёрных волос.

ТАИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ



Женщина ни слова не произнесла даже тогда, когда подходившие путники были совсем близко от неё, и лишь с любопытством смотрела на них, в особенности на закутанных с ног до головы путниц.

Ганночка тоже глядела на незнакомку из-под платка, глядела с восхищением, — такую красавицею показалась она ей. Но глаза этой молчаливой женщины были особенные. Их взгляд, казалось, обладал какими-то невидимыми острями и так и впивался в того, на кого был устремлён. По крайней мере, молодая девушка почувствовала себя как-то неловко, когда женщина на крыльце вдруг уставилась на неё. Её взгляд словно жёг Грушецкую, и она, не будучи в силах вынести его, неволь-

но для себя потупилась и в то же мгновение услышала, что глядевшая с крыльца женщина засмеялась.

Должно быть, и старуха-мамка тоже почувствовала некоторую неловкость. Она громко запыхтела, закряхтела и воскликнула:

— Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня, чур! Что за ведьма явилась? Сгинь, сгинь, рассыпья, ежели ты не от мира сего.

Но это не подействовало. Женщина на крыльце продолжала смотреть своими огромными лучистыми глазами на путников, как будто дожидаясь, чтобы кто-нибудь из них заговорил с нею...

Однако, когда старый Серёга, почтительно сбросив с головы колпак, начал спрашивать, нельзя ли побыть в доме боярышне с мамкою, а на задворках приткнуться их обозу, пока не будет починено сломавшееся полозье, незнакомка, внимательно выслушав его, вдруг громко-громко расхохоталась и кинулась назад к крылечным дверям.

Это было так неожиданно, что путники даже и не заметили, как она исчезла, и только расслышали громкое хлопанье двери.

— Навождение дьявольское! — так и взбеленилась старушка-мамка. — И впрямь ведьма! Или просто ума рехнулась?..

— Пстой, мамушка, — серьёзно и даже несколько строго остановил её Сергей, — может, она кого другого вышлет к нам. Чего ерепениться раньше времени? Ведь худа она нам никакого не сделала, а ежели хохочет, так пусть себе на здоровье; должно, что глупенькая.

— Уж глупенькая там или умненькая, — не унималась старушка, — а не гоже боярышне здесь оставаться... Может, тут воровской пригон...

— Гоже или негоже, — опять серьёзно сказал старик, — а придётся остаться, ежели идти больше некуда. А насчёт воров тоже бояться нечего: нас немало, да и не с голыми руками мы... А-а, вот ещё кого-то Бог даёт.

Дверь на крыльце опять распахнулась, и путники увидали на нём безобразную старуху, появившуюся пред ними так же неожиданно, как неожиданно скрылась молодая женщина.

Эта старуха была действительно безобраз-

на. Её лицо было темно, почти черно; большой, длинный нос, слегка загнутый крючком, придавал ей вид хищной птицы. На ней был ярко-красный, совсем не по-русски, концами назад, повязанный платок, а на плечах накинута суконная, с громадными медными пуговицами безрукавка, тоже невиданного в то время на Руси покроя.

— Ведьма, совсем ведьма, — закричала неугомонная мамушка и начала торопливо креститься. — Идём, Агашенька, назад, не место нам тут!

— Молчи, божья старушка! — уже сердито крикнул Серёга и, смело поднявшись на крыльцо, вступил в объяснение.

Ганночка тоже испугалась, когда увидела эту безобразную женщину, но её испуг быстро сменился любопытством; притом же и подвечерний холодок давал себя знать, и девушке хотелось забраться в тепло, сбросить тяжёлые меховые одежды, растянуться на лежанке и отдаться сладкой неге и дремоте. По лицу Сергея она видела, что переговоры идут вполне удовлетворительно, и радостно заметила, что их старый, преданный челядинец нако-

нец махнул им колпаком, приглашая этим подняться на крыльцо.

— Ну, идём, что ли, Агашенька, — недовольно проворчала мамка. — Делать нечего — и впрямь, куда деваться, ежели другого приюта нет. Только ежели что, так Серёга и будет в ответе, а не я...

Старушка, тоже прозябшая и в душе очень довольная, что есть возможность побыть в тепле, смело вошла первою на крыльцо. Ганночка последовала за нею; позади них пошли сопровождавшие их вершники, любопытство которых тоже было пробуждено этим таинственным жилищем и этими таинственными женщинами.

— Не бойся, мамушка, ничего, — шепнул старушке Серёга, когда та была на крыльце, — живёт тут туркиня одна, полонянка — это молодая-то, а старуха при ней — вот как ты при боярышне. Они одни и живут и добрым гостям обрадовались...

— Ну-ну! — проворчала старуха. — Уж и как бы они не обрадовались? Ведь, чай, не простые смерды к ним припожаловали, а воеводская дочь.

Путники были уже в обширных сенях таинственного дома. Было темно, но уже чувствовалась живительная теплота. Но вот, наконец, распахнулась какая-то невидимая среди тьмы дверь, и сразу просветлело. На пороге стояла прежняя старуха и жестами звала гостей идти за нею. Окончательно набравшаяся храбрости мамушка, ухватив Ганночку за руку, двинулась вперёд, всё-таки крикнув:

— Серёга, не отставай!

Перешагнув порог, все трое очутились в просторной горнице с большими, опять-таки необычными для русских жилищ того времени окнами. Стены горницы были увешаны роскошными персидскими коврами, а её меблировка тоже была необычная для русских: преобладали низенькие, мягкие тахты и только в одном углу стояли русские широкие скамьи да большой стол, покрытый золототканной скатертью.

За столом, когда в комнату вошла Ганночка с мамкой, сидел молодой человек в русском кафтане, богатом, нарядном и свидетельствующем, что этот человек был не какой-нибудь простец. Ганночка, входя, уже

бросила мимолётный взгляд на него, и этот молодец за столом показался ей прямо-таки красавцем. Да и в самом деле он был очень красив, но общее выражение его лица было какое-то мрачное, — не злобное, а именно мрачное, суровое, и это портило впечатление, производимое и его правильными, словно точёными чертами лица, и глубокими чёрными, то и дело поблескивавшими глазами. Когда Ганночка взглянула на него ещё раз пристальнее, то он уже не понравился ей, и какой-то смутный страх, как предвестник будущих невзгод, вдруг проник в её душу.

IV НЕВЕДОМЫЙ ХОЗЯИН



Олодой человек с любопытством смотрел на вошедших.

Так прошло несколько мгновений. Наконец, хозяин словно спохватился, что не приветствовал гостей, и, приподнявшись на скамье, несколько сильным голосом, сопровождая свои слова лёгким наклоном головы, сказал:

— Добро пожаловать! Чьи вы будете, не знаю того, но везде у нас на Руси гость в дому — дар Божий. Разоблачайтесь да обогрейтесь с холода-то!..

Мамка словно ждала этого обращения.

— Спасибо на ласковом слове, добрый молодец, — затараторила она. — Чей ты, того и я не знаю, хотя по кафтану вижу, что не просто-го ты рода. А мы все будем вот ейного, — ука-

зала она на Ганночку, — батюшки: государева чернавского воеводы Симеона Фёдоровича. Чай, слышал про него?

Глаза молодого человека так и сверкнули недобрым огнём, когда он услышал слова мамки.

— Это Грушецкого, что ли, по прозвищу? — глухо и с оттенком злобы в голосе вымолвил он. — Как же не знать? Знаю! Нов он у нас человек, а знакомы мы... Все друг друга ищем, да найти никак не можем! — и вдруг, как бы спохватившись, что сказал лишнее, он сразу замолк.

— Ежели знакомцы вы с Симеоном Фёдоровичем, — воспользовалась этим перерывом старушка, — так ещё того лучше! Уж будь покоен: Симеон-то Фёдорович за твою услугу в долгу пред тобой не останется и сторицей отблагодарит.

Молодой незнакомец при этих словах старушки заметно усмехнулся.

Та увидала эту усмешку и рассердилась.

— Не гоже смеяться-то, господин, — заговорила она, — ежели люди в беде и помощи просят!.. Сам же ты сказать изволил, что гость в

дому — дар Божий, а и сам ты слышал, что не простые мы люди; так по чести ты и гостей таких принимать должен... Не хочешь — твоя воля, уйдём...

— Нет, бабушка, нет! — спохватился молодой хозяин, — оставайтесь, сколько вам нужно. Тут у меня бабы есть, так они вам помогут, — напоят, накормят, а захотите — так и спать на вытопленную лежанку положат. Не русского они у меня теста, а добрые... Из персидской земли вывезены, по-нашему, почитай, и не говорят, ну, да это ничего — уж вы-то промеж себя столкуетесь. А я сейчас выйду, посмотрю, нельзя ли чем-либо вашему горю пособить... Это вашего дома холоп, что ли? Ну, выйдем, старый, как тебя там! — обратился он к Сергею и, сейчас же захлопав в ладоши, громко выкрикнул: — Зюлейка! Ася!

На этот зов из соседнего покоя выбежали и старуха, и молодая женщина, первая встретившая нежданных гостей на крыльце. Ганночка заметила, с каким любопытством оглядела её с ног до головы молодая, и ей показалось теперь, что во взгляде этих больших чёрных глаз светились не то испуг, не то жа-

лость.

Старуха не обращала никакого внимания на пришельцев; она даже не кинула на них взгляда, а подобострастно, совсем по-собачьи, смотрела на своего господина, выжидая его приказаний.

Тот заговорил с нею повелительно на каком-то непонятном языке.

— Ну, боярышня, — ласково, заметно стараясь смягчить свой грубый, сильный голос, обратился он затем к Ганночке: — прости ежели не понравилось тебе что... Уйду я от вас, отдохайте, а как вернусь, обо всём переговорим толком. Симеон-то Фёдорович во всей округе дочкой своей хвастается! Умница-разумница, баит, другой такой и не найти... Рад, что судьба нас с тобой свела. Может, и к добру, а может быть... — он оборвался и через мгновение глухо dokonчил: — может быть, для кого-нибудь и к худу.

Ганночка вся так и вздрогнула, услышав эти слова, Она была бойкая, развитая не по своему времени девушка и хотела было сама заговорить, нисколько не смущаясь тем, что впервые видит этого молодого красавца, но

не успела. Хозяин отвесил ей почтительно-низкий, поясной поклон и большими шагами пошёл к дверям, не обратив внимания на няньку.

— Ну, идём, что ли! — крикнул он на ходу Серёге. Женщины остались одни.

Как только затворилась дверь, молодая кинулась к Ганночке и, что-то лепеча на непонятном для девушки языке, быстро начала распутывать её. Когда платок был скинут, молодая персиянка, увидав лицо Ганночки, даже вскрикнула от восторга и с пылкостью южанки осыпала девушку бесчисленными поцелуями. В её лепете слышались уже и русские слова, которые она произносила, умерительно коверкая их. Но уже и это было хорошо. Кое-как Ганночка могла понять, что хотела выразить ей это дитя далёкого Ирана, так пылко целовавшее её и не скрывавшее пред ней своего восторга.

— О, хороша, хороша! — воскликнула персиянка. — Я тебя полюбила, я буду твоей сестрой и стану защищать тебя. Хочешь ты быть моей сестрой?

— Хочу! — ответила Ганночка, сразу же по-

корённая этой ласкою.

— И будешь, и будешь! — захлопала в ладоши персиянка. — Я — Зюлейка, да, я — Зюлейка, — ударяя себя в грудь, прибавила она, — а ты? Как зовут тебя?

— Ганна...

— Ганна! — протянула Зюлейка и несколько раз подряд повторила: — Ганна, Ганна! Какое имя!.. У нас так не называют девушек. Но вы — другой народ, совсем другой... Так Ганна! Теперь я буду помнить, как тебя зовут. Ты не бойся, я всегда буду около тебя... О-о, как я ненавижу его! — вдруг с пылкой злобностью воскликнула Зюлейка и даже сжала кулачки.

— Кого? — встревоженно спросила Ганночка, которой были совершенно чужды такие быстрые смены душевных настроений. — Кого ты ненавидишь?

— Его, который ушёл... князя...

— Князя? — вмешалась в разговор мамка. — Да нешто это — князь?

— Да, да! — закивала головой Зюлейка. — Большой князь... могучий... Всё может, всё!.. Он много зла творит, ой, много, и никого не боится...

— Ой, святители! — взвизгнула мамка, услышавши эти слова. — Да куда же занесло-то нас?.. Уж не к злодеям ли окаянным попали?

Старушка уже успела с помощью безобразной персиянки снять верхние одежды. Тепло сразу растомило её, и она с ужасом думала, что вот-вот придётся одеваться и снова идти на холод.

— Оставь, матушка, — перебила её причитания Ганночка, и в её голосе на этот раз даже послышалась строгость. — Слышала ты, чай, что вот Зюлейка говорит: князь — этот добрый молодец — не простец, не смерд, а государев слуга. Так злого на нас он не умыслит. Притом же он знает и про батюшку... Будь, родная, покойна! Побудем здесь, пока полозье поправят, а там и опять с Богом в путь-дорогу.

Зюлейка, слушая эти полные бодрости слова, радостно кивала головой и хлопала в ладоши.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ОБИДА



Тарый Серёга покорно следовал за молодым красавцем-князем, хотя его сердце было далеко не спокойно. Старик нюхом чувствовал опасность: хотя вокруг него не было заметно ничего угрожающего, но ему сильно не нравился этот заносчиво-дерзкий, надменный молодец, смотревший на всё вызывающе, нагло, так нагло, как будто на него во всём московском государстве и управы не было.

Ещё более смутился старик, когда заметил, что хозяин ведёт его не в сенцы, откуда были двери на крыльцо, а куда-то вглубь таинственного жилья.

— Позволь, батюшка, слово спросить, — наконец не выдержал Сергей: — куда же ты меня теперь ведёшь? Ведь наши возки там у

ворот приткнулись, и мне у моих людей место...

Князь глухо засмеялся, а затем грубо сказал:

— Поспеешь ещё к своим, старый сын, допреж этого должен ты мне ответ держать.

— Уж на чём — и не знаю, — недоумённо развёл руками Сергей, — кажись, ни в чём пред твоею милостью не провинился.

— Иди, иди! — крикнул в ответ князь и, сам распахнув двери, слегка толкнул в них Сергея.

Они очутились в просторной горнице, светлой днём, а теперь поверженной в сумеречные тени. Её стены были увешаны тяжёлыми медвежьими шкурами, среди которых эффектно выделялись громадные кабаньи головы с оскаленными клыками. Под ними были навешаны рушницы, самопалы, мечи и кинжалы в ножнах с роскошной оправой. Широкие лавки вдоль стен также были покрыты звериными шкурами; в углах стояли светцы, а на столах — жбаны, кубки и чаши, форма которых была заимствована из Немецкой слободы и сделана по-новому — в виде

длинных, высоких, на тоненькой ножке стаканов.

— Ну, стань, старый хрыч, вот здесь, — указал хозяин Сергею место против стола, за который он уселся сам, сейчас же небрежно развалившись на широкой лавке. — Отвечай, как попу на духу, и не моги соврать... Солжёшь, худо будет.

Произнося эту угрозу, князь так сверкнул глазами, что по спине бедного Сергея мурашки забегали.

— Воля твоя, батюшка, — с заметной дрожью в голосе проговорил он, — а ежели я ничего дурного не сделал, не тать я ночной, не вор государев разбойный, так и таить мне нечего... Ехали мы к господину нашему Симеону Фёдоровичу в Чернавск, никого по пути не обижая.

— Довольно! — перебил его хозяин. — Ты давно у Сеньки-вора Грушецкого в холопах?..

Старик востепенулся. Новая грубость этого приютившего их человека обидела его до глубины души.

— Кто ты, батюшка, будешь, то мне неведомо, — с достоинством ответил он, — а госпо-

дин мой Симеон Фёдорович своему царю-государю не вор, а от его царского величества службою пожалован. Ты же вот в лесной трущобе живёшь и — кто тебя знает — может, у лесных душегубов атаманствуешь. Мало ли кто теперь лихими делами промышляет!

Старый холоп проговорил всё это медленно, твёрдо, не спуская взора с обидчика.

— А ежели про меня тебе узнать желательно, — продолжал он, — так я тебе скажу, что я батюшке господина моего теперешнего с малолетства служил, ребёночком махоньким, несмышлёночком его помню, и на смертном ложе обряжал его и в гроб клал, и в могилу опускал, а теперь верою и правдою не за страх, а за совесть, его сыну служу и чести его в обиду не дам.

— Замолчи! — громко и грозно вскрикнул молодой князь. — Не для того я тебя призвал, чтобы твои песни слушать. Ежели ты вору Фёдке Грушецкому служил, так и на Москве с ним был до того, пока его царь-государь от себя на вотчину отослал?

— Был.

— Неотлучно?

— Может, и отлучался, того не припомню...

— А князя Агадар-Ковранского помнишь? — яростно закричал молодой человек и так стукнул кулаком по столу, что стоявшая на нём посуда ходнем заходила. — Помнишь, как он царём вору Федьке головою был выдан? Помнишь, а?

Голос молодого человека переходил в бешеный крик. Его лицо покраснело и на лбу показались капли холодного пота, белки глаз налились кровью, он весь так и трясся от охватившей его ярости.

Очевидно это была чрезмерно пылкая, страстная, быстро подчинявшаяся впечатлениям натура, которая во всём предпочитала крайности и не признавала уравнивающей их золотой середины.

В свою очередь припомнил и Серёга то, о чём говорил молодой князь.

Это было так давно; десятки лет уже прошли, а старик при первом же воспоминании увидел пред своими глазами, как живого, высокого, с нерусским лицом старика в пышных боярских одеждах, приведённого по царскому велению на их двор "для бесчестья". Гордый,

надменный стоял он, этот старик, потомок древнего рода прикаспийских властителей, у крыльца своего врага и молча, без слова выслушивал сыпавшийся на него град ядовитых насмешек, в которых поссорившийся с ним Фёдор Грушецкий отводил свою душу за нанесённую ему обиду. Смутно припомнил теперь Серёга, что старики поссорились "из-за мест" у царского стола. Сел Агадар-Ковранский выше Грушецкого и места своего ни за что не хотел уступить сопернику, а тот шум поднял и о бесчестье кричал. Агадар-Ковранский в долгу не остался и всяким воровством Грушецкого корить начал, каждое дарение припомнил, которое получил Фёдор Грушецкий, когда на воеводстве был. Такой тогда шум в столовом покое спорщики подняли, что повелел им великий государь обоим вон выйти. Но они и тут не унялись: на крыльце потасовку завели, Агадар-Ковранский Грушецкого за бороду таскал, всю так и вырвал бы, если бы их боярские дети да дворцовые дворяне не развели. А потом царь великий сам разобрал всё это дело, и вышло, что не Агадар-Ковранский, а Грушецкий прав. И выдан тогда был обидчик го-

ловою обиженному.

Видел Серёга гордого князя теперь как живого. Стоит он у крыльца, не шелохнётся, только так огнями глаза и взблескивают, да рука сама к поясу по привычке тянется. Хорошо, что нож у него отобрали, а то затуманила бы пылкая южная кровь голову и кончилось бы "бесчестье" смертоубийством.

Только кто же этот молодец? С лица он как будто похож на Агадар-Ковранского: те же сверкающие из-под тонких, точно вычерненных бровей очи, та же осанка — гордая, властная, та же пылкость без удержу; да и с голоса он похож: говорит глухо, как будто слова откуда-то изнутри вылетают.

— Ну, что, — услышал Серёга новый вопрос, — припомнил ли?

— Прости, батюшка, — тихо ответил старик, — господа спорят, так не нам, холопам, разбирать, кто из них прав, кто нет... Не наше это дело холопское! Да и кто ты такой, не ведаю. С чего ты старую свару поднимать вздумал?

— А с того, — так и загремел молодой князь, — что тот Агадар-Ковранский мой дед

был, и его позор мне до сих пор душу жжёт; как вспомню, так всё равно, что полымем охватит. И вот теперь сама судьба привела меня старый долг сторицей заплатить. Неспроста, видно, внучка Федьки в мои хоромы залетела: судьба нанесла её ко мне. Ха-ха-ха! Умница-разумница, золото, а не девка... Вот посмотрю я, как она у меня запляшет... Вдоволь натешусь, а там будь, что будет... Эй, кто там! — и молодой человек громко захлопал в ладоши.

VI

ОТ ГНЕВА К ГНЕВУ



Тарый Серёга был далеко не труслив и видал на своём веку всякие виды, но так и вздрогнул, услышав это призывное хлопанье в ладоши. Он теперь уже не предчувствовал, а видел беду, и страшился — правда, не за себя,

а за свою ненаглядную боярышню, доверенную его попечениям.

— Батюшка-князь! — сдавленным голосом выкрикнул он. — Что ты задумал?

— А вот сам, коли поживёшь, увидишь! — загадочно усмехнулся Агадар-Ковранский.

— Смотри, Господь тебя накажет! — снова крикнул окончательно терявший голову старый холоп. — Он-то всё видит...

— Накажет? За что? — опять зло и загадочно усмехнулся молодой человек.

— Ежели ты что-либо злое против боярышни Агафьи Семёновны задумал... Гостья она твоя, твоей чести княжеской доверилась... И думать не могли мы, что к разбойнику-атаману попали.

— Молчи! — весь багровея, выкрикнул Агадар-Ковранский, — молчи, или я тебе сейчас глотку заткну!

Он злобно сверкнул глазами и схватился за рукоять заткнутого за пояс ножа; но в это мгновение в покое, из-за дверей, завешенных тяжёлой медвежьей шкурой, бесшумно появились двое людей с нерусскими лицами; их скулы и узкие, словно прорезанные щели,

глаза выдавали их восточное происхождение.

Оба эти человека были высоки ростом, широки в плечах и, очевидно, обладали громадною физическою силою. Они смотрели на князя таким же подобострастно-собачьим взглядом, каким смотрела на него и старуха Ася, приставленная к красавице Зюлейке. Ясно было, что достаточно взгляда повелителя, чтобы эти преданные рабы без рассуждения исполнили всякое, даже самое ужасное дело.

— Болтает холопий язык без разумения, — проговорил князь, видимо, сдержав страшным усилием воли свой гнев, — все вы, псы потрясучие на один лад... Гассан, Мегмет! — обратился он к своим приспешникам. — Возьмите этого сыча, угостите его вместе с другими холопами на славу... Так угостите, чтобы долго, всю жизнь помнил наше гостеприимство!

Дольше он не мог сдерживать клокотавшие в нём ярость и гнев и разразился неестественным, скорее всего истерическим смехом, быстро перешедшим в хохот.

— Ну, пойдём, душа моя, — проговорил Гассан, кладя руку на плечо Сергея, — ты иди,

иди себе, не бойся ничего: наш господин куда какой добрый... Он тебя угостить велел... Иди же, а то другие-то твои куда пить лихи, выпьют всё, съедят всё и тебе, душа моя, ничего не останется...

— Иди, иди, — слегка подтолкнул старика и Мегмет, — а то господин осерчает, тогда худо будет.

Сергей понимал, что сопротивление с его стороны было бы бесполезно.

— Князь! — торжественно проговорил он. — Помни: Господь не попускает злу и наказывает обидчика...

— Иди прочь! С глаз долой! — закричал и затопал ногами Агадар-Ковранский. — Вы что? — сжал он кулаки на своих слуг. — Чего ещё язык чесать даёте!

В одно мгновение Сергей, словно вихрем выброшенный, очутился за дверью в другом покое.

— Ну, какой ты, душа моя! — укоризненно покачивая головой, проговорил Мегмет. — Ну, зачем тебе господина нашего гневить?.. Ведь никто с тебя шкуры ещё не спускает...

— В вашей я воле, — тихо и печально про-

говорил старик, — делайте, что хотите, ежели креста на вас нет...

Гассан и Мегмет, перемигнувшись между собою, громко захохотали.

— Смейтесь, смейтесь! — воскликнул Сергей, которого морозом по коже подрало от этого хохота. — На том свете за всё про всё рассчитаетесь...

Его возбуждение пропало, отчаяние уже овладело им. Старик не видел выхода из создавшегося ужасного положения и машинально передвигал ноги, следуя за своими проводниками, всё время пересмеивавшимися и весело болтавшими на каком-то непонятном ему наречии.

Но каково же было его изумление, — он даже рот с диву разинул и глаза выпучил, — когда после нескольких переходов открылась дверь в длинный, просторный покой, очевидно бывший "людскою" в этом странном доме, и там он за столами, уставленными всякими яствами — окороками, пирогами, мисками с варевом и жбанами с питиями, — увидел кучеров своего поезда, двух горничных девок боярышни и мальчугана Федьку, нашедшего

это таинственное жильё. С ними были ещё незнакомые Сергею люди, очевидно слуги князя Агадар-Ковранского. Все они весело и беззаботно угощались, на их лицах не было заметно никаких признаков страха. Из челядинцев Грушецкого не хватало только троих вершников. Сергей сразу заметил это, но его удивление было так велико, так сильно, что он на первых порах и слова выговорить не мог.

Между тем челядинцы Грушецкого заметили своего наибольшего.

— Эй, дядя Сергей, Серёга, кум Сергей, — закричали все они разом, — вот и ты, живые мощи, явился... Куда запропал?.. Ишь, как князенька здешний — дай ему Бог всякого здоровья! — угощает...

— Садись, душа моя, садись скорее за стол! — слегка и даже дружелюбно подтолкнул в бок старика Гассан. — Будь гостем!..

Сергей всё ещё нерешительно приблизился к столу. Сидевшие на скамьях пораздвинулись, очищая ему место.

"Уж не во сне ли я всё это вижу? — подумал старик, опускаясь на скамью. — Может, и

в самом деле я понапрасну князя избидел, может, никакой беде и не бывать?.. А ежели так, то с чего же он, как ёрш, ерепенился?"

Однако сердце старого холопа ныло, предчувствия не оставляли его, но он понимал, что в такой обстановке невозможно было выражать подозрения.

А между тем мрачные предчувствия отнюдь не обманывали старого холопа.

Князь Василий Лукич, оставшись один в своём покое, забегал по нему, как бегают разъярённый зверь по своей клетке. В его душе так и ревела буря, думы и мысли в его распалённом мозгу словно вихрем крутило и рвало. Горячая южная кровь так и бурлила, кидаась в голову, туманя её до того, что князь видел ясно созданные воображением образы.

Дедовское оскорбление, так и оставшееся в наследство внуку неотмщённым, всегда сушило князя Агадара, всегда давило страшной тяжестью его гордую душу, и теперь сама судьба как бы посылала ему полную возможность отмстить так, как могло подсказать только болезненное, распалённое воображение.

Пылкий князь уже теперь начинал чувствовать сладость мести. Ему до жуткости сладко было представлять себе, как он будет утолять свою ярость. Он не торопился, а, как тигр, уже захвативший жертву, отдалял решительный миг, наслаждаясь пока тем, что создавал его мозг. По временам из груди князя вырывался дикий хохот, мрачный и грозный. Только почувствовав усталость, он грузно опустился на скамью и, громко свистнув, захлопал в ладоши. На этот зов сейчас же явилась старая, безобразная Ася. Грозно нахмурив брови, заговорил с ней князь Василий на понятном только им одним восточном наречии. Старуха слушала его, то и дело кланяясь.

— А теперь проводи меня к Зюлейкину покою, — уже по-русски крикнул Агадар, окончив с приказаниями, — я хочу видеть её... Да, видеть, но так, чтобы она меня не приметилла...

Ася снова в знак повинования склонила голову, приложив ко лбу руку. Потом она тихо, по-кошачьи, шмыгнула вперёд. Князь последовал за нею.

Покои Зюлейки были отделены от комна-

ты князя длинным переходом, в конце которого была также завешенная звериной шкурой дверь.

Слегка приподняв эту своеобразную портьеру, Василий Лукич заглянул внутрь покоя. Ганночка сидела на скамье у окна рядом с нежно обнявшей её Зюлейкой. В глубине покоя у лежанки дремала, облокотившись на неё, мамка.

— Как хороша! Ангел небесный! — невольно вырвался у князя Василия восторженный лепет. — Как хороша! — Но на его губах так и зазмеилась нехорошая злобная улыбка. — Пусть, пусть! Слаще будет моя месть... Да, судьба отдаёт мне эту красавицу...

VII

ЛЕСНОЕ ЛОГОВО



Олжно быть, Ганночка почувствовала на себе чужой горящий взор. Она забеспокоилась, зашевелилась и даже привстала со своего места. Князь Василий сейчас же отпрянул прочь и, схватив Асю за руку, потащил её за собою назад...

— Смотри, ведьма, — прерывисто крикнул он, — чтобы всё было исполнено, как я приказал... Весь твой поганый дух вышибу, ежели слукавишь, а теперь убирайся, вернись ночью!.. Чтобы у тебя всё было готово... Вон!

Ася бесшумно, как тень, скрылась.

— Эй, Гассан, — закричал и захлопал в ладоши Агадар, — коня!

— Прикажешь мне быть с тобой, господин, — спросил появившийся на зов, словно

из-под земли, Гассан.

— К дьяволу на рога! — закричал на него Агадар. — Один на усадьбу еду!.. У вас здесь своё дело... Что наезжие холопы?

— Угощаются по-твоему велению, господин, — было ответом, — всё исполнено, как ты приказал...

— То-то! Чтобы к ночи все они замертво перепоены были... Сонного порошка в брагу подсыпь, но чтобы все они пластом лежали, когда я вернусь... Запорю, жилы вытяну, ежели что не так будет...

— Будь спокоен, господин! — ответил Гассан. — Верою и правдою мы тебе всегда служили и теперь послужим. Не наше дело раздумывать, что зачем; что ты приказываешь, должно нам исполнять, не прекослова.

По виду Гассан был совершенно спокоен, но его узкие глаза так и бегали из стороны в сторону. Видно было, что его душа далеко не была так спокойна, как лицо.

— Всё, господин, будет исполнено, всё! — повторил он ещё раз. — За это я отвечаю тебе!..

Эти слова были сказаны уже вдогонку Ага-

дар-Ковранскому, быстро вышедшему из покоя. Гассан так ловко шмыгнул, что очутился впереди своего повелителя, и, когда князь вышел на крыльцо, здесь уже ожидал его великолепный горячий конь, которого еле-еле могли сдержать под уздцы двое дюжих конюхов монгольского типа.

Князь легко и лихо вскочил на седло. По всему было видно, что он — превосходный наездник. Очутившись в седле, князь огрел коня плетью по крутым бёдрам. Тот, храпя и дико озираясь налитыми кровью глазами, взвился было на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника, но напрасно: князь Василий словно прирос к седлу и град ударов нагайкой заставил смириться могучее животное пред человеком. Конь опустил передние ноги и рванулся вперёд. Как раз в это мгновение князь дико гикнул, взвизгнул, и испуганное животное вихрем помчалось вперёд, роняя на белый снег клубья багрово-кровавой пены.

Всё это заняло минуты полторы, не более. Трудно было заметить, как скрылся князь за поворотом дороги, — так быстро унёс его конь. Конюхи и Гассан стояли на крыльце,

как очарованные.

— Лихо, шайтан его пополам разорви! — пробормотал один из них, приходя наконец в себя.

— И вот постоянно он так-то, — ответил другой, — столько в нём силы да удали молодецкой, что и размыкать где их не знает...

Гассан, слыша эти слова, вздохнул полной грудью и тихо, с явным сожалением в голосе, произнёс:

— В степи бы родимые вернуться ему! Там простор по нему, а здесь, в Москве, он — что орёл в клетке. А кровь дедовская так вот и играет... Эй, да что... Воля Аллаха такова, и против неё не пойдёшь... Идём, что ли, к гостям-то?.. Поди, заскучили без нас!

Он повернулся и пошёл в дом.

У дверей сеней Гассан остановился и как-то нехотя сказал:

— Не по сердцу мне затея господина нашего!

— А что? — недоумевавшая спросил следовавший по пятам за ним конюх. — Будто зло какое затевает: ишь, угощать велел...

— Ну-у! — Гассан раздумчиво покачал го-

ловой, махнул рукой и перешагнул порог.

А в это время князь Василий мчался по наезженной дороге. После нескольких минут бешеной скачки он свернул в сторону и, сдержав коня, заставил его войти в кустарник, окаймлявший дорогу. За кустарником вилась чуть заметная тропинка, и по ней-то Агадар-Ковранский и направил коня.

Мглистые весенние сумерки уже переходили в ночь. Однако было достаточно светло, когда после довольно долгого пути князь добрался через лес до обширной поляны, со всех сторон окружённой вековыми соснами. Посредине этой поляны стояли богатые — похожие, впрочем, на крепость — хоромы, около которых раскинулись разные службы. Это было поместье Василия Лукича.

Каждый устраивается по своему вкусу, и дикость места, должно быть, в совершенстве соответствовала дикой природе Агадар-Ковранских, этих недавних выходцев из прикаспийских степей. Они как будто хоронились от людей в этой лесной глуши, и все, по крайней мере и князь Василий, и его отец, и дед, жили двойственной жизнью. На Москве, близ царя,

они были совсем другими людьми. Там они сдерживали свои порывы и казались не хуже остальных царедворцев. Но, попадая из Москвы в своё поместье, сразу же обращались в дикарей; всё наносное спадало с них, души как будто освобождались от всех внешних покровов, от всего, что сдерживает порывы, и в своём поместье князя Агадар-Ковранские были тиграми в логовищах.

Князь Василий Лукич был последним представителем своего рода. Он был единственным сыном своего отца, уже давно умершего. Матери князь Василий даже не помнил — она умерла, когда он был ещё ребёнком. Единственной родной душой у него была старуха-тётка по матери, которую он обожал со всею пылкостью своей страстной натуры. Марья Ильинишна, так звали тётку князя Василия, вдова незначителного дворянина, воспитала его, сироту. Она заменила ему мать, но не могла справиться с дикостью и пылкостью племянника в детстве, а потом, когда он вошёл в зрелые годы, справляться с ним было уже поздно. Всё-таки Марья Ильинишна была во всём мире единственным су-

ществом, которое имело хоть какое-нибудь влияние на буйного, своевольного удальца. Старушка была уже дряхла и от лет слаба телом, но её разум был светел и душа чиста от всякого зла и житейской скверны. Она безвыездно жила в лесном поместье племянника и, благодаря этому, всем, кто был около неё, жилось довольно сносно.

К ней-то и помчался из своего дома князь Василий, чтобы поделиться с нею тою радостью, какую доставила его душе мысль об отмщении за дедовскую обиду.

Неукротимый нрав молодого князя был хорошо известен его дворне и челяди. Известна была его жестокость в расправах, и это заставляло всех постоянно быть начеку. Едва только конь вынес Василия на поляну, как в хоромах уже заметили его и навстречу кинулись десятки людей. Одни спешили принять коня, другие просто суетились вокруг, третьи рвались, чтобы приложиться к княжеской ручке.

— Государыня-тётушка не легла ещё опочивать? — не глядя ни на кого, громко спросил князь, быстро взбегая на крыльцо, и, ко-

гда услышал, что Марья Ильинишна только что ещё повечерять изволила, отдал новое приказание: — Пусть к ней кто-нибудь бежит и доложит, что, дескать, опять Василий прибыл и позволения просит к ней пойти...

Он остался на крыльце, глядя, как усердные конюхи вываживали пред ним коня.

— Чтобы через час он у меня в порядке был! — крикнул князь. — Я назад поеду.

В это время бегом возвратившийся холоп доложил ему, что государыня-тётушка Марья Ильинишна рада видеть своего племянника и ожидает его.

РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ БУРЯ



Е сколько робея, вошёл неукротимый Агадар-Ковранский в покой своей престарелой тётки.

Пред ним, пока он шёл по дому, везде распахивались двери, многочисленная челядь и приживальцы — последних у щедрых князей Агадар-Ковранских всегда было множество — отвешивали ему низкие, подобострастные поклоны. Князь Василий не замечал этого.

У дверей тётушкина покоя сидел низенький, дряхлый, седой как лунь, со сморщенным в кулачок, похожим на печёное яблоко лицом, старикашка, единственный, собственно, холоп Марьи Ильинишны. Его звали Дротом; хотя крестовое имя у него было совсем другое, но вряд ли он и сам его помнил и от-

кликался только на свою привычную кличку. В качестве не принадлежащего ни к дворне, ни к челяди князей человека, он держал себя самостоятельно и, бывало, не спускал даже князю Василию, и не только перечил ему, но иногда и дерзил, что, впрочем, всегда благополучно сходило ему: так сумело поставить себя в этом логове "диких князей" это беспомощное, бесправное, дряхлое и хилое существо.

И теперь Дрот, хотя и видел подходящего князя, сделал вид, что даже не замечает его. Он не встал с низенькой скамеечки, на которой сидел у дверей, даже головы не поднял, а остался сидеть, как сидел, и вдобавок ко всему замурлыкал себе что-то под нос.

Князь Василий, подойдя почти к порогу, остановился, нерешительно поглядел на Дрота и несколько заискивающим тоном вполголоса выговорил:

— Ну, здравствуй, что ли, старый пёс!

Только услышав эти слова, Дрот поднял голову и прошамкал:

— А, это — ты, забубённая твоя голова? Каким ветром занесло? Небось носился все эти

дни, ветер погоняя, или у своей персидской прелестницы торчал, на некрещёную красу глаза пяля?

Князь Василий промолчал. На него, обыкновенно вспльчивого, эти грубые слова как будто не произвели впечатления.

— Тётушка-то не легла в постель? — спросил он. — Молитвы на сон грядущий не прочитала?

— Тебя ждёт, — опять шамкнул старик. — Ты смотри, не гневи тётушку... Ишь, к погоде, надо полагать, что-то занедужилась она.

— Что с ней? — тревожно спросил князь, чувствуя, что его мгновенно охватила боязнь потерять единственное дорогое для него существо. — Дюже немощна?

— Говорю, погоду чует, может статья, оттепель начнётся, так и ноют старые кости... Да ты иди, иди, чего растабарываешь попусту? Ведь, поди, ждёт она тебя...

— Ну, ин быть так, — даже вздохнул князь Василий, — пойду! — и с этими словами он робко, осторожно отворил дверь в тётушкин покой и перешагнул через порог.

Прямо на него так и пахнуло теплом, лам-

падной гарью и запахом различных травяных настоек. В покое была полутьма; единственным освещением здесь были огоньки многочисленных лампадок у образов, ещё не завешенных на ночь убрусами. Неподалёку от переднего угла в глубоком кресле с высокой резной спинкой сидела сама тётушка Марья Ильинишна. В сумраке почти не видно было её, к тому же она совсем глубоко ушла в кресло, что при малом росте и совершенно тщедушной фигурке делало её совсем незаметной. Но князю Василию незачем было разглядывать её. Дорогое сморщенное старушечье лицо всегда было пред его глазами и теперь он, едва перешагнув порог, радостно крикнул и с распростёртыми объятиями кинулся к креслу.

— Тётушка милая, матушка богоданная, — лепетал он, опускаясь на колена и покрывая поцелуями маленькие морщинистые, сухие руки тётки, — прости ты меня, путаника, за то, что я давно у тебя не бывал...

— То-то, — проговорила с лаской в голосе старушка, — забывать ты меня начал, Васенька! Видно, молодое-то к старому не может

липнуть...

— Ой, тётенька родимая, — совсем по-детски говорил князь Василий, — да и как же я могу забыть тебя? Ведь один я одинёшенек на белом свете и одна ты у меня кровиночка родимая. Те, что на Москве у нас есть, — только по имени родные, а истинная-то родная у меня только ты одна...

Он продолжал целовать руки Марьи Ильинишны и теперь — обычно неукротимый сорванец, не знавший удержу в своих порывах, — был совсем другим человеком. И в голосе, и в движениях у него было что-то детское, искренне покорное, отражающее неподдельную любовь, душевную ласку.

Старушку тронуло это обращение племянника. Она ласково положила на его голову руку и сказала:

— Ну, так быть по-твоему: прощаю тебя, ежели ты в чём-либо провинился... Господь да пребудет с тобою вовеки, как моё благословение пребывает с тобою... Говори теперь, что приключилось, зачем в такую позднюю пору летел?

Услыхав этот вопрос, князь Василий вско-

чил с колен и выпрямился во весь свой рост. Он как бы весь преобразился. На его лице уже не видно было недавнего детски-доброе выражения, оно сделалось прежним мрачно-хищным; его глаза сверкали, он дышал так тяжело, что грудь высоко вздымалась.

Старуха зорко следила за своим племянником.

— Ох, Василий, — промолвила она, — не люблю я тебя таким-то!

— Не любишь? — воскликнул тот со страстной пылкостью. — Не любишь, когда я счастлив? Ха-ха-ха! Такое, тётушка, дело мне судьба послала, что, как сделаю его, хоть и умереть не жалко...

— Что? Какое такое дело? Что у тебя, Василий, случилось? — заволновалась Марья Ильинишна.

— Доброе дело, тётушка. Такая птичка в мою берлогу залетела, что не знаю, какого бога и благодарить за это! — и он, прерываясь и путаясь в словах и выражениях, рассказал о появлении в его доме боярышни Грушецкой.

Марья Ильинишна слушала его с большим вниманием.

— Ну что же, — тихо сказала она, когда князь Василий кончил свой рассказ, — чем худо-то? Гость в дому — дар Божий.

Агадар-Ковранский злобно расхохотался.

— Слышал я это! — проговорил он сквозь смех.

— И хорошо, ежели слышал, — прервала его старуха, — ежели так, то чего же гогочешь, как жеребец невыезжанный? Поди, боярышня-то и годами молода и собой куда как пригожа?

— Ой-ли, тётушка, как пригожа! — пылко воскликнул князь Василий. — Что ангел небесный!

— Уж и ангел! — усмехнулась старушка. — Вот всё-то у вас так! Чуть пригожую девку где увидите, сейчас же и ангел... Видно, защемило сердце-то?

Князь Василий усмехнулся, усмехнулся зло, нехорошо; его красивое лицо так и исказила эта дьявольская усмешка.

— А ты помнишь, тётушка, кто такие Грушецкие? А? Не помнишь? Так я тебе скажу, что мой дедушка, царство ему небесное, во-ра-деда этой самой Агашоньки Грушецкой за

бороду таскал...

— Ну, так что же из того? — спросила Мारья Ильинишна, и в её голосе послышалась тревога.

— А то, что потом мой дед вору-Грушецкому царём головой был выдан, и тот его срамил и позорил, как хотел...

— Давно то было, Васенька, — печально проговорила старушка, — больно давно!

— Верно, тётушка, давно! Старики-то в земле, поди, сгнили, а вот в моём сердце дедовская обида жива. Мутит она меня, жить мне мешает... Как бываю я на Москве да войду во дворец, так и кажется мне, что все-то там старики на меня с укором смотрят, а молодые прямо так и смеются: ведь дедовская обида неотплаченной осталась, честь не восстановлена, память деда от позора не очищена... Как прослышал я, что Сенька Грушецкий в Чернавске, так с тех пор и покоя мне совсем не стало. Дал я зарок великий при первом же случае со злым врагом рассчитаться, и вот судьба так-таки прямо на меня его дочку нанесла. Раньше, чем я думал, рок мне счастье послал... У-ух! — дико взвизгнул князь Васи-

лий. — Уже я не я буду, ежели теперь своего сердца не утолю... С тем и пришёл я к тебе, тётушка родимая, чтобы счастьем своим поделиться. Что скажете мне, мама богоданная?

Ответ последовал не сразу.

Князь Василий стоял пред тёткой, меча на неё огненные взгляды. Он тяжело дышал, страсти так и кипели в его неукротимом сердце.

— Что я тебе скажу, Васенька? — тихо заговорила наконец Марья Ильинишна. — А то скажу, что вижу я, будто негоднее ты задумал. Оставь старые обиды! Ссорились старики, меж них потасовка вышла, они в грехе, они и в ответе; что меж них было, то прошло и былём поросло; отец твой об этом не вспоминал, с чего же ты-то старые дела поднимать из могилы вздумал? Оставь, укротись! В чём повинна пред тобой, а тем паче пред твоим дедом Грушецкая? Ты это мне скажи!

— Ни в чём! — глухо ответил князь Василий.

— Ну, вот видишь, а ты ей зло — какое, не ведаю, а догадываться догадываюсь, — причинить желаешь! Подумай сам, что ты замыс-

лил! Деда дрались, а внуки рассчитывайся...

— Пусть, пусть! — закричал князь Василий. — Что мне она? Мало ли таких-то у меня перебивало? Одной больше, одной меньше, — счёта не испортишь... А через неё я Сеньку Грушецкого помучиться да пострадать заставлю, его седую голову навеки позором покрою... Любо мне будет, когда он ужом от муки душевной извиваться будет, узнав, что его дочка единственная к нему покрыткой вернулась... Хороша она, тётушка! Как ангел, говорю, хороша, и Сенька-то поди гадает, что она царицей стать может: ведь, царевичу Фёдору Алексеевичу жениться время приспело, а царь Алексей Михайлович недужится и на ладан дышит; невест собирать будут со всей земли и Агашку Грушецкую на смотр возьмут. То-то позора будет, когда дознаются, что Агашка — покрытка!.. Грязной метлой погонят тогда всех Грушецких с царского двора и любо будет это моему сердцу: вот когда долг платежом станет красен... Не отговаривай, тётушка, не послушаюсь...

Он оборвался. Старушка вдруг, повинувшись порыву, поднялась с кресла.

— Не смеешь ты худо сделать боярышне Грушецкой, — заговорила она задышающимся голосом, — твоей чести княжеской доверилась она, войдя в дом твой...

— Судьба её нанесла! — прервал тётку Василий.

— Молчи, — собрав весь свой голос, выкрикнула та, — молчи и слушай! Вот тебе мой сказ: ежели ты только посягнёшь на боярышню, то и не приходи ко мне... Прокляну тебя тогда, окаянного, а сама на старости лет возьму Дрота и уйду, куда глаза глядят, из твоего дома... Пусть я замёрзну, пусть меня звери лесные разорвут, это тоже твоё дело будет. Я ни малой минуточки не останусь... Прокляну, анафемой будешь!

— Пусть, пусть! — хватаясь руками за голову, не своим голосом закричал князь Василий. — Не могу я жить, пока дедовская обида не отмщена... Как знаешь делай, государыня-тётушка, убей меня завтра, а эта ночь моя... Завтра я, может быть, сам с собою покончу, ну, а теперь... Прощай, прощай!.. Подойти бы к тебе по-прежнему хотел, да не могу: злой дух во мне, он меня не пускает... Род-

ная, прощай!

Князь горько и бурно зарыдал и выбежал из покоя, оттолкнув подвернувшегося ему под ноги Дрота так, что тот далеко отлетел в угол.

Марья Ильинишна бросилась к окну. Внизу у крыльца она увидела при свете смоляных факелов, как князь Василий, выбежав, словно безумный, из хором, вскочил на коня, дико взвизгнул и, нахлёстывая своего скакуна нагайкой, исчез, словно злой призрак, в чаще леса.

— Бедная, злосчастливая! — едва проговорила старушка и, не будучи в силах справиться с волнением при одной только мысли о том, какая участь ожидает несчастную Ганночку Грушецкую, опустилась без чувств на пол у окна.

IX ТЁМНЫЙ УМЫСЕЛ



Огда Агадар-Ковранский так бешено умчался из своего лесного домика, там все вдруг повеселели. Люди переменялись, разговоры пошли громче, в людской даже кто-то песню затянул... Ещё немного — и там, как говорится, "дым коромыслом пошёл".

Старый холоп Серёга выпил порядочно, но его голова всё ещё была свежа. Крепок был старик на питьё! Старые литовские мёда приучили его голову не поддаваться хмелю, да и душа у него в эти часы была всё ещё настолько спокойна, что нервное волнение превозмогало опьянение. Серёга, как на каменку, лил внутрь себя всё, что ему предлагали Гасан и Мегмет, но оставался трезвым.

"И с чего это мне всё не по себе? — дума-

лось ему. — Кажись, всё благополучно: ишь какое угощение, словно всамделишные гости, а сердце-то так вот тук, да тук!"

И, чем дальше шло время, тем всё более росла тревога старого холопа. Он ясно видел, что угощают их неспроста...

— Пей, душа мой, пей, — то и дело подливал ему в ковш крепкой хмельной браги Гассан, — спать крепче будешь... Ай-ай, какие тебе сны приснятся!.. Молодым себя во сне увидишь, гурий увидишь, целовать их будешь!

И Гассан, лукаво смеясь, дружески толкал старика под бок.

— Да не охота что-то, — отнекивался тот, — довольно уже, премногим благодарны!

— Чего неохота, чего довольно? Пей! Вот как твои-то молодцы стараются...

Действительно, спутников Серёги не мучили никакие предчувствия. Они обрадовались возможности выпить и беззаботно пили без всякой думы о будущем. На них хмель действовал. Обе горничные девки крепко спали и так храпели, что их храп был слышен даже среди шумного разговора нетрезвых мужчин. Да и эти-то были совсем близки к тому, чтобы

свалиться под стол.

"А что как нас всех спаивают? — промелькнула мысль у старого холопа. — Ведь похоже на то! Вон и Федюшка совсем посоловел... Ой, западня, чувствует это моё сердце! Что делать? Как быть? Ведь беда-то не нам, а боярышне нашей грозит... Её спасти нужно, но только как?"

Мозг старика, раздражённый и выпитым хмельным, и не отступавшим от него волнением, быстро-быстро заработал. Как-то так случилось, что ни Серёга, ни его спутники ни одним словом не обмолвились о вершниках, которых недоставало среди них. Увлёкшись изобильным угощением, они просто-напросто позабыли о товарищах, и только теперь Серёга вспомнил об отсутствующих.

"Это хорошо, совсем хорошо! — решил он, — Мы-то здесь в западне, а они на свободе остались... Только как мне весточку подать, чтобы стереглись да не попадались?"

И вдруг новая мысль прорезала и осветила в голове старого холопа весь хаос мыслей. Он даже весело улыбнулся, когда его мозг начал работать в том направлении, которое указала

внезапно сверкнувшая мысль.

"Была не была, а попробую!" — решил он и, весело подмигнув своему соседу Гасеану, задорно выкрикнул:

— А и в самом деле, чего кочевряжиться? Всё равно раньше утра не выехать, а, коли добрый хозяин угощает, грех отказываться... Давай, что ли, татарская твоя образина, выпьем!

— Вот и хорошо, душа мой! — словно обрадовался Гассан. — Пить, так пить... Нам вон Коран запрещает, а и то, когда никто не видит, отчего с хорошим человеком не выпить...

— Верно! — ответил холоп. — Во спасение души всегда выпить можно... Наливай, что ли!..

Спустя совсем мало времени он уже говорил заплетающимся языком всякие несуразности, то и дело вскидывал на стол локти и примащивался головою на протянутых руках, как бы одолеваемый дремотой, закрывал глаза, зевал и наконец вдруг замер без движения. Видя всё это, Гассан и Мегмет переглядывались между собою и загадочно улыбались.

— Выпьем, что ли, ещё, душа мой? — ска-

зал первый и толкнул Сергея.

Тот промычал в ответ что-то несуразное, бессмысленное.

— Готов, — тихо произнёс Мегмет. — Ты, Гассан, сильнее его потряси да потолкай.

— Чего ещё? Разве не видишь? — отозвался тот, но всё-таки последовал совету и сильно затряс Сергея за плечо.

— П-щёл! — отмахнулся тот и вдруг скатился с лавки на пол.

Гассан и Мегмет переглянулись.

— Связать его, что ли? — спросил первый.

— Чего там! — отозвался второй. — До утра проспит... И сонного зелья не понадобилось... Вон и те уже готовы!

Действительно, все люди Грушецкого, кто где сидел, там и заснули...

— До утра проспят, не просыпаясь, — проворчал Гассан, — а там вернётся господин, скажет, что делать... Теперь пойти к Асе, сказать ей, что и как...

В своеобразном "гареме" князя Василия немедленно после его отъезда начался горячий спор. Как только вернулась от своего господина старая Ася, к ней сейчас же кинулась

красавица Зюлейка.

— Что, что он? — так и застрекотала она, обнимая старуху и по-детски нежно ласкаясь к ней. — Сказал что-нибудь?

Ася, сумрачно глядя в сторону, утвердительно кивнула головой.

— Что, что он приказал? — впилась в лицо старухи своим огненным взором красавица-персиянка. — Ну скажи, Лея, не томи меня!..

Ася молчала.

— А, не хочешь говорить! — пылко выкрикнула Зюлейка. — Ты, стало быть, не любишь меня? Разлюбила? Уж верно об этой русской он тебе приказ отдал? Скажи, о ней?

— Да!

— Ну, я так и знала это. Сердце моё бедное чуюло беду! О, горе мне, горе! В чужой, дикой стране, пленница я горемычная... Одна, никого у меня нет, все недруги только кругом.

Зюлейка как сумасшедшая заметалась по горнице. Она разорвала у себя на груди одежду, царапала ногтями обнажившееся тело, дико визжала, а потом стала прямо-таки выть.

— Перестань! — пробовала уломать её Ася.

— Не перестану! — упрямо ответила персиянка. — Скажи, что он тебе приказал?..

— Да пойми ты, дитя неразумное, что не могу я: ведь господин приказал ни одним словом не обмолвливаться... Убьёт он меня...

— А ежели ты мне не скажешь, так я убью себя. Ну Ася, ну милая, пожалей ты меня! Отца у меня убили, мать сама зарезалась, сестёр в Турцию увели, одна ты у меня... И ты-то меня пожалеть не хочешь?

Она плакала так искренне, ласкалась так нежно, что Ася стала заметно сдаваться.

— Ну, что тебе эта русская девчонка? — спросила она. — И чего ты за неё так беспокоишься, голову теряешь, беснуешься... Жалко, что ли, тебе! Пусть господин позабавится, если ему охота на то пришла...

— Позабавится! — воскликнула Зюлейка. — А я-то?

— Ты что же? Ты останешься, как была...

— Кто знает! Хороша эта русская девушка, таких я ещё и не видывала... Как я могу ей господина отдать? Он теперь думает, что только позабавиться хочет, а потом её из сердца легко не выбросит... Полюбит он её, а

на меня и глядеть не станет. Вот чего я боюсь. Ну, скажи, Ася, скажи! Ты добрая, ты хорошая... Я знаю, что ты меня любишь! Прости ты меня, если я тебя обидела. Не сердись, скажи мне на ушко, что господин тебе приказал!

Говоря так, Зюлейка всё с большей и большей нежностью ласкалась к безобразной старухе. Она крепко обнимала её, осыпала градом поцелуев, называла разными нежными именами. Ася мякла всё более и более.

— Вот пристала-то! — притворись сердитой, заворчала она. — Скажи да скажи, что господин приказал! А то он приказал, чтобы и старуху, и молодую опоить сонным зельем, а потом как девчонка заснёт непробудным сном, впустить его к ней... Тебя приказал на эту ночь куда-нибудь подальше убрать...

— И как же, Ася, ты осмелишься пойти на это? — спросила Зюлейка, вся дрожа от волнения.

— А разве я могу послушаться? Я — раба и должна повиноваться своему господину.

— Да, это так, — согласилась персиянка. — Но ты вспомни, что прежде чем быть рабой, ты служила огню, была жрицей в храме огня

и тебе ведомы были многие тайны, другим недоступные...

— Да, это так! — вздохнула Ася.

— А теперь ты осмеливаешься начать дело, не зная угодно ли оно Всемогущему Существо? Ты хочешь, чтобы гнев его обратился на твою голову? Берегись! Всемогущее Существо жестоко наказывает тебя... Ты что? Ты стара, но у тебя в твоей стране остались сыновья, дочери. Они будут страдать из-за твоей покорности...

Эти слова произвели на Асю впечатление. Она дрожала всем телом; видно было, что испуг овладел ею.

— Что же мне делать? — простонала она. — Что делать?

— Ты не знаешь? — уже торжествующе спросила Зюлейка.

— Ох, когда бы я знала! — захныкала старуха. — Научи меня, скажи, разум мой помутился...

— Вызови духа огня, спроси его! Пусть он покажет тебе судьбу этой русской, и поступи так, как желает божество. Или твои чары уже перестали действовать?

— Нет, нет! Дух огня благосклонен ко мне, но чтобы узнать, что нам нужно, необходимо присутствие этой русской девчонки.

— Только-то? — воскликнула Зюлейка. — Ну, я помогу тебе, моя бедная, добрая Ася: я приведу её к тебе, а ты вызови духа огня и пусть он поведает тебе свою волю.

X СРЕДИ ЖЕНЩИН



Ставшись одна, старая Ася сперва заулыбалась отвратительной улыбкой, а потом беззвучно засмеялась. От этого она стала ещё омерзительнее, ещё безобразнее. Её нос загнулся книзу ещё более, беззубый рот зиял, как расщелина, а глаза заблестели, как блещут глаза волка, почуявшего близкую добычу.

— Ой, молодость, молодость, — закивала

она в такт шёпоту своей безобразной головой, — самонадеянная, бесшабашная молодость! Бедная Зюлейка! Она и впрямь думает, что она и умнее, и хитрее меня... Она теперь уверена, что старая Ася пошла на её удочку, а между тем она сама же попалась в расставленные мною тенёта! Да, да! Господин приказал мне сделать так, чтобы эта русская девочка полюбила его, полюбила без ума, без памяти, наяву, когда проснётся завтра. Я должна сделать заклинания над ней и непременно не над сонной, а над бодрствующей и непременно нужно сделать так, чтобы она сама, по доброй своей воле, пришла к моему огню. Она боится старой Аси, а теперь Зюлейка сама приведёт её ко мне...

Наступило молчание. Старуха прислушалась. Кругом царила глубокая тишина.

— Русскую страшит моя старость, — забормотала опять Ася, — и не может она понять, что Ася когда-то была молода и прекрасна, как она, что Асю любили удальцы, прославившие Иран своей храбростью, что певцы слагали ей свои чудные песни... Да, было время! И Испагань, и Тавриз говорили с восторгом об

Асе, прекрасной жрице огня. Всё прошло! Всё унесло злое время... Теперь Ася безобразна, теперь она ненавидит молодость и красоту. Она мстит им за то, что они ушли от неё. Да, да! Пусть страдает эта русская девчонка! Я отдам её господину, он сделает её несчастной, а проснётся она ещё более несчастной: она будет томиться любовью к господину, а он, сорвав цветок наслаждения, будет смеяться над её любовью...

Она остановилась и прислушалась. В соседних покоях было тихо.

Старуха забеспокоилась и заворчала:

— Что же не идёт Зюлейка? Где русская девчонка? Гей мои духи огня, соберитесь на зов вашей повелительницы, послужите мне, как служили прежде!.. Зову вас, собирайтесь со всех сторон света, есть дело! Сбирайтесь, приказываю вам, молю вас!

Выкрикивая всё это, старуха кривлялась, корчилась, извивалась; её всю так и дёргало: очевидно, Ася пришла в экстаз и теперь, она способна была произвести потрясающее впечатление на нервного или суеверного человека.

Послышались шелест тяжёлых материй и лёгкие шаги.

Дверь распахнулась, и в покой вошли, почти впорхнули Зюлейка и Ганночка. Молодая персиянка зорко поглядела на старуху. По всей вероятности она уже не раз видела Асю в таком состоянии. Её глаза заискрились, она не удержалась и громко захлопала в ладоши.

— Так, так! — даже слегка припрыгнула впечатлительная Зюлейка и шепнула Ганночке: — Ты — счастливица, сестричка: Асю посетили её духи огня, и теперь она скажет тебе всю правду... Только не нужно бояться, они не сделают зла.

Ганночка смотрела на безобразно кривлявшуюся и дергавшуюся старуху с отвращением и испугом; она начинала чувствовать, что вокруг неё творится что-то особенное.

Правда, Зюлейка была с нею бурно-ласкова, но Ганночка совсем не привыкла к таким ласкам, и они не на шутку пугали её. Она очень удивилась тому, что её мамушка вдруг размаялась в тепле, не могла преодолеть дремоту и заснула столь крепко, что как ни тормошила её боярышня, а разбудить не разбу-

дила. Старушка что-то мычала во сне, но глаз не открывала и лежала пласт-пластом. Ганночке это сперва показалось очень смешным — старушка уморительно морщилась, пыталась разомкнуть глаза; но потом молодой девушке стало и скучно, и грустно. Зюлейка, уговаривавшая Асю, долго не приходила, и Ганночка от души обрадовалась, когда наконец увидела её. Всё-таки это была женщина, молодая, красивая, и притом же она казалась Ганночке и доброй, и полюбившей её.

Зюлейке было легко уговорить скучавшую гостью пойти узнать своё будущее: ведь девушки так любят всякие гадания, кто из них не поддастся соблазну заглянуть в неведомую даль грядущего и увидеть, что их там ожидает?

— Да может быть страшно будет? — боязливо спросила Ганночка.

— Нет, нет! — поспешила успокоить её Зюлейка. — Зачем страшно! Ася — ворожея умелая... Она всё тебе покажет... Суженого своего увидишь... А я буду с тобой рядом, никуда не убегу. Я буду тебя за руку держать, и ты меня держи... Вот и не будет страшно...

Ганночка всё ещё колебалась.

— Идём, идём скорее, — заторопила её молоденькая персиянка, — а то ещё твоя старуха проснётся, она тебя не отпустит... Пойдём скорее, пока она спит!

Молодая девушка боязливо поглядывала на спящую мамку и не решалась последовать за своей пылкой подругой.

Та заметила эту нерешительность.

— Ай-ай, какая же ты! — заговорила она. — Ну не хочешь, как хочешь, не пойдём!.. А как Ася гадает-то хорошо! Ещё у нас в Испагани все, кто хотел свою судьбу узнать, к ней шли. И всем она правду говорила... Ай, как верно говорила! Расскажет, как на ладони выложит! Так-то верно, так-то верно!

Голос Зюлейки звучал так вкрадчиво, её убеждения были так соблазнительны, что Ганночка в конце концов поддавалась искушению.

— Ну, пойдём, милая, что ли, — сказала она и даже вздохнула при этом. — Только чур, уговор: ежели очень страшно будет, так я убегу...

Зюлейка с радости осыпала свою молодую

гостью градом поцелуев.

— О, ты увидишь, что всё хорошо будет, — воскликнула она, — я за тебя рада, ты увидишь всё, что тебя ждёт в грядущем. Скорее, скорее пойдём!

Что заставляло Зюлейку так радоваться? Пылкая персиянка была искренна в проявлениях своих чувств. Она не считала русскую гостью соперницей себе, не считала, быть может, потому, что не любила князя Василия и даже ненавидела его со всей пылкостью своего горячего, порывистого сердца. Она решила во что бы то ни стало спасти Ганночку, вырвать её из нечистых объятий Агадар-Ковранского, хотя бы только для того, чтобы досадить ему.

Чем была ей в самом деле эта молоденькая гостья? Так, красивой звёздочкой, мелькнувшей в кромешном мраке её неволи. Но Зюлейка не думала об этом; для неё было главное во что бы то ни стало разбить замыслы ненавистного ей человека, и ради этого она сама пошла бы на всё. Она была уверена в своей власти над старой Асей, единственным живым существом, с которым она могла вспо-

минать свою далёкую знойную родину, но вместе с тем знала, что Ася считала себя рабою, и потому воля её господина была для неё священна. Но для Аси было нечто высшее, чем дикая воля князя Агадар-Ковранского. Ася была огнепоклонницей и веровала, что священный дух огня правит миром и судьбою всех живущих. На родине она была служительницей огня, но и в неволе её благоговение пред ним нисколько не ослабло, а напротив, ещё усилилось, потому что старуха, потерявшая всё, только и жила надеждой, что священный огонь возвратит ей потерянную свободу, и то, чего лишила её тяжкая неволя. Старуха зорко поглядела на молодую гостью и кивнула головой в её сторону:

— А не испугается девчонка, когда явится дух огня? Страшен его лик, голос его — что гром, пламя его сжигает тех, кто выйдет из зачарованного круга... Смотри, — обратилась она к боярышне Грушецкой, — будь тверда, если желаешь узнать, что ждёт тебя... Ты можешь увидеть ужасное, так собери все свои силы и ни шага вперёд, ни шага назад! Можешь ты это?

Ганночка чувствовала, как замирает в её груди сердце, но отступить ей не хотелось. Разожжённое любопытство победило робость.

— Могу! — чуть слышно пролепетала она.

— Ты твёрдо решилась?

— Да!

— Тогда пойдём!

Старуха с такой живостью вскочила со скамьи, словно к ней вернулись и молодость, и силы.

— Пойдём, пойдём же скорей! — повторила она. — Наступает ночь, кто знает, что случится до утра!

Зловеще прозвучали эти её слова. Ганночка так и задрожала, услышав их. Она уже хотела отказаться от гадания, убежать назад к своей старой мамушке, но Ася с удивительной для её возраста лёгкостью и живостью вышла из покоя. Зюлейка потянула свою гостью за собой, и Ганночка почувствовала, что у неё не хватает сил для сопротивления...

Вся бледная, с туманом в глазах, следовала она за молодой персиянкой, шептавшей ей на ходу:

— Не бойся, не бойся! Я с тобою... Потом са-

ма меня благодарить будешь... Да и как по-благодаришь-то!

Они шли тёмным, всё понижавшимся переходом, заканчивавшимся крутою лестницей. Было темно, хоть глаз выколи. В лицо Ганночки пахнуло удушливой сыростью. Она поняла, что лестница вела в какой-то подземный погреб; ей хотелось убежать, но вряд ли она нашла бы назад дорогу среди тьмы крошечной. Оставалось только одно: послушно следовать за Зюлейкой...

— Стойте здесь, — раздался в темноте голос Аси, — не двигайтесь ни шагу, пока я не позову вас!

Последние слова прозвучали откуда-то издалека, снизу.

Ганночка чувствовала, что её голова кружится, в глазах ходили огненные блески, сердце так и колотилось в груди.

XI

ЛУЧ НАДЕЖДЫ



Старый Сергей был хитёр и находчив. Он сообразил, что в том положении, в каком очутились они, силою им ничего не сделать. Оставалась только хитрость. Недаром старик вырос среди литовских трущоб и с детства бродил по дубравам, охотясь на их обитателей. Закон приспособления сказался в нём, необходимость выучила его всяким хитростям, развила наблюдательность, приучила ни в каких обстоятельствах не терять присутствия духа. Всё это он сохранил до старости, и теперь эти качествагодились ему.

Немного поприглядевшись, он смекнул, что его подпаивают не просто так, ради гостеприимства, а с какой-то особою, пока ему неведомой целью. Поэтому он решил, что раз

это так, то нужно пойти врагам навстречу. Ему ли, старому холопу, не суметь притвориться! Ведь всю жизнь он только и делал, что притворялся, не один раз господина обманывал и от батогов ускользал, так чего же тут маху давать?

Посидев немного за столом и выпив для виду ещё хмельной браги, Сергей, как уже известно читателям, свалился под стол и громко-громко захрапел. Однако это было ловким притворством: старик был трезв, и его мысль работала с такою быстротою, как никогда.

Простодушные Гассан и Мегмет поддались на удочку. Они были убеждены, что Серёга допился до бесчувствия, а он из-под стола слышал, что они говорили, и, чуть приоткрыв глаза, наблюдал за выражением их лиц.

Он быстро сообразил, что дело хуже, чем он мог предполагать: его ненаглядной боярышне Агафье Семёновне грозила беда.

"Как тут быть, как быть?" — вертелся в его мозгу назойливый вопрос, но на него не было ответа.

Серёга совсем терялся в догадках; ведь он даже не знал, где его боярышня, как добрать-

ся до неё.

Он лежал под столом и страшно мучился, ещё никогда не чувствуя себя настолько беспомощным, как теперь.

— А что, — произнёс над ним Гассан, — пожалуй нужно их рядом всех сложить, бок-о-бок...

— Верно! — согласился Мегмет. — Все они тогда и на виду, и на счету будут...

— Тогда постелим шкуры на пол, да и свалим всех этих пьяниц, — сказал Гассан. — Пусть спят, сколько хотят!

Он крикнул что-то на восточном наречии другим слугам; те дружно засмеялись и принялись готовить постели перепившимся холопам. Потом они довольно-таки бесцеремонно принялись стаскивать их к разостланным шкурам и швырять их как поленья дров. Пьяные до бесчувствия люди мычали, бранились, даже отмахивались, но глаз не размыкали и затихали тотчас же, как только попадали на мягкое, пушистое и тёплое ложе.

— Этого поосторожнее, — сказал Мегмет, как только очередь дошла до Серёги, — он словно бы и пил меньше всех, вдруг ещё

проснётся, после опять уложить будет трудно.

Они бережно подняли Сергея; тот, продолжая притворяться пьяным, заметался, забрыкался, замычал что-то непонятное, но глаз не открыл. Гассан и Мегмет громко смеялись. Теперь они окончательно убедились, что и старый холоп спит так же крепко, как и все остальные.

Побыв ещё немного в людском покое, все люди Агадар-Ковранского ушли, вполне уверенные, что гости ещё долго проспят мёртвым сном. И действительно в покое раздавались громкое храпенье и сопенье на все лады. Серёга лежал, не двигаясь; мысли вихрем проносились в его мозгу, но он решительно не мог ничего придумать. Всё, что приходило ему в голову, казалось совершенно негодным, неисполнимым, и бедный старик готов был расплакаться от сознания своего полного бессилия.

Вдруг около него что-то зашевелилось и чья-то рука легко и осторожно дёрнула его за ногу.

— Дядя Сергей, а, дядя Сергей! — услышал он тихий шёпот.

Сергей сейчас же по голосу узнал спрашивающего и также чуть слышно шёпотом спросил:

— Это ты, Федюнька?

— Я, дяденька, я самый...

— Чего тебе? Я-то думал, что и ты, как остальные, напился...

— Как можно, дяденька! Нешто ты не знаешь, что я хмельного отродясь в рот не брал?..

— То-то и оно... Уж и удивился же я, увидав, что и ты валяешься...

— А я притворялся. Я ведь по ихнему-то понимаю. Помнишь, у нас полоняник-калмычок жил, так я от него по-ихнему малость насобачился... Калмыки, они из-под Астрахани. Слышь, дядя, плохо наше дело. Неспроста они угощали нас-то: им их князь приказал. Плохо, говорю я, дело: боярышню нашу вызволять надобно. Нас-то тут вином накачивали, а мамку та старая ведьма сонным зельем опила... Вишь ты, князь здешний до нашей боярышни добирается.

— Что же нам делать, Федюшка? — чуть не в полный голос воскликнул Сергей, приподнимаясь на своём ложе. — Скажи хоть ты...

Господь иногда младенцев умудряет...

Федюшка тихо засмеялся и сказал:

— Я-то, дядя Сергей, не младенец, а, что делать, знаю...

— Что, милый? — заволновался старик. — Говори скорее! Веришь ли, всё моё сердечушко изнылось. Ну, говори скорее, что делать?

— Что? Да боярышню прежде всего вызывать...

— Тьфу, дурень, — рассердился Сергей, — это я и без тебя знаю... Ты мне скажи, как...

— И это скажу... Добраться до неё нужно... Я-то дорогу приметил... Ежели хочешь, поползём — я впереди, ты за мной... Только так ползти нужно, как змеи ползают, чтобы даже здешняя мышь не почуяла, что мы близко... Вот как! Сможешь?

— Ой, могу! Да чтобы я чего не смог для боярышни ненаглядной?.. Вали, Федя, а я не отстану.

— Тш! — шепнул Федька. — Слышь, идут сюда калмыцкие нехристи! — и он проворно юркнул в сторону на своё место.

Федька не ошибался. Дверь хлопнула, и в покой вошли Гассан и Мегмет с коптившими,

тускло горевшими светцами.

Было уже совсем темно. Гассан и Мегмет, доверенные люди князя Василия, угощая гостей, и сами выпили, вопреки закону Магомета, а потому их лица были красны, и они даже слегка пошатывались.

— Спят! — проговорил первый, направляя тусклый свет на наезжих холопов.

— Без просыпа, — ответил Мегмет. — Все ли?

— Все! — пересчитал спавших Гассан. — Поди, и нам теперь можно вздремнуть до князя... Стеречь их нечего...

— Стоит ли? Пожалуй, господин-то теперь скоро примчится...

— Услышим! Со двора тревогу подадут, а мне спать куда как охота... Ты как там хочешь, а я прилягу...

Он подошёл к столу и одним духом осушил большой ковш браги, а потом растянулся на лавке и громко зевнул.

Пример Гассана соблазнил и Мегмета. Он тоже принялся за брагу и осушил целых два ковша; после этого он повертелся, походил по покою, подошёл к спавшим гостям, выглянул

В окно, где ни зги не было видно, и тоже растянулся на другой лавке. Скоро их храпенье слилось с храпеньем пьяных холопов.

XII ТРУДНОЕ ДЕЛО



Идевший всё это Сергей потерял всякую надежду на успех предприятия. Он лежал, не шевелясь, с лицом, уткнутом в мех шкуры, и слёзы так и подступали к горлу: его душило отчаяние, всё было потеряно, на спасение борышни идти было невозможно...

Вдруг Сергею показалось, что тускло мерцавший свет слегка заколебался. Он приподнял голову и увидел, что у стола мелькала какая-то фигура, старавшаяся задуть огонь.

"Федюнька! — решил Сергей. — Стараются молодец... Да сгубит всех он нас", — про-

мелькнула тревожная мысль.

Как раз в это время огонь погас, и покой погрузился в крошечную тьму.

Серёга от страха дышать даже перестал. Он был уверен, что калмыки сейчас же проснутся и поднимут тревогу, но по-прежнему в людском покое слышалось только храпенье на все лады. Очевидно Гассан и Мегмет спали так крепко, что их не разбудило даже внезапное наступление темноты.

"Ай, да молодец, Федюнька!" — подумал Сергей с восхищением в душе и опять почувствовал, что его кто-то тормозит за ногу.

— Это ты, Федюнька? — спросил шёпотом старый холоп.

— Я, я, дядя Серёга, тише ты! — раздался ответ среди тьмы. — Вот тебе мой ремённый пояс, возьми его в зубы и ползи за мной, только помни — как змея... Я дорогу к дверям знаю...

Через мгновенье они уже ползли по полу. Сергей, крепко державший в зубах пояс Федьки, молился всем святым и в то же время восторгался подростком.

"Истинно Господь послал нам такого паренька!" — думал он.

Федюнька осторожно, не произведя ни малейшего шума, открыл дверь и выполз за порог. Сергей последовал за ним. Он не видал, но почувствовал, как затворилась за ними бесшумно дверь. Федя быстро вскочил на ноги.

— Вставай и ты, дядя Сергей, — уже не так тихо произнёс он. — Да не бойся, будь посмелей, а то у нас ничего не выйдет.

— А куда идти-то? — спросил, ничего не видя пред собой, Сергей. — Куда, милый?

— Иди за мной! Вынь пояс-то из зубов, в руке держи, да не выпускай!.. Ну, пошевеливайся! Времени у нас мало... Трогайся!

Старик беспрекословно повиновался своему юному товарищу. Он даже и не подозревал, что Федюнька, бывший среди дворни Грушецкого на побегушках, мог оказаться таким смышлёным малым. Да и положение было таково, что волей-неволей нужно было подчиниться ему. Сергей послушно шёл за Федюнькой. Так они, крадучись вдоль стены, добрались до конца перехода и упёрлись в какую-то дверь.

— Стой, дядя, — шепнул Сергею подро-

сток, — обожди малость, я взгляну, что там такое...

Не выпуская ремня, который был путеводной нитью для Сергея, Федя тихонько приотворил дверь. За нею было так же темно, как и в переходе.

— Шагай, дядя Сергей, смело! — проговорил было Фёдор, но вдруг стремительно метнулся назад, шепча: — Идут, со светом идут!

Они притаились около двери; Сергей горячо молился, чтобы и на этот раз пронесло беду; Фёдор согнулся, нащупывая на всякий случай за голенищем рукоять ножа.

— Чу, — прошептал он, выпрямляясь, — да там никак беда!

На самом деле до них доносились женские голоса.

Это Зюлейка и Ганночка спешили к старой Асе.

Боярышня Грушецкая даже и не подозревала, что так близко от неё находятся беззаветно преданные ей люди; те в свою очередь и на мгновенье не подумали, что их любимица-боярышня находится так близко от них.

Ганночка вся была охвачена суеверным

страхом, когда осталась одна пред входом в тот погреб, куда, по словам Зюлейки, удалась Ася, чтобы произвести свои чародейские заклинания. Как ей хотелось возвратиться обратно, как замирало её бедное сердечко при одной только мысли, что её ожидает впереди что-то неведомо-страшное! Она, дрожа всем своим юным телом, ожидала призывного оклика, но его не было долго, очень долго. Девушка слышала, как где-то капала и булькала вода; то и дело из каких-то невидимых отдушин налетал ветер, слышалось его тихое, заунывное посвистывание. Суеверный ужас в душе молодой девушки всё разрастался. Наконец среди безмолвия раздался хриплый, визгливый крик старухи. Это Ася звала к себе Ганночку.

XIII

В ТУМАНЕ ГРЯДУЩЕГО



Е помня себя от страха, Ганночка двинулась вперёд на призывный оклик.

— Идём, идём! — как во сне, услышала она голос Зюлейки, откликнувшейся на крик старухи. — Всё ли у тебя готово, Ася?

Ганночке показалось, что этот голос звучал где-то совсем далеко от неё. В то же время ей казалось, будто не сама она идёт, а её несёт вперёд, то и дело колыша, какая-то неведомая волна.

Но вот пред её глазами блеснул яркий, синеватый огонёк. Они были в подвале, и Ганночка увидела пред собою небольшой горевший, но не дымивший костёр и около него женщину.

Она ни за что не признала бы в этой жен-

щине у костра старой безобразной Аси, той самой Аси, которая возбуждала в ней и страх, и отвращение.

У костра стояла, гордо выпрямившись, не молодая, но и вовсе не старая и отнюдь не безобразная женщина. На ней был странный, никогда не виданный на Руси балахон, красивый, с позументами, нашитыми на нём так, что издали они казались огненными языками. Но голове женщины был высокий остроконечный, украшенный такими же позументами-"языками", колпак, сдвинутый на затылок и открывавший лицо.

От отблеска синего огня в костре, это лицо казалось лицом не живого человека, а мертвеца, — так оно было иссиня-бледно. Однако взглядевшись, Ганночка, хотя и с трудом, всё-таки признала Асю. Глаза старухи так и горели огоньками, когда она взглядывала на русскую девушку; её грудь дышала столь порывисто, что по временам казалось, будто Ася задыхается. Из горла то и дело вырывались хриплые, нечленораздельные звуки. Ася что-то говорила, но Ганночка совершенно не понимала её. В руках у Аси был длинный, тон-

кий, чёрный жезл, которым она размахивала из стороны в сторону и при каждом взмахе конец этого жезла вспыхивал синеватыми огоньками.

Во всём погребе разливался сильный сладковатый запах. Ганночка, едва войдя, уже почувствовала, что у неё кружится голова. Однако она пересилила себя и храбро ждала, что будет дальше.

Зюлейка была около неё, и боярышня чувствовала, как дрожит в её руке рука персиянки. Ясно было, что Зюлейка ощущала страх, но и она старалась держаться, не показывая вида, что боится.

Войдя, обе женщины остановились у порога; Ася повелительно протянула вперёд свой жезл, как бы запрещаая им идти далее. Ганночка испугалась, когда пред нею сверкнули синие огоньки с острия жезла. Она так и замерла на месте, ожидая, что теперь потребует от неё это страшное существо.

Ася между тем сделала шаг вперёд и начала чертить своим жезлом на полу подвала большой полукруг, вполне достаточный, чтобы в середине его могли поместиться и Ган-

ночка, и Зюлейка. Конец жезла, описавший этот полукруг, оставил после себя синевато-огненный след, слабо мерцавший и слегка дымившийся. После этого Ася повелительным движением указала Ганночке и Зюлейке место в огненной дуге, где они должны были стать, и, когда это было исполнено, остриём жезла соединила концы линии, так что образовался круг, в центре которого очутились теперь обе женщины.

— Мне страшно, страшно! — дрожа всем телом, прошептала Ганночка. — Я хочу уйти...

— Нет, нет! — также шёпотом ответила ей Зюлейка. — Это невозможно... Нельзя уйти... Духи огня, подчинённые Асе, уже здесь, они спяют нас, если мы выйдем из круга.

— Долго ли ещё будет этот страх? — опять спросила Ганночка.

— Не знаю! — услышала она дрожащий голос Зюлейки. — Мы должны оставаться, пока нас не выпустит Ася... Тихе, тихе! Слышишь?

Ганночка пока ничего ещё не слышала.

— Слушай, — заговорила Зюлейка, — духи здесь, я слышу их голоса... Собери свои силы,

будь мужественной...

Напрягши слух, Ганночка различила по близости какое-то бульканье. Казалось, что кипела вода в каком-то невидимом для глаз котле. На костре с синим огнём не было ничего, звуки раздавались где-то позади обеих гадальщиц. В них не было ничего страшного, но невидимое всегда пугает, и не одних только робких женщин. А тут как раз Ася подошла вплотную к кругу и устремила свои глаза на Ганночку. Та не могла выдержать этот сверкающий взгляд и закрылась от него рукою.

— Уйди, уйди, проклятая! — довольно громко залепетала она. — Не нужно мне твоего колдовства... Ничего я не хочу знать... Ничего! Сгинь, рассыпья! Да воскреснет Бог!..

Но ничто не действовало: Ася не уходила и продолжала смотреть на русскую девушку. Та чувствовала нечто непостижимое: ей казалось, что какие-то невидимые волны льются из этих страшных глаз прямо в её душу, льются и мутят остатки разума, заставляют кружиться голову, лишают её воли...

— Сгинь, рассыпья! — ещё раз простонала девушка. — Зачем, зачем это?

Ася водила пред её глазами своим сверкающим жезлом, и Ганночка начинала чувствовать, что ею овладевает непреодолимая дремота. Она даже на мгновение закрыла глаза, а когда вновь разомкнула их, то увидела, что Ася стоит около своего костра с простёртой вперёд рукой.

Теперь Ганночке уже совсем не было страшно. Она была спокойна, недавний ужас отошёл от неё. Она оглянулась и увидела, что Зюлейка опустилась на колена у её ног и, закрыв лицо полами платья, вся трепещет.

"Чего это она? — подумала Ганночка, — Я же вот ничего не боюсь..."

Она забыла о своём недавнем страхе, и теперь только одно любопытство владело ею.

Совершенно спокойно, без дрожи и трепета, смотрела она на то, что происходило у костра.

Пока Ася держала над ним свою руку, синее пламя в нём то и дело вспыхивало длинными, синеватыми язычками. От этих язычков тянулся теперь дым, расплывавшийся сейчас же во все стороны. Сладковатый запах становился всё более и более ощутимым —

так и щекотал ноздри Ганночки. Её голова опять закружилась, — дым пахнул прямо на неё, но в это мгновение Ася, сорвавшись со своего места, закружилась вокруг костра в неистово-бешеной пляске. Её движения были так быстры, что Ганночка не улавливала их. Она слышала дикие взвизгивания кружившейся колдуньи, но почти не различала её в сгущавшемся всё более и более дыму. Так длилось некоторое время.

Наконец огонь в костре ярко вспыхнул и поднялся вверх большим ярко-багровым столбом. Сейчас же пламя опало, и пред глазами изумлённой Ганночки была теперь словно завеса из белесоватого тумана.

Ганночка видела, что на этой завесе движутся какие-то неясные тени, весьма похожие на человеческие фигуры. С каждым мгновением эти тени вырисовывались всё яснее и яснее. Скоро уже можно было разобрать всё. Молодая девушка увидела какие-то постройки. Вглядываясь, она различила терема, палаты, невиданный ею кремль какого-то, очевидно большого, города.

Ей казалось, что она видит постройки это-

го чудного кремля. Среди них было много храмов с золочёными куполами на большой площади. С одной стороны этой площади она увидела высокие палаты с широким крыльцом, и словно кто-то сказал ей, что это — царский дворец.

Пред ним была масса народа с обнажёнными головами, а наверху крыльца, окружённый сонмом бояр, степенных и важных, стоял бледный молодой человек в царском одеянии.

Ганночка вскрикнула, увидав этот призрак, и звук её голоса глухо прозвучал под сводами погребя. То, что она видела, доставляло ей невыразимое удовольствие.

Девушка чувствовала себя несказанно счастливою; ей хотелось, чтобы видение длилось без конца. Но в это мгновение она услышала болезненный крик, и кто-то не грубо, но сильно схватил её за руку. Это было столь неожиданно, что нервы Ганночки не выдержали, она отчаянно вскрикнула и лишилась сознания.

На дворе у княжеского дома ржали и фыркали лошади, люди кричали на разных язы-

ках, мелькали зловеще-багровые огни смоляных факелов; несмотря на глухую уже ночь, весь дом сразу ожил.

XIV

ВЫЗВОЛЕННАЯ БОЯРЫШНЯ



Ука столь грубо нарушившая очарование, во власти которого находилась Ганночка, была ей не совсем чужая. Это Серёга и Федюнька, полные желания во что бы то ни стало выволить свою красавицу-боярышню от грозившей ей позорной участи, наконец-то нашли её.

Когда они, испуганные внезапно показавшимся светом и звуками человеческого голоса, дрожа и волнуясь, захлопнули дверь, то всё-таки — по крайней мере Федюнька — не совсем потеряли свою бодрость и не забыли той цели, к которой стремились.

После той до дерзости смелой проделки, которую выкинули они, уйдя из-под носа своих спавших вблизи сторожей, их нервы уже попривыкли к опасности, и страх, этот предвестник близкой беды, минул.

— Дядя Серёга! — прошептал Федюнька. — Слышь ты: мимо бабы шли... Да очнись ты, ишь ополоумел! Очнись, скажи хоть словечко...

Сергей взглянул на подростка, и ему стало стыдно Федьки, выглядевшего как ни в чём не бывало и даже улыбавшегося. Только длинный засапожный нож в его руках показывал, что он готов лицом к лицу встретить всякую опасность.

— Слышь, дядя Сергей, что я говорю, — толкал он старика под бок: — Бабы!

— Может, оборотни! — пробормотал в ответ тот, понимая, что ему в данном случае нужно хотя что-нибудь сказать.

— Чего там оборотни? Какие оборотни? — насмешливо проговорил подросток. — Ежели оборотни, так с ними всегда крестом да молитвой справиться можно. Это — настоящие бабы, как полагается...

Фёдор вдруг оборвался и на мгновение глубоко задумался.

— Слышь, дядя Серёга, что я тебе скажу, — вдруг воскликнул он, — ведь там наша боярышня была!

— Да ну? — даже растопырил руки от удивления старик. — Врёшь!

— Чего вру? По голосу узнал...

— Право врёшь! И чего ей в чужом доме, ночью, по разным закоулкам шататься?.. Посуди сам, пойдёт она?

— А вот пошла, — торжествуя, с сознанием собственного достоинства ответил Фёдор. — Мало ли что на свете бывает! — с философской рассудительностью закончил он.

Сергей всё ещё продолжал не верить, и Фёдор стал заметно волноваться.

— Ну, ты как там желаешь, — сознавая своё превосходство в создавшемся положении, проговорил он с неудовольствием, — хочешь за дверью стоять — стой, твоё это дело, попадайся Гассанке с Мегметкой на зубы. А я пойду...

— Куда, куда, миленький? — засуетился Сергей, сильно обеспокоенный создавшейся

перспективой остаться одному среди тёмного перехода совершенно незнакомого ему дома. — Куда ты пойдёшь?

— Как куда? Куда шёл: боярышню вызволять! — ответил Фёдор и смело отворил дверь в покой за переходом.

— Стой, Федя, стой, миленький! — засуетился перепуганный старик. — Ежели ты, так и я за тобой. Вот только где твой ремённый пояс? — шарил он во все стороны вокруг себя руками.

Фёдор тихо засмеялся и протянул ему руку, сказав:

— Держись!

Они вошли в неосвещённый покой.

Ночь уже наступила; на небо взошла луна, и её слабый свет лился внутрь покоя через слегка запотевшие окна. Благодаря этому вокруг смельчаков была не столько темь, сколько таинственная, порождавшая всюду тени полумгла. Кое-как, с большим трудом, но всё-таки можно было оглядеться вокруг.

Было мертвенно тихо, и эта тишина, как казалось Сергею, веяла чем-то могильным. Он чувствовал оторопь, но ему стыдно было вы-

казать её пред подростком, и он старался держаться бодро.

— Ну, вот, — заворчал он, — говорил ты: "идём!". Пришли, пришли, а теперь куда?

— Постой, не торопи! — огрызнулся Фёдор, — Дай сообразить.

Он начал повёртываться во все стороны, потом отошёл к двери, через которую они проникли в покой.

— Свет вот с этой, правой, стороны виднелся, — думал он вслух, — стало быть, шли отсюда, так что шли справа налево, выходит, стало быть, что нам нужно налево идти. Там-то дверь непременно должна быть! Поглядим...

Он начал осматривать стену, приходившуюся от него налево, и скоро радостно вскрикнул: он действительно нашёл ход!

— Идём, дядя, идём, — потащил он за собой Серёгу, — засапожник-то у тебя при себе?

— Нет, — с сокрушением ответил старик, — должно быть, обронил его, как ползли. Да и не нужно, я голым кулаком не хуже управлюсь...

— То-то! А то ведь идём мы с тобою неведо-

мо куда, кого встретим — тоже неизвестно. Может быть, боярышню-то отбивать придётся.

— Ладно, — пробормотал старик, — не сдадим!

Они шли тем же понижающимся уступами переходом, по которому пред ними проходили Ганночка и молодая персиянка.

Идти им приходилось очень медленно, цепляясь за стену, переступая шаг за шагом. Сергей скоро почувствовал утомление и должен был то и дело останавливаться. Это страшно злило Фёдора, но делать было нечего, не мог же он оставить товарища одного в тёмном переходе.

Наконец, спустившись по мокрым, скользким ступеням, они очутились у входа в подвал, где чародействовала старая Ася. Прежде всего они увидели пелену из дыма, образовавшую как бы стену, за которой им решительно ничего не было видно. Пред этой стеной, выпрямившись во весь рост, стояла с высоко поднятой головой их красавица-боярышня, а у её ног полулежала молодая персиянка, которую Сергей уже не раз видел в эти часы.

— Смотри, смотри, — прошептал на ухо

Сергею Фёдор, — там, за дымом, у окна, старая колдунья лежит...

— Тогда не зевай, парень, возьмём боярышню...

— Возьмём, возьмём, хотя бы силой. А то тут задохнётся.

Теперь, уже не думая скрываться, старик и подросток кинулись к своей милой боярышне Агашеньке, и Сергей схватил её за руку как раз в то мгновение, когда она видела перед собою на высоком крыльце молодого бледного царевича.

Ганночка, почувствовав прикосновение мужских рук, вскрикнула, как бы пробуждаясь от тяжёлого сна.

— Кто это? — дрожащим голосом проговорила она. — Где я?

— Молчи пока, боярышня милая, — услышала она в ответ знакомый голос Сергея. — Хотели злые люди погубить тебя, да мы подошли; уж мы-то тебя в обиду не дадим, скорее жизни лишимся, чем хоть волос с твоей головы упадёт...

Он не договорил. Обессилившая от впечатлений Ганночка лишилась чувств. Она упала

бы, если бы старый холоп не успел подхватить её на руки. Фёдор не мог оказать ему помощь. Очнувшаяся от своего полузабытья Ася вцепилась в него, визжала, кусалась, царапалась. Федюнька, не будучи в силах освободиться от неё и не видя помощи от Сергея, быстро пришёл в ярость.

— Отцепись, змея подколодная, — крикнул он. — А, ты не хочешь! Так вот тебе!

Он со всей силы ударил старуху по голове рукоятью засапожного ножа. Та тихо вскрикнула и отвалилась от малого; Фёдор сильно толкнул её, скорее отшвырнул прочь от себя и кинулся к Сергею, державшему в охапке боярышню и, видимо, положительно не соображавшему, что ему теперь нужно делать. Около них уже суетилась Зюлейка, очевидно тоже не понимавшая, что происходит вокруг неё. Персиянка что-то лепетала; ни Сергей, ни Фёдор не понимали её, но они видели, что эта женщина настроена к ним отнюдь не враждебно, и быстро сообразили, что могут получить от неё помощь.

— Ну, ну, милая, — ласково заговорил Сергей, — проведи нас скорее, где мамушка на-

шей боярышни, а то нехорошо ей, воеводской дочери, по подвалам пребывать! Ну, ну, не кочевряжься, показывай, что ли, путь! Куда идти-то? А не то!

Сергей, слышавший поднявшуюся на дворе тревогу и боявшийся всякого промедления, сделал угрожающий жест.

— Да брось ты её, — остановил старика Фёдор, — сами выберемся, той же дорогой пойдём. Ишь ты, ведунья проклятая, туда же: нашей боярышне колдовать вздумала! Идём, дядя, идём. Вот тут ихний фонаришко валяется, — ткнул он фонарь, который принесла с собой Зюлейка, и, подняв его, пошёл вперёд к выходу из подвала, в котором пахучий дым сгущался всё более и более.

Зюлейка кинулась вперёд; видимо, участь Аси несколько не трогала её и она словно позабыла о ней. Позади всех старый Серёга нёс в своих медвежьих объятиях бесчувственную Ганночку.

Когда они вышли в верхний переход, то тревога и суматоха распространились уже по всему дому.

— Что ещё там случилось? — сумрачно

проворчал Сергей. — Эх, только бы до мамушки добратся!

Это им удалось вполне благополучно, благодаря путеводительству Зюлейки. В покое, отведённом для гостей, было тихо; мамушка крепко спала на жарко истопленной лежанке. Её сон был столь крепок, что, когда Сергей попробовал разбудить её, это не удалось ему.

Они уложили всё ещё бесчувственную Ганночку на постель и около неё сейчас же примостила Зюлейка.

Так прошло несколько времени.

— Идут, — вдруг вся так и взметнулась Зюлейка, заслышав приближающийся к дверям их покоя шум, — господин идёт!..

— Пусть идёт, — спокойно проговорил Фёдор, вытаскивая нож.

Зюлейка тоже вытащила из складок своего платья длинный тонкий кинжал, а Сергей, у которого не было никакого оружия, схватил за конец тяжёлую скамью.

Шум становился всё ближе и ближе.

XV
В ЛЕСНОЙ ТРУЩОБЕ



Князь Василий себя не помнил, вынесшись от своего родного дома в адски-тёмный лес. Он хлестал мчавшегося вихрем коня, как будто боясь, что за ним будет погоня, которая опять вернёт его назад и снова поставит пред неумолимой, как пробудившаяся совесть, тёткой. Князь Василий спешил уйти, потому что боялся Марьи Ильинишны.

Впервые он послушался её, вышел из её воли. Он слышал её угрозу и понимал, что старушка исполнит сказанное. Но страсть так мощно владела его существом, что даже и угроза боготворимой тётки не могла подавить её веления.

— Пусть, пусть уходит! — говорил себе князь Василий. — Пусть все уходят, никого

мне не нужно, никого! Пусть я один останусь на белом свете, но всё-таки дедовская обида будет отмщена...

Однако, едва он подумал об отмщении дедовской обиды, как ему сейчас же пришли на память слова Марьи Ильинишны. И вдруг его охватила невыразимая злоба против старушки, которую он всю жизнь по-детски пылко любил.

"Да, да, — со всё возраставшим озлоблением думал он, — не твоя, старая карга, московская роденька обижена, от ворога страдала... Чужая обида, известно, не больна! Пусть бы кто-либо одного из твоих московских петухов тронул, так-то ли бы ты запела, а то чего требуешь? Чтобы я, князь Агадар-Ковранский, да за деда во сто крат не расплатился. Я! Да в моих жилах, может быть, кровь ордынских ханов течёт, — от того-то я так всех московских бородачей и презираю. А тут простить, забыть. Нет, никогда!"

И князь Василий, словно ослеплённый, с бешеной яростью принимался нахлёстывать и так уже терявшего силы коня, бить его по крутым взмыленным бокам коваными каблу-

ками своих тяжёлых сапог. В душе его клокотало безумие, ярость слепила его.

Обуреваемый своими огневými думами о сладкой мести, князь не заметил того, как метался из стороны в сторону несчастный конь, не понимавший, чего требует от него господин. Он под ударами рвался вперёд, насккивал на попадавшие ему деревья, в диком ужасе отбрасывался от них прочь, садился в снег на задние ноги и снова, побуждаемый градом жестоких ударов, кидался вперёд, не разбирая дороги, которую он давно уже потерял...

А князь Василий даже и не замечал этого. Он сознавал, что мчится по лесу, но обычен ли был его путь, о том он даже и не думал.

Кругом стояли вековые ели, сосны, опущенные снегом, сквозь их макушки лила свой слабый, кроткий свет луна. Гигантские, слегка колеблющиеся тени лежали на небольших лесных полянках и прогалинах, но ничего подобного не должно было быть на том пути, который вёл от лесного поместья Агадар-Ковранского к его заезжему домику на опушке. Князь Василий не замечал даже того,

что его измученный конь, делая гигантские скачки, то и дело проваливался в снег, иногда уходя в него выше груди, выкарабкивался опять, кидался дальше; но его силы заметно истощались, прыжки становились всё меньше и короче, он начинал часто спотыкаться, а его дыхание перешло уже в сплошное надрывистое храпенье.

Всадник не замечал этого. Упоенный своими думами, теми картинами, какие рисовало ему его расстроенное воображение, он старался представить себе те моменты, когда внушка оскорбителя его давно уже умершего деда очутится в полной его власти. Ни на одно мгновение князь Василий не допускал мысли, что старая Ася осмелится послушаться его приказаний или случится что-нибудь такое, что помешает ей выполнить их.

Вообще князь Василий не признавал случайностей там, где дело шло об исполнении его воли. Он даже не учитывал их, даже не считал возможным, чтобы его приказание осталось неисполненным и, чем сильнее была уверенность в этом, тем ярче рисовались картины того подлого дела, которое с такою

отчётливостью задумал он.

Быть может, если бы Ганночка Грушецкая не была так хороша собою, то князь Василий был бы более благороден. Может быть, если бы на её месте был её отец, то и наследственная ссора тут же кончилась бы примирением. Но Ганночка пробудила в своевольном князе Василии дикую животную страсть. Он хотел её всем пылом своей мятежной души, но в то же время знал, что насилие было бы скверной подлостью, которая навсегда легла бы позорным пятном на его честь и честь его рода. Не будучи в силах справиться со своими дикими желаниями, он подыскивал всевозможные оправдания для задуманного внезапно позорного преступления, и наиболее ярким из них была наследственная обида.

Но как только он переставал думать о мести, переставал рисовать себе картины своего будущего преступления, совесть где-то в тайниках его души начинала громко протестовать против задуманного, и это более всего приводило в ярость Василия. Он спешил подавить, заглушить этот ужасный голос, но ему не удавалось, и он, приходя в неистовую

ярость, безумел, даже не соображая того, что путь в лесу уже потерян и что, не будь этого, он уже давно был бы в своём доме на опушке.

Вдруг измученный конь страшно захрапел и остановился, как вкопанный. Князь Агадар осыпал его градом бешеных ударов и так рванул удила, что морда коня сразу окровавилась. Тогда животное обезумело. Инстинкт предупреждал его о какой-то близкой опасности, но теперь боль пересилила инстинктивный страх.

Конь, страшно храпя, взвился на дыбы; однако всадник удержался и продолжал сыпать удары. Животное, дико заржав, попыталось сделать гигантский прыжок, как бы желая переброситься через что-то, но сила изменила ему. Конь упал на передние ноги и глубоко зарылся в снег.

Князь Василий страшным толчком был выброшен из седла и упал через голову на снег. С проклятиями он сейчас же вскочил на ноги, кинулся к коню, схватил его за поводья, но в следующий же момент невольно отступил назад, и по всему его телу вдруг пробежал холодок оторопи.

При слабом свете луны он увидел поднимавшуюся из-под снега чудовищную голову. Ярко горели громадные глаза, лязгали своими клыками страшные челюсти огромной пасти. Из больших ноздрей вырывалось обращавшееся в пар смрадное дыхание. За головой показались огромные плечи, к остолбеневшему князю Василию тянулись толстые, словно обрубки брёвен, мохнатые с ужасными когтями лапы. Это выходил из берлоги внезапно потревоженный медведь.

Агадар стоял как вкопанный, крепко ухватив рукоять своего охотничьего ножа, и глядел пред собой.

Чудовище медленно поднималось из своего зимнего логова. Это был медведь-великан, каких и в те времена было немного. Он вытянулся весь из своей берлоги, и, поднявшись на дыбы, медленно переваливаясь с ноги на ногу, колотя себя лапами по груди, пошёл прямо на князя.

Князь Василий понял, какая опасность надвигается на него, и обнажил нож. Чудовище подходило всё ближе и ближе, его смрадное дыхание обдавало князя Василия. В инстинк-

тивном ужасе он подался назад и сейчас же со стоном упал: он чувствовал страшную боль в ноге и понял, что свихнул её при падении.

XVI ЗА ПОДМОГОЮ



ри вершника Грушецкого, о которых вспомнил старый Серёга, не видя их среди остальной челяди своего поезда, незаметно отделились от него ещё в то время, когда обоз подходил к домику Агадар-Ковранского.

Парни действовали на свой риск и страх. Они твёрдо памятовали то совещание, которое было между ними, когда среди леса у них совершенно неожиданно сломались полозья у кибитки с боярышней, и считали, что ехать на ближнее селение за подмогой — дело уже решённое. Поэтому-то, недолго думая и никому не сказываясь, даже старому Серёге, едва

поезд с величайшим трудом двинулся вперёд по указанному Федькой направлению, они отделились от него и повернули назад. Оттого-то и не заметил старый Сергей того, как они ушли.

Все трое вершников были молодые, здоровые парни, не любившие ни над чем особенно долго задумываться. Они были литовцы и выросли в лесных труппах, где всякого зверья было куда больше, чем людей. У себя на родине они находили любую дорогу, там им была известна каждая лесная тропка, но здесь всё им было чужое: даже деревья казались совсем иными.

Но это нисколько не смущало молодцов.

— Ладно, — сказал один из них, когда они углубились в лес (дорога к поместью Агдар-Ковранского была ими примечена, когда они проезжали мимо неё), — не заплутаемся. Не впервой в лесу-то бывать!

— А ночь? — опасливо заметил другой. — Стемнеет — зги не увидишь...

— По звёздам путь найдём. Ночью-то звёзды и здесь необоримая сила...

— Вестимо так, — поддержал товарищей

третий вершник, — не сидеть же нашей боярышне невесть где. Боюсь я, как бы беды какой не приключилось.

— А что? — разом спросили оба вершника. — Какая беда-то? Нешто ты слыхал что?

Ответ последовал не сразу.

Вершники углублялись всё далее и далее в густой лес. Деревья-исполины стеной стояли по обе стороны дороги и затемняли слабый свет угасавшего дня. Даже в сердцах привычных людей рождалась невольная жуть. Казалось, и лошади испытывали то же чувство. Они шли неохотно, пофыркивали, храпели.

— Так о какой беде-то ты говорил давеча, Митроха? — нарушив молчание, переспросил первый вершник. — Или прослышал что-либо?

— Он там, на ночлеге, — засмеялся второй, Константин по имени, — все с бабами да девками толкался, так у него всяких сплетен, поуди, целый воз понабрался...

— Помалкивай, Костька, вместе были, — огрызнулся Дмитрий, — а ежели Ванятка про беду спрашивает, — кивнул он на первого вершника, — так, поуди, ты и сам на ночлеге

слыхивал, сколь лют здешний князь Василий Агадар-Ковранский.

— Верно, верно, ежели ты про такую беду, — отозвался Константин. — Дюже лют князь Василий до девок и баб; ежели которая помилее, так и на глаза ему лучше не попадайся. Я так полагаю, Митроха: как бы от него нашей боярышне какой проторы не вышло?

— То-то и оно, — произнёс опасливый вершник, — ты то сказал, что я подумал.

Иван внимательно слушал, что говорили товарищи.

— А почему тут вы про лютого князя Агадара заговорили? — спросил он. — Ведь к нему в его усадьбу за подмогой едем и его же хулим. Какое он касательство к нашей боярышне иметь может? Ишь, что медведь в лесную чащу забрался. Так что же он нам?

Дмитрий раздумчиво покачал головой, Константин засмеялся.

— Ты — совсем простота, Ванятка, — сказал первый. — Какое касательство? Да нешто боярышня-то наша — коза, а не девка, прости Господи? Нешто она — не красота писаная? Ведь всякий, кто поглядит на неё, вовек её не

позабудет, а сам сердцем иссушится.

— Так это, — одобрительно крикнул Иван, — это ты, Митроха, правильно. Вот к нам на границе какие паны наезжали, от Вильны, а то и от Варшавы самой, так, как взглянут на Агафью Семёновну, так сразу же и начинают млеть. Ну да не о том сейчас речь. А ты скажи вот, причём этот лютый князь до нас?

— А притом, — поспешил ответить ему Дмитрий, — что, как сказывали нам на деревне, как раз у лесной притулицы есть у него жильё, — там у него персидская баба-красавица под присмотром такой же персидской ведьмы живёт; для забавы они, значит, кормятся...

— Слышь, — опять перебил товарища Константин, — из-за персидского моря он их сюда вывез. Там-то он её на аргамака, что ли, выменял, ну, и здесь забаву себе устроил...

— А в том же жильё у него татар и калмыков нагнано без числа, — перебил Дмитрий, — и все они на него, князя, как на своего бога молятся и во всём его без слова слушают...

— Именно, именно! — воскликнул Константин. — Скажет он им убить кого-либо — убьют! Скажет он им церковь Божию сжечь — сожгут, скажет, чтобы примеченную бабу или девку приволочь, — приволокут...

— Да и мало того, — заметил Дмитрий, — княжеские веления исполняя, и сами охулки на руку не кладут. Так вот я и думаю, что беда, ежели лютый князь Василий в том своём логове у персидской бабу прохлаждается, а тут наша раскрасавица-боярышня на глаза попалась...

— Не сдобровать ей! — согласился Константин. — Кажись, Федька-то пострел прямо-таки на княжеское логовище наших и вывел...

Иван ничего не ответил, и в его душу закралась внезапная мысль о грозившей их любимой боярышне опасности.

Воцарилось тяжёлое, грустное молчание; люди молчали, слова не шли им на язык. Лесная дубрава тоже молчала. Слышался только хруст проталого снега под копытами лошадей.

Так прошло несколько времени.

— Вернуться бы, — прервал тоскливое молчание Митроха, — у нас ножи и кистени, а у тебя, Ванятка, вон и пицаль за плечами болтается.

Иван досадливо махнул рукой и произнёс:

— Никто, как Бог! А наших там немало. Ежели что, так есть кому за боярышню постоять, да и Серёга там верховодит. Уж он-то боярышни не выдаст, горой за неё встанет. И оборонится есть чем: у кучеров и засапожники, и кистени...

— Ну, будь так! — согласился Константин, а Митроха, поглядев вверх на небо, добавил:

— А вот, ребята, туда ли мы идём-то?

Действительно только теперь они сообразили, что их путь длился непомерно долго. Согласно тому, что им говорили в деревне, где они ночевали, от проезжей дороги до лесной усадьбы князя Агадар-Ковранского верхом немного больше часу ходу было, а по расчёту Ивана они пробирались через лес куда больше двух часов. Да и сама дубрава стала заметно редеть.

— Ой, не туда, — воскликнул Константин и задержал лошадь, — заплутались мы...

— Чего заплутались, каркай, ворона! — крикнул на него Иван. — Видишь, из леса выбираемся, стало быть, какое-нибудь жильё да близко.

Он не ошибался. Когда они выбрались из леса и пробрались сквозь его опушку, пред их глазами раскинулась деревушка. Там были люди, а получить подмогу вершникам было всё равно от кого.

— Айда, родные, туда! — крикнул Иван, показывая на деревню рукой. — Поди там крещёные живут, не откажут подмогой в беде нашей.

Он и на этот раз не ошибся. Вершников с лаской приняли в первой же избе, на которую они поехали, и только покачивали головами, когда узнали, что поезд остановился близ заезжего дома князя Василия.

XVII
ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ



Осенок принадлежал к вотчинным владениям князя, и люди Василия там так же, как и в других окрестных селениях, изнемогали от его жестокости. А люди здесь жили особенные — лесовые; жизнь среди лесного зверья, в постоянной борьбе с ним и с природой наложила на них особый отпечаток; это были не жалкие равнинные рабы, а гордые душой граждане леса.

Когда приютившие вершников люди прослышали о дорожном приключении, они только головами закачали, и один из них вымолвил:

— Кто его знает! Может, боярышню-то и не посмеет тронуть, а всё-таки лучше бы ей подалее от него...

— Тогда надобно скорее вернуться! — проговорил с тоской Иван. — Кто знает, что там вышло...

Дмитрий и Константин нерешительно переглядывались между собой.

— Будто и ночь уже! — заметил первый.

— Ну, так что же? — сумрачно поглядел на него Иван. — Или ночь не поспать для боярышни трудно!.. Слышь, что говорят здесь?

Дмитрий заметно смутился.

— Ночь не поспать — что! Да ещё ежели для нашей боярышни, — ответил он, — а вот с пустыми руками вернуться нам негоже... Ведь кузнеца нам надобно, а поедет ли кто отсюда на ночь глядя? Пожалуй и человека не найдёшь...

— Не даром поедут, заплатим, что следует, да ещё прибавим, — возразил Иван. — Или здесь деньги так дешёвы, что лежанье на печи куда их дороже?

Его слова оказались правдою. В самом деле из-за денег нашёлся кузнец, да и ещё четверо посельчан, знавших лес, как свои пять пальцев, вызвались быть проводниками.

Последнее было очень приятно заблудив-

шимся вершникам: теперь они были уверены, что плутать им по лесу не придётся. Они тем временем и закусили, и выпили, и незаметно пришли в самое благодушное настроение.

— Ишь ты, словно на охоту собрались! — даже засмеялся Константин, когда увидел собравшихся провожать их парней.

И в самом деле те были с топорами у пояса; у каждого было по ножу, а у одного за плечами виднелась даже рогатина.

— Нельзя иначе, — отозвался на замечание вершника парень, — у нас тут всякого зверья видимо-невидимо...

— Волки, что ли? — спросил Дмитрий. — Кажись, волчий вой мы слышали, как сюда ехали; далеко в стороне, и, знать, стая большая была...

— Волки — что! Волки — мелочь. Медвежьих берлог тут много. Сколько мы их тут за зиму подняли, — видимо-невидимо!

— Видели и мы это добро! — отозвался Иван. — Где только этой твари не водится! У нас под рубежом их тоже не занимать стать...

— А у вас с чем на медведя идут? — полю-

бопытствовал другой парень из лесовиков.

— Разное! С рогатиной, а сперва из пиццали бьют...

— Что пиццаль! — махнул рукой третий парень. — В пиццали верности нет: либо промахнёшься, либо осечка... То ли дело рогатина! Принял на неё медведя, пусть себе барахтается, как напорется, только смотри, чтобы за голову тебя не сгребал...

Наезжие вершники быстро dokonчили предложенное им угощение, живо собрались сами и скоро, несмотря на ночь, все пустились в путь через лес.

Идти теперь было не страшно и не грустно: шли в восьмером. Лесовики, желая сократить дорогу, повели вершников по им одним известным звериным тропкам. Идти приходилось гуськом. По временам, словно тени, перебегали дорогу путникам всякие зверушки: то юркнет лиса, то прошмыгнёт серый ружак; на мелкое зверье никто не обращал внимания, и только лошади боязливо прыдали ушами да начинали храпеть, когда где-нибудь поблизости мелькала живая тень. Но вдруг всех заставил остановиться и замереть

на месте отчаянный, надрывистый крик человека, которому сейчас же словно эхо ответил грозный рёв; от него кровь заледенела в жилах даже привычных ко всяким звукам звероловов.

Первым пришёл в себя вершник Иван.

— Господи Иисусе Христе и Ченстоховская Божия Матерь! — выкрикнул он. — Да никак это медведь живого человека дерёт!

— Похоже! — сумрачно ответил ему лесовик.

Крик, перешедший уже в сплошной вопль, повторился, но снова его заглушило грозное рычание.

— Так чего же мы тут-то стоим? — опомнился вершник Иван. — Не дадим, братцы, христианской душе без покаяния погибнуть... Нас много, кто за мной?

Он сорвал с заплечья пицаль и отпугал от неё сошник.

Вопль и рычание зверя раздавались совсем близко; можно было идти на них, не опасаясь сбиться с направления. Все двинулись разом за Иваном.

В ОБЪЯТИЯХ ЛЮТОЙ СМЕРТИ



ричал князь Василий, сразу, как только он упал, почувствовавший нестерпимую боль в ноге и сообразивший всю грозившую ему опасность.

В самом деле ещё никогда его полная всевозможных приключений и неистовств жизнь не висела на волоске так, как висела она в эти мгновения.

Зверь был огромный и, видимо, страшно разозлённый неожиданной тревогой. Может быть, счастьем для Агадар-Ковранского было то, что, выпав из седла, он упал в снег.

Медведь не сразу заметил его. Внимание зверя в первые минуты было привлечено конём, отчаянно барахтавшимся и делавшим страшные усилия, чтобы выбраться и умчаться-

ся вихрем от лютого чудовища. Но медведь недолго занимался им. Инстинкт подсказал зверю, что поблизости есть враг, более опасный, чем это хрипевшее четвероногое, и лесной гигант стал оглядываться вокруг. Напряжённые до последней степени нервы князя Василия не выдержали и он, не помня себя, крикнул, призывая на помощь.

Крик показал страшному зверю, где находится его враг; он страшно зарычал и пошёл к своей жертве.

Отчаяние придало силы несчастному Агдар-Ковранскому. Он приподнялся, опираясь на левую руку и пересиливая нестерпимую боль, причём в правой руке зажал обнажённый нож. Но что значило это жалкое оружие? Разве только царапину мог он, истомлённый болью, нанести лесному чудовищу! Смерть взглянула прямо в глаза князю Василию, и перед ним вырисовалась вся обуявшая его безумная скверна, вспомнились уговоры Марьи Ильинишны, и ужас охватил его. Он невольно содрогнулся, когда перед ним промелькнули все неистовые ужасы, виновником которых он был на своём веку.

Смерть теперь не шутила с ним, она была неизбежна.

Страшный зверь, рыча и сопя, подвигался всё ближе, и в отчаянные мгновения нет такой крепко спящей совести, которая не проснулась бы и громко не заговорила бы в самом загрубелом сердце.

Князь Василий не сомневался, что настал его конец. Он не мог двинуться: страшная боль приковала его к земле, а потому князь лишь махал ножом.

Это раздражало разъярённого зверя. Однако медведь, казалось, был в недоумении и не знал, что значит то обстоятельство, что человек не встаёт пред ним. Вероятно, у него уже не раз бывали схватки с ожесточёнными двуногими врагами, и он знал, что те никогда не ждут его нападения, а всегда сами нападают первыми. Тут же было как раз наоборот: человек не наступал на него, а лежал беспомощно и только раздражал его, махая чем-то пред ним.

Зверь топтался на одном месте, не зная, что ему делать, и только ревел и колотил себя по груди, не осмеливаясь подступить к лежа-

цему. Быть может, это и спасло князя Василия от страшных когтей, но в те мгновения он ничего не соображал; всего его охватила безумная жажда жизни. Этот свирепый человек, делавший зло ради зла, жалобно молился и ждал чуда...

И чудо свершилось. Князю Василию вдруг показалось, что он слышит людские голоса, а потому, собрав все силы, закричал, призывая к себе на помощь.

Но он сейчас же забыл о голосах: зверь, очевидно, привыкнув к виду лежащего неподвижно на снегу человека, сообразил, что никакой опасности ему не грозит, что враг совершенно беспомощен, и сделал шаг вперёд.

Ещё шаг-другой — и лесное страшилище кинулось бы на свою жертву, а тогда князь Василий в одно мгновение расплатился бы за все свои злые дела, совершенные в течение его недолгой жизни. Но как раз в этот момент послышалось словно жужжанье небольшого шмеля, из-за кустов сверкнул огонёк, потом грянул выстрел, и как будто какая-то сила швырнула страшного зверя далеко в сторону, и он страшно заревел. Однако теперь в его рё-

ве слышалась уже не одна только ярость, а также нестерпимая физическая боль. Пуля достигла своей цели. Медведь завозил лапами по своей огромной морде, видимо стараясь стряхнуть, стереть слепившую его кровь из неожиданной раны.

Теперь он уже вовсе не понимал, что происходит, откуда получен этот неожиданный удар, кто и где были его новые враги.

А они уже стояли пред ним. Трое из них кинулись к лежавшему на земле без чувств князю Василию, а двое направились к зверю, и лесной гигант, протерев свои залитые кровью глаза и двинувшись вперёд, сразу же напоролся на острую рогатину.

— Принял, что ли? — воскликнул вершник Иван и размахнулся топором.

— Принял! — последовал короткий ответ лесовика. — Лобань космача, да смотри шкуры не попортить!

Топор опустился на башку медведя, но скользнул по ней и рассёк её наискось, не нанеся смертельной раны.

Зверь страшно заревел, замахал лапами, стараясь дотянуться до стоявшего пред ним

человека, а острая рогатина всё глубже и глубже впивалась в его тело.

Лесная тишь была нарушена. Раздавались человеческие голоса, рёв раненого зверя. Удары теперь сыпались на него безостановочно. Вот он сделал инстинктивное движение, как бы поняв, наконец, что ему не сдобровать в схватке с этими могучими врагами, но было уже поздно: остриё рогатины впилося в сердце и разорвало его. Медведь сильно качнулся на бок, взметнул лапами, страшно заревел, а потом грузно рухнул на снег, вырвав при падении рогатину из крепких рук охотника, и забился в предсмертной агонии.

— Инда упарился! — снял меховой колпак и отёр пот со лба лесовик. — Ишь как возиться пришлось!..

— Н-да, — согласился Иван, — этакая здоровая махина... Грузной какой! — и он ткнул затихавшего зверя ногой и даже плюнул на него.

XIX
ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ



— ойти взглянуть, — проговорил лесовик, — ко-
го из беды вызволить пришлось.

— А знаешь кого? — очутился около них
кузнец из посёлка. — Да самого нашего люто-
го князя Василия Лукича!

Лесовик заметно вздрогнул.

— Врёшь! — закричал он. — Быть того не
может!

— Поди сам погляди, ежели не веришь...

Смельчак-парень надвинул на голову кол-
пак и пошёл к кучке товарищей, которые
окружили потерявшего сознание Агадар-Ко-
вранского.

— Взаправду князь? — спросил он, подой-
дя.

— Он самый, — ответили лесовики.

— Кабы знать было то, — отозвался один из них, — так и пальцем не пошевелили бы, пусть бы его на здоровье медведь заломал...

— Вестимо так, — сказал другой лесовик, — медведь меньше зла творит, чем князь Василий; известно — Божья скотина...

— А как князь мучил нас для забавы! А вон теперь лежит и не дрыгается... Видно, зверь-то лесной — не наш брат, лютовать под ним не моги...

Князь Василий, беспомощный, жалкий, без сознания, лежал на снегу среди этих явно враждебно настроенных против него людей.

Пожалуй, и лучше было, что сознание покинуло его... Судьба, вырвав его из когтей одной опасности, кидала его в объятия другой, ещё более грозной...

— Расступись-ка, братцы! — раздался звучный голос того лесовика, который принял на рогатину медведя. — Дай мне взглянуть на князеньку!

Голос этого смелого человека звучал как-то совсем особенно. В нём ясно слышались и злоба, и тоска, и нестерпимая мука.

Люди расступились.

— Ой, князенька, — прерывисто захрипел лесовик, — вот как нам встретиться пришлось... Бог-то всё видит: бывает время, что и богатым поплатиться нужно... Так-то! Дай-кось топор-то! — обратился он к ближайшему из товарищей.

Тот в ужасе попятился.

— Ой, ой! Пришибёт он князя-то, — пронёсся кругом тихий шёпот.

Лесовик злобно засмеялся.

— Миловать не буду, — коротко произнёс он и добавил с невыразимой тоской в голосе: — Сестрёнку, им для забавы замученную, вспомнил... Давай топор!

Тут сказалось всё, что накипело на душе этих измученных людей. Отуманенный хлопотающею в нём злобою, человек видел перед собой тирана и не задумывался совершить кровавое преступление...

— Разойдись, братцы! — выкрикнул лесовик, которому кто-то из товарищей сунул в руку топор. — Я в грехе, я и в ответе, а вы ни в чём неповинны... У-ух! — размахнулся он топором.

Но опустить удар на голову бесчувственно-

го князя Василия ему не пришлось.

— Не трожь! Чего ты? Или Бога позабыл! — раздался около него окрик, и чья-то сильная рука ухватила, как клещами, его руку и отвела в сторону. Это был вершник воеводы Грушецкого, Иван. — Не трожь, не моги, — повторил он, — вспомни, на какое дело идёшь!

— Ты чего? Тебе-то что? Наши счёты...

— В них я не встречаю, — твёрдо ответил Иван, — а у нас на Руси лежачего не бьют... Видишь, князь-то словно мёртвый валяется, а ты его такого-то пришибить задумал... Небось, кабы он на ногах был, так не посмел бы... Брось, тебе говорю, топор, не то, смотри, худо будет! — И Иван изо всей силы сжал кисть руки лесовика.

— Ты — чужой, — пробормотал тот, — нечего тебе промеж нас встречаться... Небось, не тебя его княжеская лютость коснётся... А он, наш князь-то, говорят тебе, хуже зверя лесного...

— Пусть! — столь же твёрдо, как и прежде, возразил Иван. — Вот очнётся он, лютый твой князь, и делай с ним, что тебе душа велит, а до тех пор не трожь, не дам.

— И взаправду, Петюшка, — подошёл кузнец, — дурное ты замыслил... Сердце-то ты своё потешишь, а потом каяться придётся. И никакой поп тебе такого греха не отпустит. Потому, какой он враг сейчас? Малое дитя и то забрыкается, как топор над собою увидит, а он лежит и не дрыгается...

— Верно, верно он говорит! — раздались со всех сторон голоса. — Брось, Петюха, будет у тебя время с ворогом за всё поквитаться... Оставь! Не дадим мы тебе душу свою загубить...

— Так это! — опять заговорил кузнец. — Нет ни в одном нашем посёлке и во всей округе никого из подлых людей, кто не хотел бы вот, как ты теперь, ему, князю, топором голову раскроить... И стоит он того, окаянный, но убить-то его надо в честном бою, а не тогда, когда он даже не поймёт, кто его убил... Не примем на себя его крови, ребята! Пусть Петруха на сей раз уймётся...

— А-а, — не то застонал, не то заревел Пётр, — провались вы все и с князем окаянным вашим, — и он бросил топор. — Делайте как хотите, берегите его на свою голову!.. Ма-

ло им в округе девок да баб перепорчено, мало на роду медведями для потехи народа перетравлено?.. Так и ещё больше будет! Хотите того — пусть, а мне с вами не дорога... Нянчитесь с окаянным... Эй, вы, проезжие, айда за мной! — и, не обращая внимания ни на князя, ни на товарищей, Петруха пошёл прямо через кусты вперёд.

Смущённые вершники Грушецкого последовали за ним.

XX

УСПОКОИВШАЯСЯ БУРЯ



Ставшие после ухода Петра и вершников слесовики несколько времени стояли молча вокруг своего князя. Удручающе подействовала на них вся предыдущая сцена. В душе каждый сочувствовал Петру и каждый действительно был готов поступить, как намеревался

поступить он, но слова чужого человека пристыдили их: им и в самом деле показалось незамолимым грехом убить бесчувственного князя даже в отмщение за всё то зло, которое причинял он им.

— Ну и ввалились же мы! В недобрый час из избы вышли, — проговорил один из них, нарушая тягостное молчание.

— И в самом деле, — проворчал другой, — гораздо лучше было бы на печи сидеть.

— А уж если вышли да такое дело приключилось, — выступил третий, — так не сидеть же нам весь век тут...

— А что делать-то? Ну, скажи! — слышались вопросы.

— Как что? Посмотрим сперва, жив или помер князь-то? — и лесовик подошёл к князю Василию и потряс его за плечо.

Тот слабо застонал.

— Ишь, жив! — с заметным неудовольствием и даже, вернее, с досадой пробормотал один из лесовиков. — Пойдёт теперь перепалка...

— Да его, кажись, и зверь не ломал! — заметил товарищ.

— Значит, таково хорошо, что и лесному зверю противен, — философски промолвил первый, — и в аду не надобен.

— Полно вам, братцы, — отошёл от князя возившийся около него лесовик, — немощный он, а немощный хоть и враг, но милосердия достоин... Лучше обсудим, что нам делать... Трое нас, рук довольно...

— Что? Да сволочь его в лесное его логово, тут напрямки совсем близёхонько, особливо, ежели через чащу!

— Так-то так, а только троим нам не снести! — сказал молодой лесовик, косясь на тушу бездыханного медведя.

— Скажи лучше, шкуру бросить жалко! — заметил ему товарищ.

— И то верно, — согласился тот. — Батюшки, да чего мы думаем? Ведь конь есть, наезжие холопы его вытянули из берлоги, пока мы тут с князем возились...

Действительно, Митроха и Константин, заметив бившегося почти под землёй коня, воспользовались удобным моментом и освободили его.

— Где же он, конь-то? — вода всюду взгля-

дом, спрашивал лесовик постарше. — Что-то нет его...

Коня и в самом деле нигде не было видно.

— Сорвался да убёг, вот тебе и всё, — решили лесовики.

Князь между тем беспокоился и стонал. Он всё ещё не приходил в себя, его стоны были сильны и надрывисты. Видимо, даже будучи в бессознательном состоянии, он сильно страдал.

— Не снести нам его, — твердил лесовик помоложе, — рук мало, да и шкуру здесь оставить нельзя... Попробуй-ка уйти, сейчас лисы явятся, да и волки пожалуют, весь мех перепортят...

— Так оно выходит, — согласился лесовик постарше, которому медвежьей шкуры было гораздо больше жаль, чем своего князя. — Тогда вот что, предложил он: — Пусть кто-нибудь из нас на усадьбу сходит; и впрямь тут через чащу недалеко, пусть подмогу дадут... Чу, слышите!

Где-то в отдалении раздавались человеческие голоса. Издали доносились куканье, кликанье, громкие удары колотушкой по набат-

ному билу.

— Ишь, — даже испугались лесовики, — ищут самого!

Они не ошибались.

Сорвавшийся конь примчался прямо в лесное поместье князя Агадара и переполошил там всех. Через старика Дрота весть о примчавшемся коне была передана Марье Ильинишне, и та, поняв, что с племянником случилось что-то дурное, сменила свой гнев на милость и не на шутку забеспокоилась. Как-никак, а она любила князя Василия, как родное дитя, любила его со всеми недостатками, всю жизнь жалела его, а узы такой любви не рвутся в одно мгновение, что бы ни говорил внезапно вспыхнувший гнев.

Всполошилась старушка, куда только и сон девался, откуда и силы взялись. Она загоняла своего старого Дрота, отдавая распоряжение за распоряжением, и глаз больше не сомкнула до рассвета, пока, наконец, разосланные холопы не принесли из лесу стонавшего князя Василия.

По приказанию старушки он был уложен в постель. Страшно страдая, князь то бормотал,

то лепетал что-то совсем несуразное. Видимо, ему пришлось пережить сильнейшее потрясение, и он всецело находился под впечатлением его.

Старушка с тревогою смотрела на метавшегося в лихорадочном жару племянника, и слёзы проступали на её глаза.

В усадьбе Агадар-Ковранских был весьма искусный костоправ. Марья Ильинишна немедленно вытребовала его в хоромы, и он ловко вправил вывихнутую ногу князя. Тот, почувствовав облегчение, сейчас же крепко заснул, и только тогда уставшая донельзя старушка удалилась в свои покои.

На свете так уж устроено, что стоит сойтись троим-четверым людям — добрым, честным, дружным между собою — и непременно один среди них окажется сплетником. И не то, чтобы его сплетня была злостная, а просто хочется ему рассказать о том, чего другие не знают ещё. Вот и начинает такой человек хвастаться своим всезнайством, болтать, несколько не думая о последствиях своей болтовни.

Так было и тут.

Когда холопы подобрали князя, то двое лесовиков остались обдирать зверя, а третий, надеясь получить благодарность, увязался за людьми Агадар-Ковранского. Это был молодой и словоохотливый не в меру парень.

Он уже по дороге начал с подробностями, которые только в одном его воображении и существовали, рассказывать, как они, провожая наезжих вершников-холопов, натолкнулись на громадного медведя, готового задрать молодого князя. Когда же малый очутился на кухне и выпил хмельной браги, то его язык уже совсем развязался, благо вокруг него набралось много слушателей. Он рассказывал и как князеньку хотел зарубить сердитый на него за сестру Петруха, и как его руку задержал от рокового удара наезжий холоп воеводы Грушецкого. Не преминул он сообщить и то, что наезжие холопы сильно беспокоились, как бы князь Василий не испортил их боярышни, а потому так и спешили уйти с места ночного происшествия.

— И ладно, что они Петруху да кузнеца с собой увели, — высказывал свои предположения разболтавшийся лесовик. — Кузнец-то

ничего, а Пётр, кабы остался, так пришиб князьеньку бы!

— Выходит так, — вмешался Дрот, — что они, Грушецкого холопы, нашего князя спасли!

— Выходит, что так! — согласились с ним почти все слушатели.

Тотчас же все подробности этого рассказа через Дрота стали известны Марье Ильинишне. Старушка даже заплакала, слушая их.

— Господи милосердный, — шептала она, — сколь неисповедимы пути Твои! Воистину сказано, что ни единый волос не спадёт с головы без воли Твоей... Злое задумал Васенька на наезжую боярышню, а вот как вышло: её же люди от гибели неминучей его вызволили... Вот пусть светает только, соберусь да поеду сама, погляжу на красавицу...

НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО



Омительные мгновения пережили и старый Серёга, и юный Федька, пока за дверью слышались приближавшиеся шаги.

— Не сдавай, Серёга, — шепнул старому холопу крившийся к двери подросток, — всё равно где погибать, здесь ли, или в Чернавске у воеводы... Я живым не сдамся.

Старый Серёга ничего не ответил, а только ещё крепче сжал и выше поднял дубовую скамью. Зюлейка, вынырнувшая из-за полога, так и замерла в ожидании.

Весь этот шум разбудил, наконец, спавшую мамку.

— Что вы, что вы, оглашённые! — спросоннок заголосила не знавшая, в чём дело, старуха. — Разбойничать в чужом доме задумали?..

Вот я вас! Кшш... окаянные!

— Молчи, бабушка, — тихо, но внушительно проговорил Сергей, — спала ты, а мы в лютую беду попали...

— Что зря мелешь? — выкрикнула мамка. — В какую ещё там беду?..

— А в такую, боярышню ты проспала бы, кабы не мы...

Старуха привзвизгнула и, закрыв лицо руками, в немом ужасе присела на пол.

В это время дверь приотворилась, и Фёдор, согнувшись, как кошка, уже готов был прыгнуть вперёд. Однако, радостно вскрикнув, он выпрямился, и нож выпал у него из рук.

— Дядя Серёга! — во всё горло заорал он. — Брось скамью-то: наши там, Константин с Дмитрием и сам Ванятка... пропащие! Там ещё какие-то, а здешнего хозяина и не видеть, и не слышать...

Действительно, за дверьми были возвратившиеся вершники, но, отстраняя их, вперёд продвинулось двое совершенно незнакомых людей.

Один из них, оставшийся позади, был в чёрной монашеской сутане, выдававшей в

нём, как и едва заметная тонзура, католическое духовное лицо.

Другой, красивый молодой человек, скорее — юноша, с гордым и смелым лицом, в богатом польском одеянии, прямо прошёл в покой и зорко окинул взглядом всех находившихся там.

На его лице отразилось нескрываемое удивление, когда он увидел и нож, валявшийся у ног Фёдора, и Сергея, всё ещё державшего за край скамью, и сидевшую на полу старуху-мамку. Он сразу же понял, что эти двое людей, а с ними и красивая молодая женщина с кинжалом, только что были готовы на отчаянную борьбу для защиты кого-то им дорогого, и только его появление успокоило их отчаяние, укротило их решимость.

В это время Ганночка пришла в себя. Она услышала шум, голоса и, превозмогши слабость, поднялась с постели и вышла из-за полога. Молодой поляк сейчас же увидел её и сразу понял, что это-то и было то дорогое существо, ради которого эти люди готовы были пожертвовать своей жизнью. Одежда Ганночки подсказала ему, что это — не простолю-

динка, а вполне равная ему по своему общественному положению девушка. Сейчас же на губах юноши заиграла улыбка, и, приблизившись к Ганночке, он почтительно склонился пред нею, говоря совершенно чисто по-русски:

— Пан Мартын Разумянский, герба Подляшского, королевский поручик. Прошу прелестную панну не обидеть меня своей милостью и дать мне для привета свою ручку.

Ганночка вся вспыхнула, но, будучи привычной к польскому обращению, с лёгким поклоном протянула пану Разумянскому руку. Тот припал к ней с почтительным поцелуем.

В покой тем временем всё больше и больше набиралось людей. Однако ни холопов Грушецкого, ни приспешников Агадар-Ковранского не было видно. Новопришедшие и по типу, и по одеждам, и по вооружению все были поляки и литовцы. Тут были и старики, и молодые; они держались свободно, но с соблюдением собственного достоинства.

Вершники воеводы Грушецкого, выйдя из лесу на наезженную дорогу, прямо и натолкнулись на них, словно принесла их сама судь-

ба.

Пан Разумянский в сопровождении иезуита отца Симона Кунцевича и большой свиты из поляков и литовцев ехал по своим делам на Москву. У него — вернее, у его отца — были поместья и под Смоленском, и в Чернавском воеводстве, и молодой человек был послан родителями, чтобы разобраться в имущественных делах после недавней войны.

Дорога через лес не была прямым путём к Белокаменной, но почему-то Разумянский и его товарищи захотели сделать порядочный крюк и направились именно этой дальней, кружной дорогой.

И вот вдруг из-за кустов, прикрывавших пролесок, появилось трое конных и двое пеших, среди поезжан начался было переполох, так как встречных людей путники приняли за разбойников; много остро отточенных сабель вылетело из ножен, но, к счастью, недоумение скоро разъяснилось и всё обошлось благополучно.

Вершники простодушно рассказали обо всех своих приключениях, расписали, насколько им позволяло воображение, красоту

своей боярышни и высказали опасения за её участь.

— Хоть сам-то здешний князь, — сказал вершник Иван, — в беду попал и двинуться не может, а кто знает, какой им приказ своим холопам дан?

— Может, приказал он им схоронить куда-нибудь нашу боярышню, — заметил со своей стороны Дмитрий, — явимся и не найдём её.

— А что наши там есть, — вставил слово Константин, — так с ними управиться легко: заснут с устатку, что хочешь с ними, то и делай... Хоть перебей всех.

В свою очередь, лесовик Петруха не поскупился представить проезжим князя Василия в самом мрачном виде.

Разумянский рассеянно слушал Петра, но всё-таки время от времени кивал ему головой и говорил:

— Так, так!

Когда рассказ был кончен, Разумянский обратился к своим спутникам:

— Ну что, панове, как вы думаете, что нам делать, как нам быть? Я вижу, что пан Руссов

желает что-то сказать, — обратился он к высокому, худощавому молодому литовцу, уже несколько раз пытавшемуся вставить своё слово. — Прошу вас, пан Александр!

Литовец тотчас же обратился к товарищам:

— Прошу извинения, паны, и вашего также, пан Мартын, — поклонился он Разумянскому, — но мне известно, что был на рубеже старый московский дворянин Грушецкий и у него красавица-паненка дочь... Вся округа была от неё в восхищении. Лицом — ангел небесный, и разумом светла... Так и звали у нас красавицу-паненку: разумница! Не про неё ли теперь речь идёт? Если только это — она, панна Ганна Грушецкая, — пылко воскликнул Руссов, — то, клянусь всеми ранами святого Севастьяна, я готов ради неё в самое пекло к чёрту на рога пойти!

— Пан Александр влюблён, — улыбнулся Разумянский. — Он — наш друг и добрый товарищ, паны; мы с ним и плясали, и рубились вместе, так теперь разве не обязанность наша последовать его призыву и оградить от беды его даму, хотя бы для этого пришлось взяться

за сабли!

— За сабли, за сабли! Виват Разумянский, виват Руссов! — раздалось со всех сторон.

Крики долго не смолкали; в воздухе мелькали обнажённые сабли, кто-то выстрелил в воздух. Всё было ясно, всё было решено: если бы пришлось ради Ганночки брать штурмом логово лютого князя Василия, то разгорячившиеся паны и пред этим не остановились бы.

Они быстро достигли жилья на опушке. Этот шум и слышали Сергей и Федька, когда были в погребке у колдуньи Аси. Они приняли его за возвращение князя Агадара, но тем больше была их радость, когда пред ними оказались друзья, а не лютый враг.

Ганночка тоже поняла, что ей грозила опасность, и только появление этих избавителей предотвратило беду.

XXII КРОВОПРОЛИТИЕ



Дн Разумянский, после поцелуя руки, с восхищением смотрел на Ганночку. Этот восторженный взгляд смутил её и даже заставил потупитья.

Собственно говоря, Ганночка даже обрадовалась этой встрече. На неё чем-то привычным, даже родным пахнуло от этих напыщенных фраз молодого поляка, так она привыкла к ним, живя в прирубешном имении своего отца. Но в то же время её смутили неожиданность и полное недоумение, которое ощутила она, оглядевшись вокруг себя. Ей стало стыдно, что этот молодой красавец застал её около готовых к отчаянной драке холопов, и она подумала, что он непременно осудит её за это.

Краснея, она пролепетала несколько

невнятных слов благодарности.

— Мы прослышали, — слегка поглаживая шелковистые усы, проговорил уже по-польски Разумянский, — что ясновельможная панна попала в гнездо разбойников... Разве не святой долг рыцаря защищать тех, кто в беде? Притом же пан Руссов, — красивым жестом указал Разумянский на литовца, — сказал нам, что панна — дочь знаменитого воеводы Грушецкого...

— Не герба ли Липецка ваш батюшка? — заявил о своём существовании отец Кунцевич.

Очевидно, с каким-то затаённым смыслом он предложил Ганночке вопрос по-русски. Девушка несколько удивлённо взглянула на иезуита, который так и пожирал её взорами, и ответила по-польски:

— Мой предок был из Липецка, не знаю, почему он выселился на Москву...

— И принял там схизму? — ядовито заметил Кунцевич.

Ганночка ничего не ответила.

— Оставим эти разговоры, — заметил Разумянский, — Если кто и в пекле, так далёкий

предок панны, а она — лучшее украшение рая, клянусь в том булавой Стефана Батория.. Приказывайте нам всем, ясновельможная панна, — обратился он к Ганночке, — нет такого вашего слова, которое не было бы для нас законом. Не так ли, панове?

— Так, так, — загремели кругом голоса и громче других слышался голос литовца Руссова, — умрём за панночку, смерть её врагам!

— О, в этом отношении мы бесполезны, — с улыбкой проговорил пан Мартын, — за вас, панна Ганна, сама судьба. Она жестоко карает каждого, кто только осмелится помыслить дурное на панну...

— Что, что ещё случилось? — испуганно воскликнула молодая девушка.

— Ничего особенного! — пожал плечами Мартын, и в весьма цветистых выражениях рассказал о печальном приключении с Агдар-Ковранским.

Ганночка слушала рассказ, закрыв лицо руками. Ей стало жалко князя Василия, даже несмотря на то, что она видела его только мельком. Ведь он не сделал ей ничего дурного, а напротив того, под его кровом она нашла

себе уют ночью; о замыслах же князя Ганночка решительно ничего не знала и даже не подозревала, какой опасности она подверглась бы в эту ночь, если бы судьба не столкнула почти обезумевшего князя на медвежью берлогу.

О собственном приключении этой ночи Ганночка как-то не вспоминала. Гадание в погребке казалось сном, и ей уже не хотелось теперь наяву вспоминать об этом тяжёлом сне.

Между тем оправившаяся от потрясений мамушка пришла в себя, и к ней вернулись обычный апломб и бесцеремонность. Она сразу увидела беспорядок и, выступив вперёд, заголосила:

— И чтой-то, господа бояре, или дети боярские, как величать не знаю, будто и негоже здесь пред девицей кочевряться... Прикройся платочком, боярышня, и отвернись к стенке... Пусть вон та, лупоглазая, бельма тарашит... А вы бы, бояре, уходили отсюда! Говорю, негоже вам тут будет... Налетели словно летние мухи на мёд... Идите, идите себе! Идите, а не то я боярышню уведу! — и она энергично схватила Ганночку за руку и наки-

нула на её лицо платок.

Разумянский иронически улыбнулся, кое-кто из его товарищей весело расхохотался, кое-кто, напротив того, обиделся, и последних было даже больше, так что кругом ясно слышалось довольно громкое ворчание.

— Прошу успокоиться, паны, — крикнул пан Мартын и, обратившись к мамке, с иронической кротостью сказал:— Ты совершенно права, добрая женщина: мы, грешники, не должны бы быть в раю, но попали мы сюда по особым обстоятельствам и готовы уйти немедленно, как только нам прикажет милостивая панна.

Он ещё не кончил своих последних слов, когда откуда-то из отдалённых покоев раздался душу надрывающий вопль, затем другой; потом на мгновение всё стихло, но после этого раздался отчаянно громкий крик:

— Убил, окаянный, убил!

В доме начался переполох; со всех сторон только и слышалось:

— Держи убивца! Добьём его! Бей!

Все блестящее общество, собравшееся около Ганночки, недоумённо переглядывалось

между собою. Некоторые кинулись к окнам, но сквозь них не могли ничего рассмотреть.

— Пойдёмте, панове, узнаем, что там! — предложил Разумянский, которому всё это происшествие представлялось преудобным предлогом удалиться из комнаты Ганночки, где они пробыли гораздо дольше, чем позволяли на то приличия. — Припадаю к ногам, — низко поклонился пан Мартын Грушецкой, — пусть не гневается панна, если мы покинем её. Там что-то случилось, и необходимо наше присутствие... Но пусть панна будет уверена, что мы все — её верные слуги. Пусть лишь прикажет что-нибудь, и она увидит, что только смерть воспрепятствует исполнить нам её приказание.

Подобострастно вежливо поцеловал пан Мартын руку Ганночки и, низко кланяясь, пошёл к дверям; его товарищи начали выходить ещё раньше, и наконец покой опустел и женщины остались одни.

— Не иначе, как это — Петруха! — шептал Ивану Дмитрий. — Он всю дорогу бурлил и убить собирался.

— Больше некому, — согласился тот, — по-

бежим посмотрим, взяли его или нет?

Старый Серёга и мамушка отошли к окну, в которое уже пробился свет. Серёга стал рассказывать о полной событий ночи; к ним скоро присоединился Иван и передал подробности своей поездки за подмогой. Мамушка только ахнула; она понимала, что и в самом деле чуть было не проспала своей красавицы боярышни, хотя никак не могла сообразить, откуда у неё столь крепкий сон мог явиться.

А там, дальше этого покоя, около людской кипело оживление. На лавке один, на полу другой — валялись облитые своей собственной кровью Гассан и Мегмет, головы которых были страшно изрублены топором. Оба калмыка были мертвы. Да и никто не выжил бы после тех зверских ударов, которые были нанесены им.

— Спали они, — рассказывали холопы, — и с чего так крепко, ума приложить нельзя!

Сергей и Фёдор переглянулись, почему столь крепко заснули оба приспешника лютого князя: они выпили по ошибке ковши с сонным зельем, которое было приготовлено для наезжих холопов, и заснули мёртвым сном.

Зелье действовало так сильно, что Сергею стоило большого труда растолкать своих людей и горничных девок, не разбуженных даже царившим вокруг них шумом. Проснувшись, они не понимали решительно ничего из того, что происходило вокруг них, и с ужасом поглядывали на окровавленные трупы, прибрать которые пока никто и не думал.

Убийцею был, несомненно, лесовик Пётр. Первым увидел совершенное злодеяние кузнец, ладивший полозья к возку Грушецких. Петруха пробежал мимо него, размахивая окровавленным топором. Его вид был столь страшен, что перепуганный кузнец завопил о помощи.

СНОВА В ПУТИ



То кровавое происшествие ускорило отъезд Грушецкой из лесного жилья. Кузнец быстро исправил возок боярышни, и около полудня оба поезда уже снова пустились в дальнюю дорогу.

Разумянский и все его спутники держались по отношению к боярышне в высшей степени предупредительно; никто из них не лез на глаза к ней, и только пан Мартын несколько раз подходил к Ганночке, спрашивая, не надобны ли ей его услуги.

Иезуит Кунцевич во всё это время не промолвил ни одного слова. На него нашла глубокая задумчивость. Он был настолько погружен в свои думы, что даже не откликался, когда кто-нибудь пробовал назвать его. Глаза су-

хопарого иезуита так и взблескивали; по временам на его губах начинала играть полная скрытой загадки улыбка. Видимо, у него назревал какой-то грандиозный план.

— Святой отец что-то думает, — улыбаясь, сказал пан Мартын, подходя к нему, — и держу пари, что я знаю о чём?

— О чём же, сын мой? — спросил иезуит.

— Конечно же "о вящей славе Божией"!.. О чём же и может постоянно думать духовный потомок великого Игнатия Лойолы?

Отец Кунцевич улыбнулся и ответил:

— О да, сын мой, вы совершенно правы, именно об этом предмете я и думаю сейчас!

— И что же говорят вам, святой отец, ваши думы?

— Многое!..

Пан Мартын хорошо знал отца Кунцевича, который постоянно жил в его семье и был его духовным отцом. Этот слабый с виду человек был полон несокрушимой энергии. Он обладал таким упорством, каким могли похвастаться немногие из его собратьев по ордену. Он был пылким фанатиком и раз задавался какой-либо целью, то неудержимо стремился

к ней. На этом пути он не считался ни с преградами, ни с препятствиями. Тут для отца Кунцевича все средства были хороши и дозволены, лишь была бы достигнута цель.

Теперь, видя, что отец Кунцевич что-то серьёзно обдумывает, Разумянский даже слегка встревожился, встревожился не за себя, а за Ганночку, — он видел, какие взоры бросал на неё иезуит, — и, чтобы поразведать что-нибудь о замыслах последнего, заговорил с ним:

— А что, святой отец, уж не витает ли в ваших святых мечтах прелестная паненка, которую мы так неожиданно обрели в жилище этого московского дикаря?

— И опять пан Мартын прав, — спокойно заметил иезуит, — именно эта схизматичка и наполняет собою мои думы. Скажу больше — она в центре них...

— Ого! — воскликнул Разумянский, и в тоне его голоса послышалась ни с того, ни с сего ревнивая нотка. — Слышите, панове! Наш добрый пан Кунцевич влюбился "для вящей славы Божией"... Не влюбиться ли и нам теперь "для большего посрамления дьявола"?

Ха-ха-ха!

Отец Кунцевич спокойно смотрел на юношу.

— Пусть успокоится пан Мартын, — наконец сказал он, — мне нужна не женщина, а пружинка... да, да, пружинка, которую можно надавить и так, и эдак... Успокойтесь!.. Вы, кажется, должны знать, что верить мне можно...

Он отвернулся от Разумянского, и тот замолчал.

Этот разговор происходил уже на дороге. Жильё Агадар-Ковранского было оставлено наспех. Там даже не были убраны трупы Гасана и Мегмета. Их убийца ушёл в лес, а растерявшаяся дворня даже не подумала пуститься за ним в погоню.

Отдохнувшие лошади быстро мчали возки с поезжанами. Солнце ярко сияло в небесной синеве. Повевал лёгкий, с небольшим морозцем ветерок, бодривший тело, хорошо настроивший душу. О том, что осталось позади, никто не вспоминал. Ганночка словно позабыла о своём ночном гаданьи, что случилось с Асей, даже не приходило ей в голову. Теперь,

когда всё уже прошло, ночное приключение всё больше и больше казалось ей сном, а о том, что это был не сон, а явь, некому было напомнить ей. Зюлейка спряталась, когда она уезжала, и никто не видал её; Сергей и Федька, утомившись ночными приключениями, забились в возок для челяди и отсыпались, а мамка была так смущена своею оплошностью, что предпочитала молчать.

Однако для Ганночки эти события не прошли бесследно.

Сразу двое новых людей прибавилось в её жизни: князь Василий Агадар-Ковранский и пан Мартын Разумянский. О первом она вспоминала с некоторым содроганием, образ второго вызывал у неё довольно весёлую улыбку.

Пан Мартын нравился молодой девушке. Он был столь резким контрастом князю Василию, что не мог не произвести впечатления на Ганночку, которой была совершенно чужда непосредственность её земляков, чужда хотя бы потому, что в Ганночке оставалось ещё немало крови её предков, польских выходцев, а голос крови всегда говорит куда громче, чем голос даже многолетней привычки.

Выглядывая из своего возка, Ганночка ни разу не забыла бросить взор в ту сторону, где, по её соображениям, должен был находиться пан Мартын. И тот словно чувствовал, что молоденькая путница не на шутку заинтересовалась им. Он уже давно бросил возок, в котором помещался вместе с отцом Кунцевичем и, сев на своего коня, не сходил с него.

Его примеру последовали почти все его спутники. Пан Руссов, считавшийся любимцем Разумянского, не отставал от него. Они вместе гарцевали и то перекидывались словами, то обменивались улыбками между собою. Они видели, что Ганночка частенько взглядывает на них, это ещё более поджигало их.

— Сто тысяч дьяволов, — вполголоса произнёс пан Мартын, — мне это приключение начинает нравиться! А как вам, пан Руссов?

Литовец вдруг ни с того, ни с сего как-то особенно заулыбался.

— Чему улыбается пан? — вспыхнув, спросил Разумянский. — Или, быть может, он не согласен со мною?

— О, нет, — поспешил ответить Руссов, — наше дорожное приключение очень интерес-

но, а панна Грушецкая хороша... хороша... Пусть дьявол скажет, как она хороша, — неожиданно закончил он свою фразу, — я не могу, у меня слов не хватает...

Это признание вырвалось у него с таким полным комизма пылом, что Разумянский невольно рассмеялся.

Руссов, вопреки обычной сумрачности литовцев, был большим шутником и, главное, у него была комическая жилка, благодаря которой он был желанным гостем и дорогим другом во всякой компании молодёжи.

— Но, — проговорил он, заканчивая своё признание, — глаза мои слишком слепы, чтобы разглядеть все прелести такого солнца, и я предпочитаю лучше любоваться не столь яркими звёздами... Их по крайней мере всегда можно иметь у себя под боком...

Разумянский так и насторожился.

— Что хочет сказать пан? — воскликнул он. — Я не уясняю себе его слов...

— Только то, что около каждого солнца бывают звёзды! — ответил Руссов. — Солнце — для магнатов, звёзды — для бедных шляхтичей... Пан Кунцевич сказал об этом так: "Вся-

кому своё".

Шум, поднявшийся впереди поезда, заставил их прервать эту беседу. Случилось что-то такое, что заставило даже остановить лошадей, и возки, внезапно заторможенные, зарылись в снег.

Поезд уже давно миновал обширную равнину, стлавшуюся за лесным домиком Агадар-Ковранского, и снова проезжал сквозь лес, настолько большой, что на дороге сразу, как только въехал поезд, стало заметно темнее.

Заслышав шум, пан Мартын припустил вперёд коня, но осадил его у возка, в котором ехала Ганночка. Молодая девушка тоже услышала шум и суматоху и поспешила выглянуть в окошечко возка.

Как раз в это время около неё и очутился пан Мартын.

— О, панну все беспокоят! — воскликнул он, обнажая голову и кланяясь Грушецкой. — Клянусь, я сверну голову тому, кто устроил этот переполох...

Ганночка мило улыбнулась в ответ юноше.

Между тем впереди поезда столпились люди; все они громко кричали, махали руками и наконец всей толпою направились в ту сторону, где был пан Мартын.

XXIV

ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ



а зумянский, оставшись на коне, смотрел перед собой, наморщив брови и нахмутив лоб, чем старался придать себе величественно-грозное выражение. Но это не удавалось ему: серьёзность вовсе не шла к его молодому, красивому лицу; однако, пан Мартын считал себя обязанным быть серьёзным всегда, когда ему приходилось иметь дело с низшими.

— Что такое? — подоспел к нему пан Руссов. — Кого-то ведут сюда.

В самом деле, впереди кучки людей шёл

высокий, плечистый лесовик, видимо, оставшийся равнодушным ко всему, что происходило вокруг.

— Убивец — он, Петруха, — так и взвизгнул Сергей, увидав подходившего.

Да, это был лесовик Пётр, так смело кинувшийся на медведя и вызволивший из-под него князя Василия, потом чуть было не убивший его во время обморока и, наконец, зарубивший у него в доме Гассана и Мегмета. Теперь он совершенно спокойно предстал перед Разумянским.

— Ты кто такой? — спросил его пан Мартын. — Отвечай без утайки!

Пётр ухмыльнулся и переспросил:

— Кто я-то? А об этом ты, батюшка, спросил бы окрестных медведей. Лис да барсуков спрашивать нечего, внимания они не стоят, ну, а матерых волков, пожалуй, ещё поспросить можно... Вон поутру я двоих насмерть положил, Божий свет от их лютости избавил... Будут помнить на том свете, у нечистого в лапах, Петруху из Кобызевки прилесной!

Всё это он проговорил ровно, спокойно, без малейшего выражения страха или сожаления

В голосе.

— А-а! — закричал Разумянский, — Так это ты убил тех... там...

— Я.

— И не каешься? — вырвалось у Ганночки, слышавшей весь этот разговор.

Петруха искоса взглянул на неё, а затем произнёс:

— Чего там каяться? За такое-то дело мне на том свете больше, чем за паука, грехов простится!

Эти спокойные, хладнокровные ответы вывели из себя пана Мартына.

— Так вот, чтобы у тебя грехов поскорее убавилось, — закричал он, весь краснея, — я тебя сейчас повесить прикажу... Эй, хлопцы!

Петруха и ухом не повёл на эту угрозу.

— Что же, — проговорил он совершенно равнодушно, — повесь, коли тебе того так хочется... Твоя сила! Только попомни, что я — московского государя и царя подвластный, а не вашего круля... Меня царь-то государь в обиду не даст. Да и за что ты меня повесишь? Я тебя ничем не обидел, на тебя у меня никакого воровства не было! Вышел я к тебе сам,

не со злом каким-либо, а с поклоном...

Чем дальше он говорил, тем более туманилось красивое лицо пана Мартына. Он не мог не признать того, что этот смелый парень говорит справедливо, и против его слов ничего возразить нельзя. Но у сильного всегда бессильный виноват. Этот убийца-парень казался Разумянскому такой незначительной величиной, что и думать о нём было нечего. Уже в том он был повинен, что осмелился дерзко говорить с молодым магнатом, и за это его следовало наказать по заслугам.

Пан Мартын уже был готов подать своим людям знак отвести лесовика подальше в лес и там покончить с ним, как вдруг какая-то закутанная в платок женская фигура, протолкавшись сквозь толпу сбившихся вокруг пойманного людей, стремглав кинулась к нему, упала на колени и залепетала что-то непонятное, но, судя по звукам голоса, долженствовавшее выражать благодарность. Это внезапное появление женщины обескуражило всех; Разумянский молчал, ничего не понимая, Руссов был бледен и смущённо озирался по сторонам, очевидно, чувствуя себя в эти минуты

очень неловко. Только Ганночка не растерялась.

— Да это — Зюлейка! — крикнула она, узнав закутанную женщину.

Это была действительно молодая персиянка.

После того, что произошло в загородном доме Агадар-Коврайского, в котором она была игрушкой чувственных капризов князя Василия, её ненависть к последнему разгорелась настолько, что даже страх перестал сдерживать её. Она увидела новых людей, которые нисколько не боялись её господина. Быть может, если бы князь Василий был налицо, так она не решилась бы исполнить давно задуманную ею выходку: убежать из проклятой неволи, всё равно куда ни убежать, только бы не оставаться около ненавистного человека, только бы не знать его отвратительных ласк. А тут, как на грех, князя Василия не было, и пан Руссов обратил на неё своё благосклонное внимание. Они быстро столковались и, когда поезд Разумянского покидал лесное жильё, в возке весёлого литовца, забившись в сено, которым он был услан, покидала свою

роскошную тюрьму и прекрасная пленница-персиянка.

Зюлейка увидела Петра, когда его подвели к пану Мартыну. Шум, суматоха, крики, неожиданная остановка в пути пробудили и в ней любопытство. Петра она видела раньше, когда он после своего кровавого дела уходил от погони в лес, и теперь сейчас же узнала в нём убийцу Гассана и Мегмета. Сообразив, что грозит ему, она, вся отдавшись внезапному порыву, кинулась вперёд, желая, во что бы то ни стало спасти его.

— Награду ему дать, — выкрикивала она, — он землю от лютых тигров освободил... Не столько князь, сколько Гассан и Мегмет людей мучили. Столь многие плакали от них, нет, не плакали, а стонали! Они были изверги, палачи! Всё было от них... Прости его, награди! — кинулась она к Разумянскому и, схватив его стремя, умоляюще смотрела на него.

— Слышь, пан, — вдруг выступил, вершник Иван, — у него, у Петрухи этого, те вороги сестру замучили. Князь испортил её, а потом им отдал; они девку и замучили. Вот и не

стерпел парень страшного лиха: вышел случай, и расчёлся...

Пан Мартын внимательно слушал всё, что говорилось. Неожиданное появление Зюлейки сперва несказанно удивило его, но, взглянув на Руссова, он сразу всё понял.

— Не об этой ли звезде, — слегка кивнул он на Зюлейку, склоняясь к литовцу, — и говорил пан?

Руссов заёрзал на седле и в тон Разумянскому ответил:

— Я уже сказал вельможному пану, что "всякому своё"!

— Так, так! — улыбнулся Разумянский. — Ну, об этом мы потолкуем после и выпьем за успехи пана Александра Руссова в любви!

Потом, обращаясь к Петру, он постарался нахмурить погрознее брови и спросил:

— Так это?

— Всё — правда! Вешай меня, ежели хочешь!

В этот момент раздался нежный голос Ганночки:

— Пан Мартын, а пан Мартын!

— Что прикажет ясновельможная панна

своему рыцарю? — воскликнул поляк. — Прошу помнить, что каждое её слово — закон для всех нас. Приказывай, божественная!

— Нет, я только прошу пощадить жизнь этого человека. Для меня пощади его, пан Мартын!

Разумянский весь так и вскинулся, будто вдруг вырос.

— Ты слышишь, собачья кровь! — крикнул он, обращаясь к Петру. — За тебя просит панночка!

— Спасибо ей, — усмехнулся Пётр, — только мне того мало, что вы меня не повесите...

— Мало? Ах, негодяй! Чего ещё тебе?..

— Возьми меня, пан, к себе на службу... Ведь ты на Москву идёшь? Верно служить буду и не раз пригожусь! А ты меня не выдашь!

Лицо Разумянского прояснилось. Это обращение к его покровительству сильно польстило гордому поляку.

— Скройся с глаз моих! — крикнул он Петру в притворном гневe. — Иди назад в обоз, собачья кровь, москаль негодный, потом потолкуем, что с тобою делать... Да ясновельможную панну благодари! Уж повесил бы я

тебя, если бы не она.

Пётр усмехнулся, отвесил поклон Ганночке и побрёл вдоль вновь двинувшегося обоза.

XXV ПОСЛЕ БУРИ



Ока совершались эти события и обречённая жертва благополучно избежала грозившей ей опасности, в лесном поместье князя Агдар-Ковранского ещё продолжалась драма, в которой эпизод с медведем был далеко не началом конца.

После того как костоправ умело и ловко вправил вывихнутую кость, и князь Василий заснул мёртвым сном, добрая старушка Марья Ильинишна погрузилась в глубокие думы.

Нежданно налетела кипучая гроза и своим вихрем завертела всё, что попало под него.

Вспышка неповиновения со стороны всегда покорного племянника затронула Марью Ильинишну за живое, уколола самолюбие любящей женщины, но всё-таки подействовала лишь поверхностно. Вряд ли старушка привела бы в исполнение свою угрозу и ушла бы из насиженного гнезда. Этого она, быть может, и не сделала бы, потому что слишком любила князя Василия и понимала, что одного нельзя было оставлять его.

Но теперь, когда старый Дрот передал ей всё происшедшее в лесу, в особенности попытку Петра убить князя, старушка почувствовала, как она холодеет от ужаса. Ей сразу представилось, какая бездна ненависти окружает её несчастного любимца, что покушение освирепевшего лесовика — только начало новых бед и что князю Василию не сдобровать, если он останется ещё в своей лесной труппе.

"Нужно вывести его отсюда, — вздыхая, думала Марья Ильинишна, — но как? Не маленький ведь он; пожалуй, и не послушает. Потом нужно эту проклятую ссору прикончить... Эх, пылкая кровь татарская! Деды из

рода в род за всякий пустяк отмщали, так вот их-то крови в Васеньке и Москва не охладила. Горячая голова! Того, дурашка, рассудить не может, что если внуки за дедовские обиды будут кровью мстить, так и житья тогда никому на свете не будет... О, Господи, Господи!"

От племянника мысли Марьи Ильинишны как-то сами собою перешли к виновнице всего этого переполоха, боярышне Грушецкой.

"Нанесло, знать, судьбою Агашеньку-то! — думала она. — Выходит это так, а не по иному... Только это я сгоряча подумала ехать к ней, да, сгоряча! Молода она, чтобы я к ней первую явилась... Вот пошлю за ней, дорожным людям в пути день-другой не расчёт, пусть погостит, хоть посмотреть на неё, что она за краса такая. Старого-то Семёна Грушецкого я теперь вспоминаю; слюнтяй парень был, шебарша и пустельга... Ишь, воеводою в Чернавске уселся; кормится, поди, от подвластных в три горла. На границе жил, от дедовских порядков, поди, отвык. Да и то сказать: все Грушецкие на польскую руку тянули, совсем не так жили, как наши исконные живут: телятину жрали и не каждую субботу

в баню ходили, и то без жён, вопреки святоотеческому свычаю православному! Поди, и дочка у него такая же вышла".

Пораздумав на эту тему ещё немного, старушка решила не откладывать дела в долгий ящик. Но послать холопов за Ганночкой ей не пришлось. Из прилесного жилья прискакали холопы с недобрыми вестями о гибели Гассана и Мегмета и рассказали о том, что Ганночка уже успела уехать, сопровождаемая наезжим польским поездом.

Марья Ильинишна терпеть не могла обоих калмыков. Ей была известна их лютость, но всё-таки известие об их гибели неприятно поразило её.

— Уж не последние ли времена настали? — гневалась она. — Всякий сброд лесной против господ пошёл!

О том, что сбежала Зюлейка, она и думать не стала: персиянка в её глазах была хуже паршивой собаки.

Сообщить о всём происшедшем племяннику взялась Марья Ильинишна. Да и кто бы из дворни или челяди осмелился на это? Ведь каждому была дорога своя голова, а князь Ва-

силией в гневе не разбирал ни правых, ни виновных.

Отдаляя по возможности минуту неприятного объяснения, старушка решила не будить племянника и начать с ним разговор только тогда, когда он проснётся сам.

Князь Василий проспал далеко за полдень. Он пробудился весь разбитый: страшно болела голова, ныли все кости и суставы, побаливал и вывих.

От того, что было в прошлую ночь, остались только смутные воспоминания. Князь помнил, как вылетел из седла, как на него надвинулось лесное чудовище, а потом нить воспоминаний обрывалась; словно завеса какая-то окутывала его мозг, и он сквозь дымку тумана припоминал, что очнулся от боли, которую ему причинил костоправ. Ещё несколько туманных отрывков носилось в его мозгу, а дальше опять всё было окутано непроницаемой пеленой.

Радость так и охватила князя Василия, когда он увидел доброе лицо Марьи Ильинишны; она в ожидании его пробуждения уселась в высокое кресло около постели и не спускала

взора со своего любимца.

— Государыня-тётушка! — чуть не в полный голос закричал князь Василий. — Простила ли ты меня за дерзость мою вчерашнюю?

— А каешься ли? — спросила старушка.

— Как не каяться! Попущение Божие за грех мне было. Ведь уж и не знаю, как от медведя ушёл-то, кто от него меня вызволил... Каюсь, государыня-тётушка, каюсь...

— И не будешь больше? Не посмеешь наперёд дерзить?

— Да разрази меня Бог, ежели я помыслю впредь о том. И тут не иначе, как дьявол от меня моего ангела-хранителя прогнал...

Очевидно, пережитый смертный страх умиротворяюще подействовал на эту неукротимую душу.

Марья Ильинишна, со свойственной старым людям наблюдательностью, сейчас же подметила это и решила, что не может быть времени удобнее для того разговора, который она затеяла.

— Так-то вот всё и выходит, племянничек, — торжественно заговорила она, — ты,

вот, злое умыслил на боярышню Грушецкую — припомни-ка, какое ты дело хотел совершить, — а Бог-то многомилостивый не допустил до того, да и вразумление тебе великое послал... Знаешь ли ты, о чём говорю я?..

— Нет, государыня-тётушка, не ведаю я, — смиренно ответил князь Василий. — Не ведаю, — повторил он, — будто и памяти нет, будто всю её отшибло, как под медведем я лежал...

— Ага! То-то и дело! — воскликнула старушка. — А знаешь ли ты, Васенька, что тебя боярышня Грушецкая спасла от смерти неминуемой, да не единожды, а два раза в эту ночь?..

— Как! — вскрикнул князь Василий. — Да может ли то быть?

— Два раза она тебя от смерти отвела, через людей своих, а ежели ты жив теперь, так её одну за то благодари! — и старушка подробно рассказала племяннику все события полной тревоги ночи. — Или не видишь ты во всём этом указующего перста Господня, — торжественно закончила она. — Ты старую дедовскую обиду на неповинной внучке хо-

тел выместить, ан нет — она тебе услугу такую оказала, что ты в одну ночь дважды на свет родился.

— Государыня-тётушка, — хватаясь за голову, воскликнул Василий Лукич, — да что же это такое? Сон я, что ли, наяву вижу? Тётушка, родная, одна ты у меня, тебе признаюсь: полюбил я боярышню. Никогда ещё не любил никого так, сразу она меня всего в полон взяла... И неистовствовал-то я оттого, что хотел я любовь свою задавить, опозорить боярышню хотел, чтобы потом и думать забыть о ней. Да тут вон Бог вступился, на зло не попустил и ей же меня обязал неоплатным долгом... А тут промеж нас стародедовская обида легла, и, как теперь мне быть, не знаю... Не могу я любить её, пока обида не будет покрыта.

— А ты обиду-то возьми да покрой, — произнесла Марья Ильинишна, — вот тебе и весь сказ.

— Как? Научи, родимая!

— Возьми да и женись на свет-Агашеньке...

— Что? Жениться! Да разве она пойдёт за меня такого?

— Отчего не пойти?.. Девичьему замужеству отец — хозяин, а ты так сделай, чтобы тебе от отца отказа не было. Он-то, поди, никакой обиды не помнит, а устроить это легко! — и старушка принялась излагать разом зародившиеся в ней планы племяннику.

XXVI

НАРУШЕННОЕ ВЕСЕЛЬЕ



а н Мартын Разумянский остался рыцарем Ганночки вплоть до того перекрёстка, где дорога, по которой ему предстояло ехать дальше, ответвлялась на Чернавск. Тут оба поезда должны были разъехаться.

У перекрёстка стояло большое торговое село, весьма оживлённое, так как проезжающих было много, и все они считали своим долгом останавливаться здесь, одни — чтобы накормить, а другие — сменить лошадей.

Здесь было много заезжих изб, и каждая из них почти всегда была полна народом.

Ганночка чувствовала себя настолько утомлённой всеми пережитыми волнениями, что упростила мамушку побыть на селе подольше. Сказывалась тут и бессонная ночь; не прошёл бесследно и тот час, который она провела в подвале, полном всякого чада и смрада, которым сопровождалось колдовство старой Аси.

Но, конечно, среди всего этого самым главным было желание несколько дольше побыть в обществе молодого, изящного поляка и всей его весёлой компании, такой непринуждённой, а вместе с тем и такой деликатной, что Ганночка с ужасом вспоминала о тех чернавских увальнях, среди которых ей нужно было, может быть, прожить всю остальную жизнь.

Русские и поляки остановились в разных заезжих избах. Однако самым паном Мартыном избы были выбраны такие, которые приходились одна против другой. Промеж них раскинулась обширная площадь, гудевшая разряженным народом, так как денёк выдался чудный, солнечный, с лёгким морозцем и

притом праздничный.

— Фу, устал я! — воскликнул пан Мартын, очутившись в тепло натопленной избе и освободившись от лишнего верхнего платья. — Клянусь рогами ста тысяч дьяволов, что я с удовольствием выпью один целый кубок вина...

— Это хорошо, — воскликнул пан Руссов, — пан Мартын выпьет один, я выпью второй!

— А я — третий, я — четвёртый, я — весь пятый! — раздавались вокруг весёлые голоса спутников Разумянского.

Молодость — всегда молодость! Ничто не действует на неё: ни беда, ни усталость. Всё, решительно всё, даёт повод к веселью, к смеху... Счастливая пора!

Разумянский хлопаньем в ладоши призвал слуг и приказал им поскорее накрывать на стол. В те времена все запасы путешественники возили с собою, так что всегда могли получить в изобилии свои любимые блюда в привычной сервировке. В один миг на столе избы, занятой поляками, выросли горы всякой всячины: холодные окорока, всякие соленья,

печенья и среди всего этого стояли объёмистые жбаны с разными винами и старым мёдом.

— Не будем, панове, забывать, что мы — странствующие рыцари, — провозгласил Разумянский, — а рыцари никогда не забывают дам... Будем просить панну Грушецкую...

— Нет, не будем, — возразил литовец Руссов, — моё слово против пана Мартына. Ведь прелестная панна Грушецкая — московка. У них нет наших свободных обычаев, и не дай Бог, если мы хотя и без умысла, но всё-таки обидим даму. Притом же и у них с собой, я знаю, множество всяческих запасов.

— Клянусь набольшим пекла, — вскрикнул пан Мартын, — что литовец прав! Хотя красавица-панна и любит наши обычаи, но та московская свора, которая около неё, так и косится на нас... Действительно, лучше не будем раздражать их, а то одна эта старуха-мамка способна испортить существование спасённой нами красавицы-панны!

— Так, так, — раздались голоса.

— Но без дам скучно, — лукаво прищурился Разу минский, — не так ли, панове? Так не

просить ли нам пана Александра, чтобы яркий луч солнечный украсил нашу ночь. Это в его власти! Неужели он будет столь ревнивым эгоистом, что откажет нам в этом добром деле?

По лицу литовца Руссова скользнуло кисловатое выражение. Он понял, что от него требуют привести сюда, к пирующим, Зюлейку. Хотя он был безусловно уверен в полной корректности своих товарищей, но всё-таки предложение Разумянского было ему не по сердцу. Увезя Зюлейку, он вообразил, что к нему перешли все права на неё, а тут на неё предъявляли права и другие. Однако ему не хотелось, да и невыгодно было ссориться с Разумянским, а потому он воскликнул:

— Я знаю, про что вы говорите, шалуны, и хочу доказать вам, что я отнюдь не ревнив! Но я — всё-таки эгоист: я не хочу, чтобы вы умерли с голоду, а это неизбежно, если будет исполнено предложение пана Мартына. Все эти прелести, — он указал на стол, — будут позабыты, когда пред вами замелькает мой луч. Итак, ешьте, пейте, а сладкое, как и всегда, будет последним!

Взрыв хохота и рукоплесканий встретил окончание этой коротенькой речи литовца.

Разыгравшийся аппетит давал себя знать. Не умолкая бренчали ножи, кубки быстро опоражнивались и наполнялись снова. Весёлая беседа так и кипела, так и искрилась островами, шутками-прибаутками. Головы уже начали заметно кружиться, глаза разгорелись, лица разрумянились.

— А что, — вдруг произнёс пан Мартын, в голове которого порядочно-таки шумело, — не вспомнит ли пан Александр о своём обещании?

Руссов, тоже порядочно охмелевший, вскочил со своего места и возбуждённо воскликнул:

— Идёт! Спасибо, пан Мартын, что напомнил. Пусть эта звезда Востока споёт нам свои песни и потанцует нам. Сейчас пойду и приглашу её! — И, полный возбуждения, он кинулся из избы.

Зюлейка была устроена им у хозяев на их половине. Однако Руссов не нашёл её там, и ему сказали, что персиянка вышла к проезжей московской боярышне.

Литовец Руссов далеко не мог похвастаться деликатностью прирождённого аристократа-поляка, да и в голове у него сильно шумело. Стремительно кинулся он через полуосвещённые сени на крыльцо. На пути ему попался какой-то человек. При слабом свете Руссов видел только, что этот встретившийся ему человек одет богато, что у его пояса сабля в богатых ножнах, а красивое лицо бледно, как у только что вставшего с постели больного.

Впрочем, всё это Руссов заметил только мимолётно. Он сильно толкнул встречного и кинулся вперёд, даже не обратив на него внимания. Незнакомец что-то крикнул вслед, но не погнался за литовцем, а пошёл к дверям той горницы, где пировал Разумянский со своими спутниками, и на мгновение остановился у её порога.

Этот незнакомец был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Крепкий, долгий сон после событий бурной для него ночи, возвратил ему силы. Вывих был мастерски вправлен и почти не давал знать о себе.

Пока Марья Ильинишна говорила о его

личных делах, князь Василий всё более и более успокаивался. Должно быть, вправду взяла в плен его неукротимое сердце боярышня Грушецкая! Ему был приятен план, предложенный Марьей Ильинишной, взять за себя Ганночку.

В этом случае разом гасло пламя давней дедовской ссоры. В согласии Семёна Грушецкого не могло быть и сомнения: куда выше Грушецких стояли князья Агадар-Ковранские и куда более богаты были они, так что породниться с ними было бы честью для простого служилого дворянина.

Но, как только князь Василий услышал о последующих событиях, от него разом отлетел тихий ангел, и вновь яростный гнев стал жечь его буйную душу. Поезд поляков, убийство слуг, увоз Зюлейки — всё это князь Василий принял как жесточайшую кровную обиду.

Но более всего и мучило, и терзало, и палило его то, что наезжие поляки увезли с собой Ганночку Грушецкую. Пожалуй, не будь этого последнего обстоятельства, не так быстро исполнил бы он своё решение, а тут откуда и си-

лы взялись, и боль была забыта. Не подействовали никакие уговоры Марьи Ильинишны. Пылая ярым гневом, князь Василий сорвался со своего ложа. В обширных палатах раздался его грозный клич, созывавший холопов, и немного спустя князь уже мчался к своему прилесному жилью.

Там он нашёл полный разгром. Не сдерживаемые никем холопы перепились и, уверенные, что грозный князь не появится, принялись за форменный грабёж. Однако князь Василий даже не стал разбирать дело. В сопровождении десятка вершников он умчался в погоню за наезжими поляками, которых только одних винил во всём происшедшем, и теперь, догнав своих врагов, готов был на всё, лишь бы утолить свой гнев.

XXVII
ССОРА



З-за прикрытой двери до князя Василия ясно доносились весёлые клики, звон круговых чаш, смех и хлопанье в ладоши.

"Проклятые! — злобно подумал князь. — Пируют, веселятся! Может быть, и Зюлейка с ними?.."

О Ганночке князь и не подумал. Он, промчавшись через село вихрем, не приметил никаких следов обоза чернавского воеводы. Спросил он только о поляках и, узнав, в какой они избе, прямо кинулся туда. Он был уверен, что обоз Грушецкого не остановился в этом селе, а проехал далее.

Воспоминание о Зюлейке словно огнём обожгло его. Не помня себя от ярости, князь Василий так рванул дверь, что по сеням и гор-

нице только грохот пошёл, а затем, сделав шаг вперёд, остановился у порога и окинул всю компанию мрачным, полным яростной злобы, взглядом.

— Здравствуйте, панове, здравствуйте! — хриплым, вздрагивающим голосом проговорил он. — Видно, не ждали, что я так скоро пожалую?..

Никто из поляков не ожидал появления чужого человека, да притом столь грубо-враждебного. Они, конечно, не могли знать, что это — князь Агадар-Ковранский, так как никогда не видали его в лицо. В первые мгновения они предположили, что к ним ворвался какой-нибудь до бесчувствия перепившийся сельчанин, и повскакали со своих мест, готовые кулаками выбросить его вон.

— Кто ты такой? — весь кипя гневом, кричал пан Мартын. — Отвечай, собачья кровь! Иначе... — и он порывисто сорвался с места и в один прыжок очутился около князя Агадара.

Тот грубо крикнул:

— Потише ты! Чего хайло своё польское распустил?.. Не запугаешь горлом. А кто я, так отвечу: я — князь Агадар-Ковранский. У меня

в дому грабители побывали, так вот я за ними гонюсь. А вы, говорят, те самые грабители и есть. Так или нет?

Разумянский покраснел от гнева и, не отступая назад, с ярко блистающим взором произнёс:

— Очень рад, что предо мною — не холоп и не смерд, а благородный русский князь; по крайней мере я сам, а не моя дворня, научу русского князя плетью, что нельзя врываться так, как он ворвался к незнакомым людям, нарушать их мирную беседу, наносить им оскорбления. Я уверен, что после моей порки русский благородный князь навсегда будет помнить, что так поступать нельзя, и все те, кому придётся путешествовать после меня, уже не подвергнутся его дикой ярости.

Всю эту напыщенную речь Разумянский произнёс отчётливо, налегая особенно на те её места, которые казались ему наиболее оскорбительными.

Князь Василий слушал поляка молча и терпеливо. Ему как будто доставляли удовольствие эти оскорбления. Но было заметно, что в его душе в эти мгновения клокотал це-

лый ад.

— Хорошо ты говоришь, пан!.. Не знаю, как тебя и называть по имени, но по делам-то я назвал бы тебя разбойным татем...

— Молчать! — перебивая его, закричал пан Мартын. — Или, клянусь всеми дьяволами преисподней, ты немедленно очутишься у них в пекле...

— Молчать, молчать! — хором грянули находившиеся в горнице спутники Разумянского. — Что это в самом деле? Или наши сабли к ножнам приросли, что этот грубиян ещё жив до сих пор? В сабли его, панове, в сабли! За Польшу и короля!

Агадар-Ковранский, слыша эти крики, презрительно рассмеялся.

— Не любите вы, панове, правды! — прогремел он, напрягши голос. — Не любите! Правда-то, видно, глаза колет, а у нас-то, на Руси, правды-то немало — не всю ещё в лихолетье польская свинья съела. Ну, чего взбеленились? Или обрадовались, что я один, а вас много? Только, если бы вас ещё столько было, так и то я вас не испугался. Ну, чего саблями махаете? Подходи, что ли, кому жизнь надое-

ла. Э-эх, вот так-то и всегда вы храбры, когда
впятером на одного выходите...

Эти гордые слова задели за живое Разумян-
ского.

— Прошу панов, — крикнул он, — вложить
сабли в ножны и отойти. Этот человек при-
надлежит мне; прошу помнить, что я взялся
выучить его, и потому прошу не мешать мне.
Итак, скажи, князь, чего ты хочешь от нас?

— Перепороть вас всех у меня на конюшне,
а потом вздёрнуть каждого отдельно на пер-
вых попавшихся суках.

Крики негодования были ответом на эту
оскорбительную выходку. Но Разумянский
всё ещё продолжал сдерживаться.

— Пан князь очень груб, — вздрагиваю-
щим голосом сказал он, — он позабыл, что
мы — гости в его стране.

— Хороши гости! — захохотал Агадар-Ко-
вранский. — Ехали путём-дорогой, видят дом
без хозяина, и ну чужое добро растаскивать...

— Пан! — закричал не своим голосом Разу-
мянский, и, обнажая саблю, ринулся было
вперёд...

Как раз в это время дверь в горницу отво-

рилась и через порог ввалился раскрасневшийся Руссов, ведший за руку Зюлейку.

— Вот и мы, панове, — закричал он, — сейчас красивейшая звезда Востока споёт нам... Но что здесь такое? — в изумлении остановился он, услышав, как дико вскрикнула персидская красавица при виде князя Василия.

— Что же, неправду я сказал! — захохотал последний, указывая на Зюлейку. — Разве не моё добро? Разве не ограбили вы меня?

Он кинул Зюлейке несколько слов по-персидски и та, вдруг бросившись на пол, поползла к его ногам и припала к ним, князь Василий поставил ногу на её плечо и окинул всех гордым взглядом.

— Это невозможно! — закричали вокруг. — Вон его, в сабли, убить его!

— А ну-ка, попробуй! — вызывающе произнёс Агадар. — Эх, вы! На один крик мастера!

— Пан князь, — заговорил Разумянский, — нанёс мне столько обид, что они могут быть смыты только кровью. Клянусь, что эта женщина сама ушла за нами, и мы узнали об этом только уже на пути. Мы не могли отослать её обратно, потому что считали её сво-

бодной; да и было бы грешно пустить её одну по снегу через лес. Но пан русский князь, как я вижу, не верит мне. Пусть же сабли наши решат, кто из нас прав. Вызываю русского князя на поединок!

С этими словами он красивым жестом швырнул Агадару прямо в лицо свою перчатку. Князь Василий поймал её на остриё сабли и бросил обратно пану Мартыну.

— Пошла прочь! — закричал он на Зюлейку и толкнул её в лицо носком сапога. — Будь ты проклята, негодная тварь!.. Сгинь с глаз моих, пока я тебя не прикончил!

Зюлейка с визгом вскочила с пола и кинулась из избы. Через минуту она в истерическом припадке билась у ног перепуганной Ганночки.

До последней уже дошла весть о появлении в селе Агадар-Ковранского. Кипучую ссору, происходившую в заезжей избе, успели заметить и на сельской площади. Холопы князя Василия, спешившиеся с коней и смешавшиеся с толпой, уже успели многим рассказать, в чём дело.

Хотя и сюда дошли слухи и легенды о же-

стокости и лютости князя, но на этот раз симпатии большинства были на его стороне. Проснулась ли в этом случае неприязнь к полякам, ещё жившая в русских сердцах после ужасов лихолетья, или чувства собственников, почувывших нарушение своих прав, или, может быть, просто всех этих праздных и далеко не трезвых людей охватила жажда скандала, но только толпа оказалась враждебно настроенною против польских гостей, и между людьми Разумянского и Агадар-Ковранского уже началась драка.

Появление растрёпанной Зюлейки, лицо которой было окровавлено, было встречено грозным рёвом толпы. Ганночка слышала это, и её сердце билось с каждым мгновением всё сильнее и сильнее, старуха же мамка совсем потеряла голову.

— Ой, лишенько, ой, пропала моя голова, — металась она по горнице, — Серёга, Федюнька, Митятка, Ванятка, Кенсенсин, закладайте, идолы, лошадей!.. Ехать нужно... Гнать, что есть духа, нужно, уйти от беды неминуемой, боярышню увезти... Ох, чует моё сердце, не быть добру! Вон как лупоглазая персид-

ская баба воет, словно пёс к покойнику! Ой, да шевелитесь вы, негодники, закладывайте лошадей-то, ни мало не медля!.. Ужо пожалуюсь на вас государю воеводе-батюшке, так влетит вам; будете знать, как о своей боярышне заботы не иметь! Вот я вас, статуи окаянные!

Однако на старушку никто и внимания не обращал: не до того было. Ганночка суетилась около бившейся в истерическом припадке Зюлейки; холопы убежали на улицу в ожидании, чем всё это кончится.

Скоро гудение толпы и крики дали понять Ганночке, что на площади происходит нечто необыкновенное.

XXVIII ПОЕДИНОК



На площади происходило действительно почти необычайное для русского села.

Из заезжей избы, занятой поляками, как угорелый, выскочил Руссов и во всё горло заорал, призывая к себе людей пана Мартына. Он звал по-польски и говорил так быстро, что русские ни слова не поняли и были весьма удивлены, когда основательно вооружённые поляки и литовцы, стремглав кинувшись вперёд, оттеснили толпу, и, очистив от неё довольно большое место, окружили его живым кольцом.

Видя это, толпа замерла; она понимала, что готовилось интересное зрелище.

На крыльцо высыпали сильно возбуждённые спутники Разумянского. За ними появил-

ся и он сам, очень взволнованный, бледный, с горящими ненавистью глазами.

Следом за ним выступил князь Агадар-Ковранский. Он шёл с высоко поднятой головой. Его лицо тоже было мертвенно-бледно — без кровинки, но особенного волнения на нём не было заметно. Напротив того, князь Василий улыбался, и в то время как Разумянский заметно вздрагивал, был покоен.

— Вот молодец! — раздались при виде его в толпе восклицания: — Ишь, ястребом так и смотрит!

— Наш, — громко говорили в другой кучке сельчане, — а наши разве когда сдают?.. Крыжа так вон дрожит, а наш себе спокойненько шествует.

В толпе успели заметить, что князь Василий слегка прихрамывает, и те, кто знал его приключение в лесу, даже пожалели его.

Князь Василий действительно ощущал сильную боль в вывихнутой ноге, но его тело было настолько могуче, что он не поддавался болевому ощущению и даже виду не показывал, что сильно страдает.

Выйдя на крыльцо, он приостановился и

огляделся своим ястребиным взором вокруг. Вдруг его мрачное лицо просветлело, а на губах замелькала хорошая, светлая улыбка. Он увидел на крыльце противоположной избы Ганночку, и какой-то никогда не испытываемый ранее восторг овладел его вечно печальной и мрачной душой. Словно луч небесного света проник в её тайники и всё озарил там, разгоняя царившую в них кромешную тьму. Теперь князь Василий был готов умереть, и смерть на глазах этой, накануне ещё чужой ему девушки, против которой он замыслил страшное, грязное дело, казалась ему величайшим счастьем. Да, теперь, видя Ганночку Грушецкую, князь готов был на бой, на всякий бой!

Между тем, весь трепеща от волнения и гнева, Разумянский воскликнул:

— Панове, вы все были свидетелями того, какие обиды нанёс мне... нам всем князь Агадар... Только кровью смываются эти обиды... Так будьте же свидетелями, что я вызвал обидчика на единоборство, на бой, на жестокий бой...

— Если ты будешь побеждён, — кинулся к

Разумянскому Руссов, — наши сабли сумеют отомстить за тебя!

Пан Мартын сверкнул на него своими злыми глазами и крикнул:

— Не смей! Будь проклят тот, кто будет мстить за меня.

— Но отчего же? — не унимался литовец.

— Оттого, — скороговоркой ответил ему Разумянский, — что я призвал этого русского на суд Божий. Если он одолеет меня, стало быть, я был не прав, и моё поражение будет мне небесным наказанием. Но этого не будет: я одолею, за меня Ченстоховская Божия Мать, Пречистое Тело Господне и все силы небесные...

— Скоро болтать кончите там? — раздался с крыльца голос князя Агадара. — Начинать пора, а то ещё стемнеет... Или вы этого и ждете?

Кровь бросилась в лицо поляка.

— Выходи, князь! — крикнул он и первым пошёл на середину круга.

Холопы князя Василия, увидав своего господина и угадав чутьём, что ему грозит нешуточная опасность, двинулись было ему на по-

мощь, но сам князь Василий поспешил остановить их!

— Эй, вы, прочь! — закричал он, спускаясь с крыльца. — Голову расшибу; ежели кто сунуться посмеет.

Холопы отхлынули назад и смешались с толпой посельчан, вплотную окруживших живое кольцо из людей пана Разумянского.

— Никак биться будут! — говорили в одном месте.

— Если по чести, — высказывались в другом, — то это — Божье дело.

— А ежели не так, ежели с подвохом, — волновались их соседи, — так нашего князя полякам не выдавать... Чуть что, наваливайся скопом!

Но вдруг всё разом стихло, и сотни взоров устремились на середину площади.

Там друг против друга стояли князь Агдар-Ковранский и пан Мартын Разумянский.

Пан Руссов и остальные спутники молодого поляка, сумрачные и нахмуренные, стояли, опираясь на свои сабли — хмель как будто соскочил с них. По крайней мере с виду они были трезвы; удручение же их было вполне по-

нятно: пан Мартын был богат и, путешествуя с ним, они все были избавлены от путевых издержек.

Литовец Руссов был как бы распорядителем боя. По его знаку противники оба одновременно обнажили сабли.

На верхней площадке крыльца появилась чёрная фигура отца Кунцевича. Он мрачно смотрел на происходившее пред его глазами и очевидно не думал помешать начинавшемуся поединку. Но смотрел он на бойцов с большим любопытством, как будто оценивая их силы и стараясь предугадать, кто из них выйдет победителем.

— Сходись, начинай! — крикнул Руссов.

Разумянский стремительно кинулся на князя Василия, стараясь нанести ему удар своею сверкавшею на солнце саблею, но тот встретил этот стремительный выпад, даже не сдвинувшись с места, и так ловко отбил саблю Разумянского, что она вдруг очутилась за спиной поляка.

Гул одобрения пронёсся по толпе.

Это раздражило и распалило Разумянского. Он с бешеной яростью снова кинулся на

противника. Опять скрестились сабли, и слышалось их лязганье.

Натиск Разумянского снова был блестяще отбит князем Василием.

Бешеная, яростная схватка утомила поляка. Его глаза налились теперь кровью, грудь вздымалась от прерывистого дыхания. Пан Мартын прекрасно владел холодным оружием, так как брал уроки фехтования у лучших мастеров Парижа, и был уверен, что если не в Варшаве, то во всяком случае в варварской Московии не найдётся никого, с кем бы он не мог справиться. И вдруг, сам того не ожидая, он встретил в лице оскорбившего его князя Василия достойного себе соперника, и притом соперника более спокойного и более сильного.

— Вина! — крикнул Разумянский, и, когда Руссов подал ему кубок с душистой влагой, он, с жадностью приникнув к нему, с неистовой яростью думал:

"Я должен уничтожить этого русского, должен, иначе я потеряю уважение всех этих моих скотов... Если так, то пусть лучше Агадар убьёт меня... Смерть лучше, чем позор на всю

жизнь!"

Выпитое вино сразу бросилось Разумянскому в голову. И толпа, и избы, и небеса, и земля закружились и завертелись в его глазах. Только один Агадар-Ковранский продолжал стоять по-прежнему. Это ясно видел пан Мартын, и снова бешенство овладело им. Он сознавал, что симпатии большинства зрителей на стороне его противника, и это ещё более разъярило его. Ещё не отдохнув как следует, он снова, в третий раз, кинулся на Агадара, и опять залязгали сабли...

— У-ух! — вдруг раздался позади князя громкий крик. — Берегись!

Это крикнул Руссов. Агадар-Ковранский инстинктивно оглянулся назад, и в этот момент пан Мартын, воспользовавшись оплошностью противника, вышиб из его рук саблю.

XXIX

ВЫРВАННАЯ ПОБЕДА



Толпе раздался вой и визг, когда сабля Агадар-Ковранского, описав в воздухе полукруг, брякнулась о землю на порядочном расстоянии, а из кучки поляков раздались громкие аплодисменты, крики "виват" рану Мартыну Разумянскому и радостный смех.

Никто из очевидцев этой своеобразной дуэли не сомневался, что Агадар-Ковранский погиб. Нечего ему было ждать пощады от разъярённого до безумия Разумянского!

И в самом деле пан Мартын спешил довершить свою победу. Главное уже было сделано — противник был обезоружен, теперь оставалось только нанести ему роковой удар, и все обиды будут смыты горячею кровью обидчика. Разумянский, дико вскрикнув, ки-

нулся с поднятой саблей на беззащитного врага.

Но недаром в жилах князя Василия текла русская кровь! Кровь татар и калмыков, его отдалённых предков, дала ему в наследство и непомерную пылкость, и лютость степную, и презрение к жизни, а кровь русских предков, напротив того, внедрила в него стойкость, неустрашимость и стремление, не отчаиваясь ни в каких положениях, бороться до конца — до смерти или победы...

В то мгновение, когда Разумянский уже опускал вооружённую саблей руку, чтобы нанести противнику роковой удар, князь Василий ударил кулаком по ней.

Это была неожиданность, которой отнюдь не учитывал Разумянский. Удар был силен, и пан Мартын, вскрикнув от неожиданной боли, опустил саблю. Князь Василий воспользовался этим и мгновенно схватил противника-победителя в свои могучие объятия, так что кости у бедняги Разумянского захрустели.

— Пусти, дьявол, — задыхаясь, прохрипел поляк, — это не по правилам! Пусти!..

Но он не успел закончить свою фразу. Ага-

дар-Ковранский поднял его в воздух и, дико взвизгнув, перебросил через голову...

Это было делом одного мгновения, но зато какого мгновения! Редко напряжение в массе людей достигало столь высокой степени. Кажалось, вся эта толпа вздрогнула, когда Разумянский перелетел через голову Агадара и шмякнулся о землю позади него. Толпа только ахнула и бросилась вперёд, прорвав кольцо вооружённых холопов и смяв их.

Пан Мартын лежал, распластавшись на земле, без чувств, но и князю Василию надёшево достались и спасение, и победа. В пылу борьбы он не чувствовал боли в вывихнутой ноге. Нервное напряжение, дикая злоба и воодушевление покрывали всё. Опасение за жизнь пред лицом смертельной опасности удваивало его физические силы, но, как только опасность миновала и победа была достигнута, сейчас же наступила реакция. Страшная, невыносимая боль дала себя знать. Вывихнутая нога уже не поддерживала утомлённого тела. Миллионы невидимых раскалённых острий вонзились в мозг князя и обезумили его. Не будучи в состоянии противиться

невыносимой, адской боли, князь Василий зашатался. Его глаза смежались против воли, кровь бурной волною ударила в голову и, слабо вскрикнув, он упал без чувств около своего побеждённого врага...

Едва он упал, сразу же исчезло всякое очарование.

Надо полагать, что, пока князь Василий оставался на ногах, он был страшен полякам; когда же он упал и бесчувственный и беспомощный лежал на снегу, к ним сразу вернулись и их воинственный задор, и пылкая храбрость.

— В сабли его! Зарубить! Он бился не по правилам! — раздались враждебные крики польских храбрецов.

Но и толпою уже овладела стихийная вспышка. Сельчане вместе с холопами князя Агадар-Ковранского ринулись на польских холопов. Началась ожесточённая драка, в пылу которой никто не обращал внимания на то, что делается около недавних бойцов.

А там уже сверкали польские сабли. Пришедшие в неистовство паны готовились зарубить беззащитного, беспомощного, бесчув-

ственного врага и зарубили бы, если бы вдруг среди всей этой отчаянной свалки прямо под сверкавшие польские сабли не бросилась Ганночка Грушецкая...

— Не убивайте, пощадите! — кричала она.

Вряд ли она и сама соображала, как могло это случиться с нею. Любопытство привлекло молодую девушку, и она успела пробраться почти к самому кругу поединка. Вместе со всеми другими очевидцами его она почти замирала во всё время боя. Когда же сабля была выбита из рук Агадара, Ганночке показалось, что всё вокруг неё заходило ходуном. Ужас застучал в её сердце. Девушка даже руками за голову схватилась и дико смотрела пред собой, не слыша громких воплей разыскивавшей её мамки.

Странное дело! Агадар-Ковранский был для Ганночки совсем чужим человеком; мало того — она страшилась его. Пан же Мартын, напротив того, нравился ей; но, глядя на поединок, она более боялась за князя Василия, чем за Разумянского. Может быть, это было следствием того, что она считала Агадар-Ковранского слабейшим и сначала думала, что

он осуждён на гибель. Но всё-таки его безумно отчаянная выходка, когда он один не побоялся кинуться на толпу врагов, поразила и восхитила её. Князь Василий сразу вырос в глазах молодой девушки в великолепного героя; когда же она увидела, как он закачался и упал, в её глазах всё потемнело, она сама была близка к обмороку. Не помня себя, Ганночка кинулась под польские сабли, и её вопль зазвенел среди шума и гама разгоревшейся свалки.

Появление русской красавицы смутило даже остервеневших поляков. Этим моментом воспользовались несколько прорвавшихся вперёд холопов князя Василия и выдернули его из-под ног наступавших на безоружного поляков. Ни эти последние, ни Ганночка даже и не заметили, как исчез бесчувственный князь Василий. Смущённые поляки видели только мертвенно-бледную Ганночку, стоявшую пред ними с распростёртыми руками.

— Не убивайте, пощадите, беззащитен он, — повторяла девушка, — а не то и меня убейте тут же...

— Панна! — начал было Руссов, красиво са-

лютую своей саблей. — Каждое ваше слово для нас закон, но...

Он не договорил. Около Ганночки очутилась её мамка.

При других обстоятельствах вид перепуганной старушки вызвал бы общий хохот: кика совсем сбилась с её головы, седые волосы растрепались, сморщенное в кулачок лицо было красно от негодования.

— Боярышня Агашенька, — визгливо кричала она, — да как тебе не стыдно? Мужики дерутся, а ты промеж них... Вот ужо батюшке пожалуюсь на тебя... Пойдём, пойдём скорее! Поезд наш уже обряжен, ехать засветло надобно...

Видя, что на Ганночку нашло что-то вроде столбняка, мамка сейчас же схватила её и чуть не силой утащила прочь.

А драка всё разгоралась. Толпа остервенела и была вся захвачена стадностью. Польские холопы были избиты так, что едва живыми ушли от сельчан. Люди князя Василия все исчезли из свалки, наезжие поляки были предоставлены своим силам. Они подобрали Разумянского и поспешно отступили к крыль-

цу своей избы.

А на верхней её площадке стоял, совершенно равнодушно глядя на всё происходившее, отец Кунцевич. Ни этот поединок, ни драка как будто вовсе не касались его. Чёрная фигура мрачного иезуита казалась грязным, зловещим пятном на белой стене избы. Его безучастное равнодушие вовсе не гармонировало с бурным движением свалки...

Вероятно, не обошлось бы без крови, и поляки были бы смяты и затоптаны, но вдруг среди враждующих явилась жалкая, растрёпанная фигура православного священника с крестом в руке. Он бесстрашно кинулся вперёд, загораживая собой наезжих, и громко кричал на своих:

— Вот я вас, анафемы! Погодите вы! Причистия лишу, земные поклоны за епитимью бить заставлю...

XXX ОТЪЕЗД



С ли бы не вмешательство отца Иова, священника местной сельской церкви, плохо пришлось бы наезжим нахвальщикам, расстрепала бы их в своём стихийном натиске разъярённая толпа. Но вид святого креста, смелые, понятные даже в своей грубости слова пастыря, подействовали на неё. Толпа отхлынула, а затем мало-помалу стал гаснуть её пыл, умеряться её ярость. Ворча, бранясь, насмехаясь, отходили люди прочь.

Только немногие видели при этом, как ушёл из села поезд чернавского воеводы. Не до того было, чтобы следить за отъезжающими. Внимание разгорячённых сельчан сосредоточивалось на поляках, и лишь некоторые сбились у домика отца Иова, куда холопы

укрыли князя Василия.

Тот довольно скоро пришёл в себя. Возбуждение, поддерживавшее его во всё это время, ещё не спало, и, если бы ему сказали, что Ганночке доставит удовольствие новый поединок, он не задумался бы кинуться в бой... Но Ганночка Грушецкая была уже далеко, а боль в вывихнутой и натруженной ноге давала себя знать. Агадар-Ковранский страдал невыносимо, но крепился и решительно ничем не выдавал своих страданий.

Отец Иов, суетившийся около князя, видел его страдания, но старался не подавать виду, что замечает их. Он быстро смекнул, что такие гордые, дикие натуры, как князь Василий, глубоко оскорбляются, если кто-нибудь видит их страдания, а тем более высказывает им своё сожаление.

Однако, несмотря на желание сдержаться, отец Иов всё-таки не на шутку взволновал больного:

— Уж кому-кому, — заговорил он, захлёбываясь от восторга словами, — а боярышне этой наезжей, чернавского, что ли, воеводы дочке, большая честь и хвала! Вот умница-ра-

зумница смелая! Уж тебе, князенька, ни за что не сдобровать бы, кабы она не заступилась.

— Как? Что? — воскликнул князь Василий. — Она за меня заступилась?

— Ну да, выходит так, ежели она под польские сабли, чтобы тебя вызволить — бросилась...

— Меня... она... под сабли? — прерываясь и путаясь в словах, произнёс князь. — Она меня спасла? Опять спасла?.. Она?.. А... Тётушка, государыня-тётушка! Спасла она, она!

Из горла больного вырвался прерывистый, хриплый смех, но глаза в то же время сияли счастьем. Он водил по воздуху вытянутыми руками, как будто стараясь схватить кого-то и привлечь к себе.

Отец Иов не на шутку испугался и воскликнул:

— Князенька, что с тобою, милый? Испить не хочешь ли?

Но князь Василий не ответил; он что-то лепетал, но, что именно, старый священник не сумел разобрать. Очевидно, у больного начался бред.

— Ахти, — разводил руками отец Иов, — и ума не приложу, что теперь делать: как будто взял силу злой недуг. Позвать, что ли, кого-либо из князевых людишек?.. Попадья, а, попадья!

На этот зов никто не откликнулся. Попадья была на площади, и отец Иов был один около больного, которого, по его мнению, нельзя было оставить одного. Однако старик уже решился на это и даже двинулся к порогу, но вдруг дверь открылась и в маленькой уютной горенке православного священника появилась злобная фигура иезуита отца Кунцевича.

Войдя, он кивнул головою посторонившемуся от неожиданности отцу Иову и шмыгнул к князю Агадар-Ковранскому.

Тот лежал, откинувшись на подушки, его глаза были широко раскрыты, но вряд ли он видел что-либо пред собою. То его губы складывались в блаженную улыбку, то вдруг всё лицо искажалось от невыносимой боли. Кунцевич осторожно взял руку больного и прощупал пульс, а потом притронулся к пылавшему лбу князя и слегка покачал головой.

Прикосновение привлекло внимание больного. Князь Василий взглянул на иезуита, и на его лице отразился ужас.

— Кто ты, кто? — закричал он. — Неужели сама смерть! О, не подходи, не подходи! Я не хочу умирать, не хочу! Она пожалела меня, спасла меня, она любит меня... Прочь, прочь! Я жить хочу, жить!

Крик быстро перешёл в протяжный, нечленораздельный рёв. В ужасе князь Василий забился к стене и вытянул вперёд руки, как бы защищаясь от ужасавшего его призрака.

— Прочь, прочь, уйди! — закричал он.

Отец Кунцевич снова покачал головой и, повернувшись, заскользил к двери. На пороге он приостановился и тихо проговорил по-русски:

— Его нужно как можно скорее отправить домой! Здесь ему оставаться вредно... Воздух не повредит, но нужно, чтобы ему было совершенно покойно...

Сказав всё это, отец Кунцевич бесшумно выскользнул из горенки, оставив отца Иова в таком изумлении, что слова не шли с его уст.

Так в состоянии изумления и застала его

возвратившаяся попадья...

— Тьфу, тьфу, тьфу! — отплёвывался отец Иов, опомнившись только с приходом жены. — Ихний крыжакон монашек заявился! Чёрный весь, словно из преисподней выскочил; говорит — доставить домой князя надобно...

— Лучше чего быть не может, — поддержала Иова попадья, — вот только пусть паны уберутся...

— Поскорее бы от них и запаха не осталось! — вздохнул отец Иов. — Уж больно наши-то на них осерчали...

— И молодец же ты, поп! — перебила его своей похвалой попадья. — Ишь, ведь как выскочил, один на всех...

— Господь умудрил! Сразу так мысль явилась...

— И не страшно тебе было так?

— Нет, меня, говорю, Господь умудрил, направил, так чего же страшному быть?.. А вот князя-то действительно обрядить нужно, маётся он, сердешный. Ты поди, мать, посмотри, как паны уедут, а я тем временем подводу приготавлию...

Попадья не заставила себя просить. Любопытство кипело в ней. Ей казалось, что на площади не всё ещё кончено. Однако она ошиблась. Пришедший в себя Разумянский так стыдился своего поражения, что спешил скорее убраться из села.

"Голыми руками взял меня, — с ненавистью думал он про Агадар-Ковранского. — О, на мою шляхетскую честь пятно позора легло, только кровью я могу смыть его... Клянусь не умирать, пока не отомщу!"

Пан Мартын уже заметил, что его спутники, за несколько часов до этого подобострастно заглядывавшие ему в глаза, теперь, когда он взглядывал на них, потупляли взоры; да и их разговоры стали далеко не так пылки и льстивы, как прежде.

Сборы были недолги. Осыпаемые градом насмешек, даже бранью, покинули поляки село, где приняли их так радушно, а провожали столь недружелюбно. Нехорошо у них было на душе; сказывалась горечь обиды. Но в их положении приходилось держаться смиреннько: в селе было немало сорвиголов, только и выжидавших предлога к ссоре, чтобы за-

кончить разгром польского поезда, которому помешало внезапное вмешательство отца Иова.

Только отъехав несколько вёрст, поляки почувствовали себя в безопасности, и к ним начало возвращаться их обычное настроение. Загудели шутки, стал вспыхивать смех. Трунили над литовцем Руссовым, оставшимся без своей "звезды Востока" — Зюлейки. Последняя, будучи страшно перепугана появлением своего лютого властелина, побоялась остаться с поляками и упростила Ганночку взять её с собою. Руссов отшучивался, как умел, и, побывав у своего возка, вдруг вернулся к товарищам с новостью: не было Зюлейки, но вместе с нею исчез и отец Кунцевич.

— Где он? Куда он мог деваться? — не на шутку забеспокоился Разумянский, когда ему сообщили об исчезновении иезуита. — Не могли же мы оставить его в этом проклятом гнезде!

Руссов вздумал было пошутить, намекнув, что монах не мог покинуть красавицу-персиянку, но Разумянский посмотрел на него так, что у литовца прошла охота к шуткам.

Однако, несмотря на действительно овладевшее им беспокойство, пан Мартын и не думал вернуться назад за отцом Кунцевичем. Польский поезд, спеша нагнать потерянное время, шёл всё быстрее и быстрее, о иезуите скоро перестали говорить.

Между тем, когда из села верховые холопы увозили на поповской подводе князя Василия, верстах в трёх расстояния, из лесу на дороге вышел закутанный во всё чёрное человек. Он попросил позволения присоединиться к поезду, а когда старший из холопов-вершников затруднился дать ответ, он прямо сказал, что жалеет больного князя и пристаёт к ним, чтобы вылечить его недуг. Тогда согласие последовало, и чёрный человек примостился около возницы на облучке подводы. Этим чёрным человеком был иезуит отец Кунцевич.

XXXI

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ



Ервные потрясения, чрезмерное напряжение и физическая боль сломили даже могучую натуру князя Василия. Недуг овладел им, захватив в свою власть, и долго держал его между жизнью и смертью.

Князь Василий не помнил, как привезли его домой. Он страдал невыносимо, но вряд ли сознавал свои страдания. Только когда на кратчайшие мгновения возвращалось в измученное тело сознание, он, как сквозь дымку тумана, видел вблизи себя доброе старушечьё лицо Марьи Ильинишны, чувствовал её полный душевной тоски и сострадания взгляд.

Но рядом со старушкой он видел всю в чёрном фигуру. Кто это был, князь Василий не знал, а на догадки не хватало времени: созна-

ние возвращалось к нему лишь проблесками.

Была уже цветущая весна, когда могучая натура Агадар-Ковранского одолела наконец тяжёлый недуг. Однажды князь Василий вдруг открыл глаза и огляделся кругом.

Яркое весеннее солнце заливало комнату. Окно было приоткрыто, и через него из окружного сада и леса лились в комнату больного дивные весенние ароматы.

Никогда прежде князь Василий не обращал внимания на природу, даже, пожалуй, и не чувствовал её, но теперь он вдохнул полной грудью этот напоенный запахами весны воздух и невольно потянулся к солнцу.

— Лежите, сын мой! — раздался около него тихий, вкрадчивый голос. — Пока вам не должно шевелиться...

Князь Василий постарался взглянуть туда, откуда раздались эти слова, и там увидел высокую, тощую фигуру в странном нерусском одеянии.

Это был отец Кунцевич.

Агадар-Ковранский видел его мельком, память сохранила лишь смутный образ этого человека, и теперь он, не узнавая его, напрас-

но напрягал свой слабо работавший мозг, чтобы припомнить, кто это, но память не давала на это ответа.

— Кто ты? — отчаявшись наконец в своих попытках, чуть слышно прошептал Агадар. — Такого у меня в дворне нет...

— Тише, тише, — прервал его отец Кунцевич, — повторяю, что вам не следует говорить. Молчите и постарайтесь заснуть. Поговорим после, когда вы достаточно окрепнете.

Он склонился над больным, устремив на него упорный взгляд; в то же время он слегка поводил ладонями пред лицом Агадара, как бы делая гипнотические пассы, и князь Василий чувствовал, словно какая-то неведомая сила заставляет его сомкнуть веки. Прошла минута-другая, и больной погрузился в глубокий сон.

Тогда отец Кунцевич выпрямился, отёр со лба проступивший пот и отошёл от постели, тихо бормоча:

— Он покорен мне, как овца, и будет во всём поступать так, как я прикажу ему. Это — хорошее приобретение; мой дикарь будет мне надёжным сотрудником...

Патер Кунцевич явился в лесное поместье Агадар-Ковранского незванный, непрошенный, никому там неведомый, но скоро стал для всех желанным человеком. Присоединившись к вершникам, вёзшим обеспамятевшего князя, он выведал от них, кто теперь будет главным лицом во время болезни Агадара, и, конечно, очень быстро узнал всё про тётушку Марью Ильинишну. К ней-то он и явился по прибытии в поместье.

— Ваш молодой князь тяжело болен, — сказал он, — я умею врачевать, и мне жалко стало такого молодца. Если его не лечить, он умрёт. Разрешите мне остаться при нём и, ручаюсь, я подниму его на ноги.

Марья Ильинишна сперва оторопела. Предложение было неожиданно, а внезапно появившийся человек был совершенно незнаком ей. Но затем смущение быстро оставило старушку, когда она рассмотрела отца Кунцевича. По его одежде она быстро сообразила, что пред ней польское духовное лицо.

Русские никогда не были нетерпимы в вероисповедальных вопросах, и только толпа, будучи разожжена в своём тупом массовом

организме, изредка высказывала свою неприязнь к католикам и к католицизму. Те же, кто стоял повыше, отнюдь не страдали фанатизмом, будучи в религиозном отношении скорее индифферентны. Поэтому и Марья Ильинишна отнеслась к предложению отца Кунцевича без предвзятых "мудрствований лукавых"; напротив того, его сан являлся для неё даже ручательством его добрых намерений. Притом же отец Кунцевич говорил очень вкрадчиво, словами проникал в душу и после двух-трёх бесед сумел так войти в доверие к старушке, что она всецело положила на него.

— Добрейший человек, хоть и крыжатик! — не раз говорила она своему наперстнику Дроту. — И притом умеет лечить. Видно, твёрдо лекарское ремесло знает. Вот бы такого к великому нашему государю приставить! Болеет всё пресветлый царь, совсем плох, говорят, стал, а крыжицкий поп, может, его, всемилостивейшего, и поднял бы.

С каждым днём вера старушки в отца Кунцевича всё возрастала. Иезуит, конечно, видел это и старался держаться как можно

скромнее. Он скоро прослышал, что Марья Ильинишна, в случае если её ненаглядный Васенька выздоровеет после лечения "крыжицкого попа", собирается сообщить о нём своим московским родственникам, дабы они попробовали провести его к больному царю Алексею Михайловичу, здоровье которого становилось всё плоше и плоше. Это, очевидно, входило в расчёты иезуита. Когда он услышал о намерении Марьи Ильинишны, на его губах зазмеилась довольная улыбка.

Князь Василий оправился сравнительно скоро именно благодаря неусыпным заботам отца Кунцевича. После того как сознание вернулось к больному, выздоровление пошло быстро. Скоро Василий Лукич узнал, кто такой ухаживавший за ним чёрный человек. Вместе с тем он вспомнил всё, что произошло. Чувство торжества овладело им при одном воспоминании о том, как он одолел Разумянского; но вместе с тем радостные слёзы проступили на его глаза, когда отец Кунцевич подробно, смакуя каждую фразу, каждое слово, рассказал ему о геройском поступке Ганночки Грушецкой.

— Зачем она так, — не помня себя от счастья, воскликнул князь Василий, — чем я ей столь переболел, что она не побоялась вступить за меня и от смерти меня вызволить? Скажи мне, поп!.. Ведь вы там у себя только и делаете, что в человеческие души залезаете. Так тебе всё должно быть известно. Скажи мне, просвети меня...

Кунцевич, не раз слыша такие вопросы, всегда хитро улыбался.

— Знать, девичье сердце заговорило, — обыкновенно отвечал он.

— Да ведь она почти не видела меня, — воскликнул раз князь Василий, — да и тогда я с нею неласков был!

— Что же из того, что боярышня Грушецкая тебя, князь, только раз видела! — снисходительно ответил иезуит. — Великая природа вложила в человеческие сердца постоянно тлеющие искры любви. Часто бывает так, что достаточно малейшего ветерка, чтобы из маленькой такой искры вспыхнуло великое пламя. Кто знает женское сердце! Быть может, твоя победа над Разумянским и была таким ветерком.

— Значит, по-твоему выходит, что Агаша любит меня?

— Я уже сказал тебе, князь! — уклончиво ответил иезуит. — Кто может знать женское сердце? Кто может утвердительно сказать, любит ли оно или не любит? Я — не Бог, а только скромный служитель Его алтаря. Ты сам должен узнать это...

— Но как, как? Скажи мне!

— Прежде всего выздоравливай скорее, а потом поезжай в Чернавск, примиришь там с отцом юной панны.

— Клянусь, я сделаю это! Давно пора прикончить миром эту дедовскую ссору. Ну, а потом что?

— Потом поступи так, как подскажет тебе сердце...

Князь Василий закрыл лицо ладонями рук.

— Да, да, — зашептал он, — я знаю, как поступить. Брачные венцы внуков покроют ссору дедов. Не может быть, чтобы Семён Грушецкий не принял моих сватов! Да тогда я его со света сживу. Пусть будет так, возьму Агашу себе женой.

Князь, предавшийся мечтам, не видел, ка-

кая дьявольская улыбка промелькнула на лице иезуита, слышавшего эти вслух произносимые мечты влюблённого юноши.

XXXII

ВСТРЕЧА ПОСЛЕ РАЗЛУКИ



рав был иезуит Кунцевич, когда на полный любовной тревоги вопрос князя Василия ответил философской глубины вопросом: "Кто может знать сердце женское?". Да, кто действительно может знать его, кто проникнет в его бесчисленные тайны, угадает, каким законам оно повинуетя, под каким ветром, в какую сторону клонится; сердце женское, да особенно девичье — что тростник прибрежный, что морская гладь над бездонной пучиной. Тихо стоят воды, не шелохнутся и вдруг заколышутся, словно буря налетит нежданная-негаданная и обратит недавнюю тишь в

кипучий ад.

Вряд ли и сама Ганночка могла бы ответить на такой вопрос, если бы он был предложен ей. Она была ещё так молода, столь многое в жизни было не изведено ею, что ей было не по силам разбираться во внезапно нахлынувших чувствах и решать вопросы, которые даже искушённой жизнью женщине не всегда разрешить по силам.

Без всяких приключений добрался поезд до границ Чернавска, где воеводствовал Грушецкий. Тут была уже ровная дорога, оживлённая, людная; сторона была промышленная, здесь часто ходили караваны с различными товарами, воеводу Фёдора Семёновича знали хорошо, а потому и его дочку всюду встречали нижайший поклон и доброе уважение.

Впрочем, последнее, пожалуй, далеко не было следствием того, что Ганночка приходилась местному воеводе дочерью.

— Раскрасавица боярышня-то, — говорили многие встречные, без всякой церемонии заглядывая в возок, где были Ганночка, Зюлейка и старая мамка. — Недаром по всей округе

слух идёт, что умница-разумница она: на рубеже взрощена и там она всему научилась. Не то, что наши Чернявские кувалды, ничего не боится. Ишь, как она за земляка-то вступилась пред польскими нахвальщиками! — вспоминали дорожное приключение Ганночки, о котором и сюда уже успела донестись быстролётная весть.

Эти толки долетали до слуха молодой девушки и подчас заставляли её сильно краснеть. О безумно смелой выходке молодой боярышни к её приезду говорили уже повсюду в городе. Было много фантастических подробностей, совершенно не соответствовавших действительности; но все толки и пересуды были в пользу Ганночки, а между тем она и сама не понимала, что же геройского в её поступке, за что следует хвалить её. Ей её поступок казался совершенно уместным, хотя и противоречащим многим тогдашним обычаям. Но Ганночка думала, что иначе она и поступить не могла. Ведь на её глазах совершалось убийство беззащитного, за которого и заступиться было некому, так как же ей было не сделать попытки вызволить князя Ага-

дар-Ковранского из-под польских сабель?

Тем не менее она сильно побаивалась предстоящей встречи с отцом. Воевода Семён Фёдорович был человек простодушный, незлобивый, но всё-таки и он жил, как жили все его современники, а по их понятиям женщины не должны были слишком выставляться там, где сверкали обнажённые сабли. С замирающим сердцем подъезжала Ганночка к Чернавску. Это был небольшой городок, окружённый деревянными стенами, защищавшими от всяких возможных нападений главный собор и присутственные места, дом воеводы, торговую площадь и склады товаров. В стенах жили немногие особенно именитые и зажиточные чернавские люди. Зато вдоль стен, спускаясь к реке, лепились домики чернавской бедноты. И тогда много было полуголодных, куда больше, чем счастливых богачей!

Когда воеводский поезд подъезжал к Чернавску, было утро праздничного дня. Ещё издали слышен был звон немногих колоколов, к которому присоединялись глухие, нестройные, похожие на хаотический шум звуки церковно-набатных бил.

Как-то у всех поезжан неловко на душе стало, когда пред их глазами, словно вынырнув из прибрежных холмов, вдруг показался давно желанный Чернавск. Старшой Серёга даже шапку бросил оземь, и, поскрёбши в затылке, вполголоса сказал вертевшемуся поблизости от него Фёдору:

— Ах, мать честная, Федюнька!.. Вишь, приехали.

— Приехали, дядя Серёга, приехали, — уныло ответил недавний отчаянный герой. — Что-то теперь будет? Грозен, поди, боярин Семён Фёдорович, страшна мне его расправа.

— Никто, как Бог! — столь же уныло ответил старик. — Уж как-никак, а мы своё дело сделали, боярышню уберегли, не щадя живота. Что там ни будет, а ехать надобно.

Столь же приуныла и старая мамка. Ведь Сергей и Фёдор свой долг до конца исполнили, по крайней мере, опасного часа не проспали, а она, старая, примостилась на тёплую лежанку да чуть было боярышню и не проворонила.

— Ахти, будет беда! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! — то и дело взды-

хая, лепетала старуха. — Ежели у боярина променя батогов мало, так уж я не виновата. Целую бы роцу о мою старую спину обломать следовало бы. Как и доложить буду Семёну-то Фёдоровичу — не знаю, а доложить нужно.

С ненавистью взглядывала она на весело щебетавшую Зюлейку, но это нисколько не успокаивало её страха.

Веселее всех в поезде была молодая персиянка. Она беззаботно отдавалась счастьем внезапно вернувшейся к ней свободы. Будущее нимало не пугало её: хуже того, что было, вряд ли и быть для неё могло. Зюлейка верила, что воевода Грушецкий отнюдь не отошлёт её назад к князю Агадару; у неё создавалась уверенность, что Ганночка заступится за неё. И в самом деле, молодая девушка относилась к ней с редкой сердечностью и уже решила упросить отца оставить эту несчастную женщину при ней, в Чернавске.

Подъезжая к городу, Ганночка от нетерпения высунулась из оконца возка и не спускала взора с вившейся среди талого снега дороги. Вот она заметила, что впереди показались вооружённые вершники, окружавшие

большую зимнюю колымагу, и угадала, что это — отец.

— Батюшка, батюшка! — вскричала она. — Родимый батюшка беспокоился, навстречу мне выбрался. Серёга, кучера, поезжайте живее! Вон там государь-родитель встречает.

Лошади сильно рванули, и Ганночка едва не выпала из возка. Встречные тоже прибавили ходу, и скоро обе партии встретились. Легче птички выпорхнула Ганночка из возка и кинулась на шею красивому старику, простёршему к ней свои объятия.

Отец и дочь встретились. Молодая девушка непритворно рыдала, приникнув к груди родителя; проступили слёзы и на глазах Семёна Фёдоровича. Кругом моментально собрался досужий народ Чернявский, проведавший о том, что воевода Грушецкий выехал встречать приехавшую с рубежа дочку. Видя эту нежную встречу, многие прослезились, кто-то стал всхлипывать, а незаметно подобравшаяся мамка со счастья и страха за будущее даже навзрыд плакала.

— Соколик ты наш, — выкрикивала она сквозь слёзы, — Сподобил меня Господь снова

увидать тебя, милостивца! Уж не вели казнить, ежели в чём провинились мы, а коли что заслужили при твоей милости, так не откажи, пожалей бедноту нашу.

Она, обливаясь слезами, целовала руки боярина и, наконец, от избытка чувств повалилась ему в ноги прямо на снег.

— Ну, полно, полно, старая! — сказал ей Грушецкий, несколько смущённый её пылом. — Подожди, дай время разобраться, уж посмотрю — казнить тебя, старую, надобно иди жаловать. Эге, да вон и Серёга. Невесел что-то старик. Али и ты нашкодил что?

Грушецкий бросил это замечание своему холопу лишь вскользь, только для того, чтобы не обидеть его своим невниманием; но, мимолично взглянув на своего старшего, он заметил, как лицо у того побледнело. И невольно в голове Семёна Фёдоровича промелькнула тревожная мысль:

"А ведь у них какое-то неблагополучие случилось в пути".

Однако эта мысль только промелькнула и исчезла, будучи поглощена радостью долгожданной встречи с дочерью.

— Государь-батюшка, — воскликнула Ганночка, ласкаясь к отцу, — сколь же долго я не видала тебя!.. И какой же ты ладный стал! Вот матушка покойная на тебя взглянула бы, то-то обрадовалось бы её сердечушко! Видно, и её молитва за тебя, батюшка-родитель, до Господа дошла...

— Ну, ладно, ладно, дочурка милая! — ласково произнёс боярин, подводя Ганночку к своему возку. — Царство небесное покойнице нашей! Жалею я, что нет её с нами, а то полюбовалась бы она на тебя. Экая ты у меня красавица! Видно, вся в польскую роденьку пошла. Совсем хоть царской невестой быть...

— Что ты, батюшка, что ты! — смущённо проговорила она, потупляя взор. — Ни за кого я не хочу идти, век с тобой провекую.

— Даже за царя-государя не пойдёшь? — ласково засмеялся Семён Фёдорович. — Ой, девка, не лукавь!

— А на что мне царь-то? — оправившись от смущения, защебетала девушка. — Не хочу я его, да и он меня не возьмёт. У него на Москве красавиц много. На что ему я, прирубежная полесовка? Да и старый он. Взаправ-

ду, батюшка, царь наш помирать собрался?

На лицо Семёна Фёдоровича набежала лёгкая тень грусти.

— Ладно, дочка, — несколько сумрачно проговорил он, — обо всём том мы с тобой поговорим, как ты после дороги отдохнёшь. А теперь садись-ка в мою колымагу; в моих хоромах протопоп с молебном ждёт. Ну, трогай, ребята! — крикнул он, сам забираясь вслед за дочерью в тяжёлый экипаж.

XXXIII

ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ КРОВОМ



О всем незаметно промелькнули для Ганночки первые дни её пребывания под родительским кровом. Уж очень ласков был к ней Семён Фёдорович. Он не спускал взора с приехавшей дочери и не задавал никаких вопросов о том, как она свершила далёкий путь от ру-

бежа до Чернавска,

Воевода Семён Фёдорович Грушецкий был на редкость добряк по свойствам своего характера. Московская кровь как будто утихомирила в нём ту пылкость, которая передана была ему его польскими предками. В его внешности не было ничего такого, что хотя несколько напоминало бы поляка. Он был широк лицом, голубоглаз, рус, румян, не особенно склонен к позированию, а больше любил простоту и отличался простодушием и незлобием.

В Чернавске все любили Грушецкого. Он не был ни мздоимщиком, ни лихоимщиком, не грабил подвластного ему народа, правил суд справедливо, и хотя были у него враги, обиженные более всего на то, что новый воевода не потакал их часто нечистым домогательствам, но и те отзывались о нём, как о человеке неподкупном и о такоком воеводе, какого уже давно не было в Чернавске.

Вместе с тем Семён Фёдорович отнюдь не был честолюбив. Если он добивался царёвой службы, то лишь потому, что ему казалось стыдным сидеть как опальному без всякого

государева дела у себя в вотчине, и хотя чернавское воеводство было незначительно, но тем не менее он был доволен и этим.

Однако и у Грушецкого, как почти у всех русских дворян того времени, была затаённая мысль. Он знал, что его дочь очень красива, знал также, что старший сын царя Алексея Михайловича, наследник престола, царевич Фёдор Алексеевич, ещё не принял брачного венца; стало быть, впереди был неизбежен сбор по всей России невест на царский смотр, и — кто знает? — быть может, и ему, сравнительно мелкому служивому дворянину, улыбнётся слепое счастье, и его ненаглядная дочка увидит у своих малюток-ножек платок юного царевича, а, быть может, к тому времени уже царя.

Печальный пример Евфимии Всеволожской[1] как-то был позабыт. Вспоминали только счастливые дни её отца — Рафа, а о падении его и не думали. У всех пред глазами были нежданно-негаданно выбравшиеся на большую высоту сперва Милославские, а потом Нарышкины, и каждый, у кого была красивая дочь, думал, что и для него возможен

такой же шаг на головокружительную высоту, какую занимали царские тести и шурья и прочая родня царицы.

Семён Фёдорович никогда никому не говорил о своих тайных мечтах; мало того, он даже не считал возможным, чтобы до большого дворца Московского Кремля достигли слухи о красоте его дочери. Ещё более того он боялся, что такое возвышение не сделает его ненаглядную Ганночку счастливою; но всё-таки нет-нет да и сверлила его мозг мысль о том, что и он может стать тестем московского царя.

Старик, от природы рассудительный, незаметно наблюдал за дочерью после её приезда. Он очень скоро согласился на её просьбы оставить Зюлейку и с виду совершенно равнодушно выслушал рассказ Ганночки и о ночлеге в прилесном жильё князя Василия Агадар-Ковранского, и о приключении в попутном селе. Однако он всё-таки не отнёсся равнодушно к этому рассказу и своим родительским сердцем почувствовал тут что-то недоброе.

Ганночка, конечно, промолчала ему о гада-

нье в подвале, но когда она упомянула о князе Василии, то Семён Фёдорович сейчас же припомнил дедовскую ссору. Сам он был совершенно равнодушен к той обиде, какую нанёс его предок предку Агадар-Ковранского, кстати, он никогда в жизни не видал князя Василия и даже не слышал ничего о нём. Но он всё-таки полагал необходимым считаться с русскими обычаями, и встреча дочери — внучки обидчика — с внуком обиженного невольно нагнала на него тревогу.

Он часто вглядывался в лицо Ганночки, стараясь прочитать на нём какие-либо затаённые её мысли, но Ганночка всегда была весела и спокойно, без малейших признаков смущения, выдерживала пристальные взгляды отца. Ведь ей и в самом деле нечего было смущаться; она-то знала, что ничего дурного с нею не произошло и что она ни в чём не провинилась пред родителем.

Именно это и прочёл Семён Фёдорович на лице дочери, но всё-таки тревога не оставила его. Его немало смущало то обстоятельство, что старый Сергей всегда потуплялся, когда ему приходилось говорить со своим господи-

ном. Иногда он даже бледнел. Старая мамка тоже выдавала своё смущение. И всё это убеждало старого Грушецкого, что с его дочерью в пути произошло нечто такое, что эти люди хотели скрыть от него. В конце концов он решил произвести опрос и, начав с Сергея, узнал, что произошло в доме Агадар-Ковранского.

Сергей ни в чём не потаился, сказал и о том, как ходила к ворожее боярышня, и как он с Федюнькой, опасаясь, чтобы не случилось какой-либо беды, пробирался по разным переходам в подземный погреб, дабы оберечь боярышню. Он сообщил Семёну Фёдоровичу и о том, что старая мамка заснула непробудным сном и, конечно, указал, что такой сон старушки явился следствием подсыпанного ей в питьё или еду снотворного зелья. После с подробностями, но совершенно правдиво, рассказал он и то, что случилось в проезжем селе.

Чистосердечный рассказ преданного холопа успокоил Грушецкого.

"Ну, что ж, — подумал он, — ежели Ганночка гадать ходила, так это пустое, на то и моло-

дось... Ну, слава Богу, вижу теперь, что зла не вышло; Господь отнёс. Кто знает, что случилось бы, если бы этот князь дома оставался? Нужно бы Серёгу батогами наказать за то, что он завёз дочку в такую труппу... Ну, да Бог с ним! Ежели худа не вышло, так чего с него и спрашивать?"

Он успокоился, но всё-таки продолжал наблюдать за дочерью.

После того как прошло порядочно времени, и девушка окончательно пообжилась в новом доме родителя, с нею, как заметил Грушецкий, действительно стало твориться нечто особенное. То она вдруг становилась возбуждённо весела, то вдруг на неё словно грусть беспричинная ложилась, и не раз Семён Фёдорович замечал на её глазах слезинки.

— Что, Агашенька, — спросил он её однажды, стараясь быть шутливым, — скажи-ка, милая, какая грусть у тебя на сердце лежит? Примечаю я, будто сама ты не своя.

— Ой, государь-батюшка, — ответила дочь, — да с чего это ты на меня напраслину взводишь? Никакой у меня думы на сердце не

лежит, кроме одной — чтобы тебе во всём удобной быть.

— Да, говори! — пошутил Семён Фёдорович. — Ваше девичье дело отлётное: у отца живете, а сами так на сторону и смотрите.

— И с чего это ты, батюшка, взял? — попробовала протестовать Ганночка. — Кажись, никто за мной ничего не заметил.

— Знаю я вас, девок, видал на своём веку-то! Приглянется вам сатана пуще ясного сокола, вот и томитесь, и не знаете, что с собой делать. Ну, да что ж, так уж вам Богом положено. Ежели люб кто — говори прямо; посмотрю, кто такой, и, коли мало-мальски подходит, перечить не буду, с Богом — честным пирком да и за свадебку. Пора и мне, старику, внученков понянчить...

Краска залила щёки молодой красавицы, когда она услышала такой разговор отца. Она смутилась, готова была плакать, но когда, оставшись одна, спросила себя самое, что же с ней в самом деле такое, но подыскать ответа не могла. Двое были пред ней — Разумянский и Агадар-Ковранский. Один нравился ей, другого она боялась. Но её девичье сердце — по-

чему именно, Ганночка и сама не знала, — больше лежало ко второму, чем к первому. Но всё-таки это были лишь внешние чувства, весьма далёкие от какого бы то ни было намёка на любовь. Когда Ганночка начинала думать о них, то её сердце молчало. Ей припоминался тогда не Разумянский и не Агадар-Ковранский, а кто-то третий, тот, кого она видела в клубах синеватого дыма около разведённого старухой Асей костра. Этот неведомый образ врезался в её память, запечатлелся в ней, и хотя тот молодец далеко уступал и поляку, и русскому князю, но всё-таки он почему-то был мил девушке и постоянно царил в её мечтах.

Время же не шло, а летело. Стаяли последние снега, зазеленела земля, птички весело и радостно защебетали; пришла весна благовонная, и непонятною истомою наполнилось сердце Ганны...

Случилось же так, что как раз в это время сразу напомнили о себе и пан Мартын Разумянский, и князь Василий Лукич Агадар-Ковранский; они напомнили о себе тогда, когда о них и вспоминать перестали в Чернавске, у

воеводы Семёна Фёдоровича.

От пана Мартына прибыл к воеводе Грушецкому посланец. Это был любимец Разумянского, литовец Руссов. Он приехал якобы для того, чтобы исполнить долг вежливости и осведомиться, благополучно ли добралась ясновельможная панна Ганна до своего батюшки.

Семён Фёдорович был от души обрадован этим появлением посланца. В нём сказывалась польская кровь, и он любил этих аристократов славянства, как называют теперь поляков; ему не претили ни их напыщенность, ни ходульность. Руссова он принял как самого дорогого гостя, и, конечно, между ними только и разговору было о дорожном приключении, в котором сыграла такую большую роль Ганночка. Руссов умел и прихвастнуть, и поналгать с три короба и изобразил князя Василия лютым зверем, которого отнюдь не жалко было бы убить.

Грушецкий, слушая его, только головой качивал да пыхтел от негодования.

— Бок о бок с моим воеводством живёт, и у меня на него руки коротки? — воскликнул

он. — Уж попался бы он, так я показал бы ему, как лютовать. Он у меня по струнке ходил бы и пикнуть не посмел бы.

Руссов, заметивший это негодование старика, постарался распалить его ещё более и, конечно, при этом расхваливал Ганночку, рассказывая, как она заступилась за лесовика Петруху и смело бросилась защищать пана Мартына Разумянского от неистовой лютости князя Василия.

Семён Фёдорович слышал этот рассказ по-иному, но так как Руссов успел внушить ему предвзятые мысли, то он больше верил его рассказам, чем сообщению провожавших его дочь холопов.

Руссов пробыл немного больше суток и уехал, оставив по себе наилучшие воспоминания. Вскоре после него прибыли послы и из поместья Агадар-Ковранского.

Впечатление от этого посольства было другое, обратно противоположное. Они были посланы не самим князем Василием, а его тётушкой Марьей Ильинишной. Уже это одно неприятно подействовало на Семёна Фёдоровича. Присланы были холопы, и Грушецкому

показалось, что подобное посольство было направлено к нему с целью нанести ему обиду. Присланные не сумели объяснить, что князь Василий настолько болен, что даже и не знал об этом посольстве. Они били воеводе поклоны и в один голос твердили, что государыня-тётушка князя, Марья Ильинишна, приказала благодарствовать да ещё о здоровье воеводы и боярышни спросить. Да сверх того наказывала она сказать, что приедет, дескать, вскоре в Чернавск сам князь Василий Лукич, так пусть де его воевода примет честно, как то подобает его княжескому роду.

Эта передача поклонов Марии Ильинишны неумелыми холопами не на шутку оскорбила Семёна Фёдоровича. Он так разобиделся, что даже не стал угощать посланных, а приказал только покормить их да поскорее отправить за околицу — пусть, дескать, себе едут назад, злом его, воеводы, не поминая.

Ганночка, конечно, знала и о том, и о другом посольствах и тоже несколько обиделась. Ей хотелось бы, чтобы приехал к ним сам князь Василий, а присыл холопов показался ей как бы подчёркиванием того, что Грушец-

кие стоят ниже Агадар-Ковранских. Однако, несмотря на неудовольствие, ни отец, ни дочь ни словом не обмолвились о своих впечатлениях и не упоминали о посланцах князя Василия, как будто их и вовсе не было. А тут из Москвы вдруг был прислан гонец с приказом Семёну Фёдоровичу ехать к царю государю, чтобы сказать ему, каковы дела в Чернавске.

Сильно обрадовался этому Грушецкий. Такое приказание было своего рода снятием опалы с него и открывало ему путь к повышениям.

— Вспомнил государь меня, вспомнил! — говорил он. — Понадобился и я ему. Что ж, поеду, нимало не медля, предстану пред его светлые очи. Только Агашеньки своей теперь одной не оставлю здесь. Пусть голубушка со мной едет! Надо и ей на Москву посмотреть; не всё ей в здешней мурье киснуть! На Москве, может быть, и жених хороший найдётся.

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ



Одительское сердце не обманывало Семёна Фёдоровича. Если не серьёзная опасность, то, во всяком случае, не особенно приятная встреча была близка к его дочери. В то самое время, когда Грушецкий собрался в Москву, к Чернавску чуть не стрелою летел влюблённый князь Василий. Он так жаждал встречи с полюбившейся ему Ганночкой, что ему казался бесконечным путь от его поместья до Чернавска.

Отца Кунцевича с ним не было, тот отпустил его одного. Вероятно, это входило в планы иезуита, так как, отпуская князя, он обещал непременно ожидать его на пути и уже вместе с ним отправиться в Москву, если только не будет ему удачи в сватовстве.

Отец Кунцевич добился своего. Тётушка Марья Ильинишна дала ему грамотки к своим московским родичам, в числе которых оказались большие благоприятели с наставником царских детей, киевским монашком, дворцовым пиитом Симеоном Полоцким.

У иезуита даже глаза заблестели, когда он услышал это хорошо знакомое ему имя. Это была такая зацепка, что он мог считать задуманный план выполнимым с полнейшим успехом. Крепко зашил отец Кунцевич полученные от Марьи Ильинишны грамотки в нагрудный мешочек и отбыл, благословляемый всеми чадами и домочадцами лесного поместья, видевшими в нём избавителя от лютой князя.

Агадар-Ковранский же мчался с преданными ему холопами в чернавское воеводство. Разные думы вихрем метались в его голове; опять возвращалась к нему прежняя своевольная лютость; недавнее смирение как рукой сняло, и нарождалась даже ещё большая свирепость.

"Уж если только не отдаст за меня этот старый хрыч Грушецкий Агашеньки, если и ме-

ня осрамит, как его дед моего деда осрамил, так я всё его чернавское воеводство разнесу. Жив не буду, ежели не сделаю так!.. Всё равно мне погибать без Агашеньки, света моего".

Однако у чернавского воеводы были свои приспешники, приручѣнные словом и добрым, и ласковым. Они уведомили его, что вырвался на волю хищный волк князь Василий и направил лет свой прямо к нему.

Отеческим чутьѣм догадался Грушецкий, чего нужно князю. Наскоро собрал он свою ненаглядную Ганночку в путь-дорогу, окружил её нянюшками-мамушками, сенными девушками, отобрал наиболее преданных холопов и, опять поставив во главе старого Серѣгу с Федюнькой, отправил всю эту многочисленную компанию на богомолье в дальний монастырь, а сам остался в одиночестве поджидать незваного гостя.

"Уж я употчую его! — думалось Семѣну Фѣдоровичу. — Поздно хватился, сокол ясный. Не холопов бы с поклоном да с челобитьями посылать, а самому бы явиться да смиреннѣхонько просить, чтобы я его пожаловал, дедовские обиды ему простил. Ну, а теперь-то

пусть покрутится. Чернавск — не лесная трущоба, здесь не разгуляться ему; живо укротить сумею!"

А князь Василий, прискакав в Чернавск, кинулся к воеводскому двору. Разлетелся он со своей оравой — глядь, а ворота заперты и стража около них стоит.

— Эй, отворите! — закричал он с коня. — Нужно мне к воеводе по спешному делу.

Старший из стражников, словно нехотя, спросил:

— С Москвы, что ли, будешь?

— С какой там Москвы? Сам от себя! Говорю, что воеводу нужно видеть. Пусть встречать выходит.

В ответ ему раздался смех.

— Чего гогочете? — не помня себя от бешенства, замахал нагайкой князь. — Биты, что ли, давно не были? Так вот я вас! — и он, соскочив с коня, кинулся к наибольшему стражи.

— Ну-ну! — легонько отстранил тот его. — Ты, добрый молодец, полегче! Ведь мы — люди царские, нас всякому бить нельзя, на то у нас свои начальники есть. А ежели не пуца-

ем мы тебя, так ты нас не вини: не велено самим воеводою пущать. Ежели из Москвы кто гонцом, так это — другое дело, а ты вон сам от себя.

Чуть не в первый раз в жизни князь остановился, не зная, что делать. Хотя он и грозил разнести весь Чернавск, но эта угроза только сторяча была, просто обычный пыл сказался. Ведь всякое насилие тут было бы бунтом против царского величества, а за такие дела в то время не миловали.

Пока Агадар-Ковранский стоял, недоумевая, как ему поступить, двери воеводского дворца распахнулись, и вышел сам Семён Фёдорович в полном парадном одеянии воеводском: тканом кафтане, длиннополом летнике, в высокой шапке. Оглядевшись вокруг гордым взором, он уставился на молодого князя, стоявшего у нижней ступеньки крыльца, и крикнул:

— Что за шум? Эй, стража, что случилось?

— Государь-батюшка воевода, — закланялся набольший стражи, — не нас, а вот его суди, — указал он на князя Василия. — Пришёл он неведомо откуда и будто за разбойным де-

лом. Говорит, что сам от себя и тебе о чём-то бить челом желает.

— И не с челобитьем я пришёл, — закричал снизу князь Василий. — Незачем мне, природному князю Агадар-Ковранскому, к мелкопоместному столбовому дворянишке с челобитьями ходить.

— А, так это — ты, князь Василий Лукич? — почти ласково заговорил Грушецкий. — А я-то и не знал того. Ну чтоб тебе уведомить меня? Иду, дескать, в гости! Тогда бы и приём был другой.

Он сделал вид, что не расслышал дерзости пришельца, протянул к нему руки, а между тем не сделал ни шагу вперёд.

Агадар-Ковранский был весь красен от душившей его злобы. Он весь дрожал, вспоминая, что вот так же, как он теперь, пред отцом этого старика стоял его дед, выданный головою на бесчестье.

Грушецкий словно не замечал, какие чувства волнуют его незваного гостя.

— Милости же просим, князенька, — ласково заговорил он, — уж что поделать: назвался груздем — полезай в кузов! Наехал в

гости, иди в дом к хозяину, не погнушайся. Время теперь такое, что обед на столе. Откушай моего хлеба-соли, да кстати я тебя за любезную мою дочь Агафью Семёновну поблагодарю. Жаль, что вот только нет её здесь: услал я её к дальним угодникам на богомолье. Ну, да всё равно — мою благодарность примешь.

Словно обухом по голове ударили его слова князя Василия.

"Услали, — подумал он, — пронюхали про меня, окаянные, и встретиться с нею мне воспрепятствовали! Видно, и сватовство моё отвергнуто будет. Нечего тут и голову ломать, и поклоны бить, и дедовскую ссору покрывать не стоит. Всё пропало... Ещё больше стало зла, чем прежде. Эх, и крыжицкого попа около меня нет, некому посоветовать, как мне быть тут и на своём поставить".

Князь Василий почувствовал, что его горло перехватывает нервная судорога. Он вскочил в седло и, взметнув нагайкой, погрозил ею в ту сторону, где совершенно спокойно стоял Грушецкий.

— У-у, проклятые! — вырвалось у князя, а потом он, передёрнув поводьями, круто по-

вернул коня, ударил его нагайкой так, что на бедре остался кровавый след, и неистово помчался от воеводского крыльца. Его холопы, растерянные и смущённые, последовали за ним.

— С чего это он? Что с ним? — развёл руками Семён Фёдорович, как бы говоря сам с собою. — Уж не ума ли рухнулся? Не дай Бог, ежели лютая хворость какая возьмёт. Ведь из князей Агадар-Ковранских он последний, знатный род с ним пресечётся.

Так он говорил для людей, а сам думал: "Нет, скорей на Москву ехать, а то ещё беды натворит этот сорвиголова. Хорошо я сделал, что Агашеньку услал!".

XXXV
НА МОСКВУ



Ока это неожиданное горе разразилось над Головою князя Василия, иезуит отец Кунцевич добрался до того перепутья на дороге в Москву, где он условился свидеться с Агадар-Ковранским. Это был небольшой посёлок, в котором редко останавливались проезжие, и потому отец Кунцевич мог быть вполне уверен, что никто ему не помешает день-другой отдохнуть от всего того, что он пережил в эти долгие дни. А в отдыхе он действительно нуждался.

С самого того момента, когда он расстался с Разумянским, этот человек необыкновенной выдержки, преданный фанатической идее всемирного господства папизма, жил в исключительном нервном напряжении. Уди-

вительно, как могли выдержать его нервы столько дней искуснейшего притворства! Во всё время нахождения при Агадар-Ковранском отец Кунцевич сплошь играл. Он ненавидел русских за то, что они были схизматиками и не покорялись царствующему Риму; он желал, чтобы и тогда уже громадный народ, весь целиком по учению его религии осуждённый на загробные мучения, так или иначе признал Рим главою всех помыслов своей души и обратился в послушное стадо римского первосвященника.

Этой идее отец Кунцевич служил с пылким фанатизмом, забывая, что, прежде чем стать католиком и иезуитом, он сам ещё во чреве своей матери был славянином, таким же славянином, как и те, которых он так яростно ненавидел. Может быть, эта ненависть исходила из того, что отец Кунцевич был страстным патриотом, слепо любил свою Польшу и не замечал того, что это могучее государство заметно разлагалось и теряло свои недавние богатырские силы, тогда как силы Москвы всё возрастали, и погибавшей Польше всё чаще приходилось терпеть поражение.

ния.

То время, которое иезуит предполагал пробыть в попутном посёлке, давало ему возможность сбросить все личины и таким образом освежить силы своего духа для предстоявшей ему борьбы.

Он приехал в посёлок около ночи. Князь Василий оказался настолько предупредительным, что послал сюда слуг, и в одной из просторнейших изб посёлка иезуиту был приготовлен ночлег, где он мог остаться один с самим собою, со своими думами.

Закусив с дороги, отец Кунцевич растянулся на мягкой постели из сена и хотел было заснуть, но сон бежал прочь. Возбуждённый мозг иезуита не хотел покоя и работал с обычной быстротой. Почувствовав, что сна нет, отец Кунцевич подошёл к окну. Была чудная летняя ночь; немая тишина стояла вокруг посёлка, луна серебрила поля, из лесу неслись ароматы, но отец Кунцевич словно не замечал ничего этого.

"Да, да, — думал он, — женщины в таких делах — великая сила, и если этой красивой девчонке суждено послужить на вящую славу

Божию, то да послужит она, я заставлю её идти желаемой для меня дорогой. Она сама даже не будет этого замечать и пойдёт, куда я направлю её. Да она и не может не пойти: ведь в её жилах течёт кровь её польских предков, добрых католиков, и я заставлю её быть проповедницей истинной веры среди этих обречённых аду схизматиков. Напрасно этот дикий зверь, — вспомнил он про Агдар-Ковранского, — мечтает, что я для него стараюсь. Уж отказ-то он получит. Мой расчёт несомненен, и мне нужно, чтобы он получил его. Он влюбился в эту красивую девчонку и пусть себе пылает! Чем сильнее будет его страсть, тем крепче я удержу её в своих руках. Он будет для неё дамокловым мечом, и я повешу этот дамоклов меч на волоске над её красивой головкой. Если понадобится, я без сожаления ради вящей славы Господней оборву этот волосок, и меч поразит ослушницу. А ежели мой безумец-князь выйдет из моего повиновения, осмелится противиться мне или хоть смутно поймёт те ходы, какие делаю я, стремясь к своей великой цели, то у меня всегда остаётся в запасе Разумянский, который

ненавидит теперь этого русского волка и делает всё, чтобы загладить позор своего поражения. Когда мне будут не нужны этот русский волк и польский гусёнок, я сведу их, и они уничтожат друг друга. — Да-да, это так, в моих расчётах не может быть ошибки. Лишь бы мне-то самому не изменить своей роли!.. Плохо, что я начинаю уже уставать. Подъятое на мои плечи бремя давит меня, дела же впереди много".

Иезуит оборвал свои мысли и несколько времени смотрел в окно. Однако прелесть и тишина дивной ночи, казалось, вовсе не действовали на этого человека: его душа ярилась, мозг по-прежнему был погружен в бездны всевозможных хитросплетений.

"Что же я должен делать там, на Москве? — задумался он. — Прежде всего я, конечно, должен пробраться в покои московского царя. Он умирает, это мне известно доподлинно, однако смерть можно приблизить или отдалить, и я посмотрю что будет выгоднее. Но старый царь Москвы ни на что не нужен мне, мои ходы должны быть направлены на его сына-наследника. Я знаю, что этот юно-

ша — воск мягкий, и из него можно делать всё что угодно. Его можно направлять в любую сторону, и он должен послушно идти туда, куда я пошлю его. Вот для того-то, чтобы управлять им, как мне нужно, я и приобретаю средство. Оно уже в моих руках, и в них же скоро будет и наследник московского царства. Но что там? Кто там?" — вдруг оборвал себя он.

Не сужден был отцу Кунцевичу желанный отдых. До его слуха ясно доносились стук копыт и фыркание лошадей. Скоро на поле замелькали фигуры всадников. Иезуит понял, что это спешил к нему возвращавшийся из Чернавска после своей неудачи князь Василий.

Да, он не ошибался. Агадар-Ковранский с малыми передышками промчался весь немалый путь. Усталость хотя несколько умерила его гнев, но зато ещё сильнее чувствовалась обида. Он спешил к человеку, которому одному на всём свете верил, от которого одного ждал совета, способного успокоить его. Личина уже снова была на отце Кунцевиче, так как этот фанатик идеи никогда не давал себя

застать врасплох и не терялся даже тогда, когда ему приходилось действовать экспромтом. Князь Василий ещё не успел подскочить к избе, как отец Кунцевич уже очутился на её крылечке и приветливо замахал рукой навстречу ему.

— Что случилось? — торопливо спросил иезуит, когда князь соскочил с коня. — Или неудача, или ты, милый сын, не застал в Чернавске воеводы?

— О-о-о!.. — почти застонал князь. — Будь они все прокляты там. Пусть этот негодный старик попадёт в ваше католическое пекло, и там его разорвут на клочки ваши дьяволы.

Отец Кунцевич принуждённо засмеялся:

— Ого-го, я вижу, что случилось нечто особенное, и теперь жалею, что не поехал с тобою. Но оставим пока это! Иди в мой приют, дорогой князь. На столе осталось кое-что от моей скромной трапезы. Подкрепи сперва свои силы телесные, а потом расскажешь мне всё, что так огорчило тебя. Иди же, иди скорей! Видишь, эти простые люди проснулись, разбуженные тобой. Пусть они идут себе с Богом, а ты успокойся.

Действительно, шум от появления нескольких всадников разбудил почти всё население маленького посёлка. Но князя Василия здесь знали, и стоило ему только прикрикнуть погромче, как все поспешили разбежаться под свои кровли.

Глядя на спокойное лицо иезуита, князь почувствовал облегчение; но, когда он, отказавшись от еды, осушил несколько стаканов вина, кровь ударила ему голову, и он бурно рассказал отцу Кунцевичу всё, что произошло в Чернавске. Тот довольно спокойно выслушал его рассказ.

— Ну, что ты мне скажешь, поп? — быстро спросил князь. — Что делать мне теперь? Подскажи мне, как я должен мстить за новую обиду?

— Прежде всего скажу тебе, сын мой, — проговорил иезуит, после некоторого раздумья, — что для тебя ничего не потеряно. Ты сам виноват, сам себе всё испортил. Грушецкий — старик, про тебя же далеко не хорошая слава идёт. Как мог он пустить тебя к себе, не зная, зачем ты заявился? А ты ещё прилетел, как вихрь, нашумел, набуянил. Да разве гости

делают так?

— Я не мог стерпеть, — отозвался князь Василий, тем не менее понурясь, так как чувствовал всю справедливость замечания отца Кунцевича.

— Ага, — воскликнул тот, — вот теперь ты и сам сознаешь это! А теперь подумай-ка: ведь воевода не гнал тебя; сам же ты рассказываешь, что он звал тебя к себе хлеба-соли откусывать. Я ваши обычаи хорошо знаю; этим Грушецкий как бы показывал, что никакого зла на тебя не держит. А ты?

— Да как же; звать-то он меня звал, а вперёд шага не сделал. Заставил меня внизу под собой стоять. Это не обида, что ли?

— Ну, какая же это обида? — наставительно заметил иезуит. — Грушецкий — старик, а ты молодой. Так не воеводе же было к тебе идти, а ты к нему должен был пойти на зов.

На этот раз князь ни слова не сказал — ему опять пришлось согласиться с доводами отца Кунцевича.

— Так вот и пеняй, милый мой друг, на самого себя и старайся поправить дело своего сердца! — произнёс иезуит,

— Да как, как? — пылко вскрикнул князь.

— Да так! Вот ляжем-ка мы теперь спать; ведь утро вечера мудренее, а завтра с тобой проснёмся и поедem на Москву. По дороге обдумаем, как твоё дело поправить, а на Москве, что надумаем, то и исполним.

Проговорив это, отец Кунцевич зевнул и побрёл к своему ложу.

XXXVI

ДУМЫ ЦАРЯ-ПРОФЕССИОНАЛА



И зенькие покои царских палат в Московском Кремле были пропитаны удушливым смрадом перегорелого лампадного масла да терпким запахом всяких лекарственных трав. Сильно был недужен "горазд тихий" великий царь-государь московский и всяя Руси Алексей Михайлович. Совсем ещё не стар он был — ему шёл только сорок седьмой год, а

"сырая натура" давала себя знать. Да и далеко не спокойна была жизнь "горазд тихого" царя. Он любил покой и порядок, свято верил в своё великое назначение на земле, всегда старался быть справедливым, был прекрасным семьянином, но словно злой рок тяготел над ним.

Страдая душой, видел Тишайший, как вокруг него грызлись жадные до власти бояре. Милославские, царская роденька по его первой жене, Марье Ильинишне, грабили народ, спускали с нищих шкуры, отняв у них сумы. Тиха и кротка была покойная царица, не в роденьку алчную вышла и совсем под пару Тишайшему оказалась, да вот взял её, праведницу, Господь — видно Ему там, в горних селениях, такие-то нужны!

Не раз вздыхал больной царь, вспоминая свою свет-Машеньку покойную и сравнивая её с такой "бой-бабой" какою была его вторая жена, Наталья Кирилловна.

Совсем не московского уклада была эта женщина. Прирубешная вольная жизнь сказалась в ней. Такой царицы никогда в Москве не было! Разве безбожница Маришка у Само-

званца такая-то была. Во все-то дела государевы она свой бабий нос совала, великого царя-государя учить пыталась, порядки такие развела, что не приведи Господи... Это царский сват Артамон Матвеев её науськивал да на всякие новшества попускал.... Вон что пошло: Васенька Голицын во дворец в куцем немецком платье осмелился прийти да ещё проклятым табачным зельем надымил... Ох, совсем последние времена наступили!

Ну, да табачное зелье и куцее платье пустое! Вон в Кукуе никто иного платья и не носит да табачным зельем чуть не мальчишки дымят, а худа от этого нет, и гром небесный никого не раздражает. Господь словно ещё посылает кукуевцам Свои неисчерпаемые милости! Каждый простец там не хуже столбового московского дворянина живёт, а бояре дворцовые на Кукуй-Слободу то за тем, то за другим частенько из своих палат посылают; добра-то там, видно, куда как много. Стало быть, не противны Господу Вседержителю ни камзолы с короткими полами, ни трубки с дымящим зельем, ни всякие иноземные новшества. Видно, всё, что у человека, всё — от

Бога.

А вот боярская грызня хуже всего; уж она-то от дьявола!

Прежде Стрешневы (матушкина роденька) с Милославскими (жениной роденькой) грызлись да гили разжигали, а теперь Нарышкины ввязались. Милославские да Стрешневы сыты, вдосталь напились крови народной, Нарышкины же ещё недавно беднотой были, а потому с голодухи-то так на народ накиннулись, что сколько ни кровопийству ют, а всё им мало.

И ненавистны же эти кровопийцы народные Москве! Не дай Бог гиль — по клочкам их народ разорвёт! И что только будет с государством, когда преставится он, царь-государь?

Тяжело вздыхал больной Тишайший; мрачные думы угнетали его утомлённый мозг. С ним-то, законным царём, все эти Стрешневы, Милославские, Нарышкины, Черкасские, Хованские, Морозовы, Ордын-Нащокины, Трубецкие, Пушкины считаются, а всё же ему, законному государю, куда как трудно управляться с ними! Круто их не повернёшь — недавно ещё Романовы на престол

московский сели, Тишайший всего только второй царь из их семьи. У бояр-то много и друзей, и приспешников прикормлено; ежели будет смута — Бог знает, кто верх возьмёт. Ему, царю, престол оберегать надобно, и всё он для него делает. Как он своего собинного друга, патриарха Никона, боярам головой выдал, на худую жизнь, сам, плача, обрёк, а разве бояре-то — псы, из-за кости грызущиеся, — поняли это, уразумели, какую великую жертву им государь принёс? Какое там! Только и притихли они, когда окаянный Стенька Разин государство на Волге потряс. За свои мерзкие шкуры они испугались и за царя попрятались, а как гроза прошла — опять за свою грызню принялись... Эх, Грозного бы поднять из могилы на эту грызущуюя сволочь[2]!.. Уж, он-то показал бы им, что такое есть на Руси царь-государь венчанный!

И, чем больше думал об этом больной царь, тем всё сильнее захватывал его ярый гнев — тайный гнев! Что бы ни было на сердце, а как придут людишки, показывай им радостное лицо, глубоко таи, что думаешь. Эх, тяжелы вы, шапка и бармы Мономаха!

А на смену гневу всегда приходили сознание своего собственного бессилия и тоска, жестокая, гнетущая тоска. Но не о себе тосковал Тишайший, этот пассивный созерцатель, из которого в других условиях жизни по всей вероятности выработался бы могучий философ. Он, великий государь, повелитель жизни и смерти миллионов людей, властитель судеб огромнейшего государства, был венценосцем-профессионалом и честно выполнял свои обязанности, как тяжелы они ни были ему. Именно в силу этих профессиональных обязанностей он, могущественный, обладавший всею полнотою власти, был в то же время рабом каждого ничтожного выскочки, пробравшегося к престолу хотя бы окольными путями. Царь Алексей знал, что такое власть, и скорбел за того, кому должен был оставить её после своей смерти.

— Эх, Лёшенька, Лёшенька! — с тоскою и сокрушением вспоминал он своего второго сына, царевича Алексея Алексеевича, умершего на семнадцатом году своей жизни, — рано тебя Господь прибрал... Спокойно оставил бы я тебе царство своё! Уж ты-то унял бы бо-

ярские свары злые, ты прикончил бы их грызню! Вот Софьюшка, доченька милая, такая же, да — жаль! — девкой родилась. Для государева дела в девке какой прок? Много их, девок-то, у меня наложено: Авдотьюшка, Марфинька, Софьюшка, Катенька, Марьюшка, Фёдорюшка первая покойной Машеньки, касатушки моей, да Фёдорюшка вторая от Натальюшки, да Федосьюшка ещё, да свет-Наташенька предпоследняя, — считал по пальцам государь своих дочерей, даже не вспоминая об умершей в младенчестве "второй Авдотьюшке", последнем его ребёнке от царицы Марьи Ильинишны, о малолетках-сыновьях Дмитриии, его первом ребёнке, и Симеоне.

О царевиче Алексее Алексеевиче Тишайший вспоминал всегда с особенной тоской. Это был юноша, казалось, самой судьбой предназначенный властвовать. Представительный с твёрдым, как камень, характером, он и подростком наводил на бояр такой страх, какой никогда не заставлял их испытывать его кроткий отец.

В московском народе, неведомо какими путями — может быть, именно тем, что умел

пристрастить кровопийц-бояр, — царевич Алексей приобрёл большую популярность. Последняя быстро распространилась по всем уголкам царства, и Стенька Разин был обязан своими успехами тому, что распространил на Волге слух, что царевич Алексей вовсе не умер, а был вынужден бежать из Москвы от боярских злоумышлений и он де, вор Стенька, сбивает народ только на защиту гонимого боярами царевича.

Раз вспомнив о покойном сыне, царь вспомнил и о живых сыновьях.

— О-ох! — вздохнул он. — Всем хорош Фёденька-то мой: и разумен, и добр, и всякой премудрости обучен, вот ежели, Бог даст, выживу, пошлю его будто в посольстве за рубеж, пусть посмотрит да поучится, как там добрые люди живут! И хороший из него царь выйдет: на своём он поставить сумеет, когда же нужно, то и поклониться народу православному не затруднится, а вот поди ты — здоровьем слаб: хилый он да сырой, как и я. Не многие лета протянет и Иванушка, дурачок блажененький. Уж где на этого царство оставить? Ведь его самого без надёжного глаза ни на ма-

люю минуточку оставить нельзя. Вот разве последыш мой? — И при воспоминании о "последыше", царевиче Петре Алексеевиче, хорошая улыбка так и расплылась по широкому лицу царя. — Вот бы кому на царстве сидеть! Ничего, что ему только четвёртый годок идёт, а видно сокола по полёту. У-у, буян милый! Не дойдёт только до него царская чреда! Фёдора женить нужно, дети-наследники пойдут, а Петруша, огонь-царевич, в стороне останется... Поздно родился он... последышек милый! А уж кабы он только сел на царство, лихо пришлось бы и Стрешневым, Милославским, и всей остальной боярской сволочи! Грозный царь из него вышел бы! Вон и девки тоже выходят ой-ой какие бунтарки ядрёные! Сонюшка им всем на покрывало, да и Марфинька с Марьюшкой ей не уступят. А Сонюшка-то милая — совсем царь-девка; в пору входит, на Ваську Голицына заглядываться начала. Ох, доченьки, доченьки! И зачем вы у меня народились, себе не на радость? Сколь бы вы красивы ни были, сколь бы вам Господь ума ни дал, а придётся вас всех по монастырям распихать. И умрёте вы, женского счастья не ве-

дая!

XXXVII

ИНТРИГАНЫ СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ



Е раз и не два, а постоянно, терзали и угнетали Тишайшего такие думы. А кругом него бурлило море боярских интриг.

Не умер ещё царь, просто недужил, а окружавшее его алчное воронье дралось из-за будущей добычи. Чували эти стервятники в близком будущем труп, и не было на них никакой управы. Все их помыслы вились около юного наследника.

В особенности волновались Милославские, эти дворцовые выскочки, сознававшие, что всё их призрачное могущество висит на волоске. Илье Милославскому юный наследник приходился внуком, и этот боярин-выскочка считал, что у него лично все права на наи-

большие почёт и власть.

— Совсем несмыслёнок царевич-то, — не раз говорил Илья Данилович, — дитя малое! Нельзя ему без опоры оставаться, а кому же при нём и опорой быть, как не нам, родному его деду! — И, цепляясь за могущество, плёл паутину интриг этот старик, стоявший у самой могилы. — Да, да, — шамкал он беззубым ртом на своём смертном одре, — наше пусть при нас и остаётся. Не выпускайте царевича!

Умер старый интриган и во главе его рода стал боярин Иван Михайлович Милославский, более молодой, более энергичный, предприимчивый и с ещё большей жадностью добивавшийся власти. Он ясно сознавал, что вовсе не так близок к царской семье, как Илья Данилович, и старался держаться в тени, выжидая того времени, когда замутилась вода в московском государстве и можно будет половить в ней для себя всякой жирной рыбки.

Укрепляясь в своём положении, хитрый Иван Милославский оставил в покое недужного царя и ткал свою паутину около юного царевича, стараясь только пока ослаблять влияние Нарышкиных да создавать себе по-

пулярность в московском народе и главное — среди его чёрных сотен, в которых всегда были наиотчаяннее гилевщики, не считавшиеся ни с какой властью.

Этих буянов и Иван Михайлович, и сплотившиеся вокруг него родственники, и вообще все приспешники и "жильцы", прихлебатели этого рода, старались всеми силами натравливать на новую царскую роденьку — Нарышкиных.

Это натравливание ни для кого в Москве не было секретом.

— О-ох, — говорили на площадях, — умри великий государь, остыть ещё не успеет, а литовчане мёртвой хваткой возьмут окаянных татарчат!

Род Милославских происходил от литовского выходца Вечеслава Сигизмундовича, прибывшего на Москву в свите Софьи Витовтовны, невесты великого князя Василия, впоследствии "Тёмного"[3]; мелкие же дворяне Нарышкины, как уверяли старинные родословные, происходили от крымского татарина-выходца Нарышки, осевшего в Москве с 1463 года. Оба эти рода за свою чрезмерную

алчность в выжимании соков народа были нетерпимы и ненавидимы в Москве. От их первоначальных предков и пошли прозвища их придворных партий: "литовчане" и "татарчата". Однако Милославские всё-таки были более любы народу, чем новые живодеёры Нарышкины, и долгое время на старой Москве слово "нарышкинец" было чуть не бранным.

Повинным в такой народной неприязни, скоро перешедшей в ненависть, был Кирилл Полуэктович Нарышкин, отец второй супруги царя Алексея. Он, будучи внове в придворном омуте, интриговал неумело, раздражал дворцовых бояр своею заносчивостью, не только держал руку нелюбимого в Москве ярого западника Морозова, но и подражал ему во всё. Его видели открыто курящим трубку, он подстригал себе бороду, осмеливался появляться в немецком короткополом платье. Всем этим пользовались Милославские и распаляли чернь, подчёркивая ей эти новшества как измену вековой дедовщине, которой, по всенародному убеждению, была "Москва крепка".

Впрочем, Кирилл Полуэктович мудрил

недолго. Новая жизнь, полная всяких непривычных излишеств, быстро сломила его. Он умер, а его сыновья — Иван и Лев Кирилловичи, пожалованные вместе с четырьмя отдалёнными родственниками в бояре, ударились в омут интриг, действовали, ничем не стесняясь, так что народная ненависть к ним всё разрасталась. Только уважение к больному царю удерживало чернь от гили и расправы с Нарышкиными.

А молодые братья царицы будто и не замечали этого. Они упивались своим построенным на песке могуществом, озорничали, безобразничали, пользуясь тем, что не до них было угнетённому недугами царю. А их сестра-царица, любившая их как сверстников своего невесёлого детства, покрывала их во всём, и, выходя сухими из воды, Нарышкины тем самым ещё более распаляли народную ненависть.

Были, конечно, и другие честолюбцы, точно так же мечтавшие о власти, но они были сортом помельче и, кроме одного Матвеева, царского свата, никакого значения не имели. Они все были "поддужными" у набольших. Из

них Милославские и Нарышкины вербовали своих сторонников. Да они и не домогались высшей власти, для них было совершенно довольно того, что давала им близость к временщикам. Они могли озорничать, как угодно было их низким душам, насильничать, грабить в открытую.

Зато и били же их московские черносотенцы, эти постоянные носители народной свободы в тогдашнем московском государстве! "Чёрные сотни" тогда были своего рода сословием; они состояли из ремесленников, торговцев, вообще из людей личного труда, не связанных с землёй. Их развитие было несколько выше, чем развитие землепашцев, прикреплённых к земле. У них было своё управство: они составляли вполне определённую организацию, с должностными выборными лицами, со своего рода "общим собранием", которое и вершило все их общественные дела.

Правительство даже несколько заискивало у чёрных сотен, и от них были представители на всех земских соборах. Да и не мудрено: чёрные сотни, настроенные всегда протест-

ствующе, почти революционно, всегда готовые к бунту и всяческой гили, были силою, с которою нужно было считаться, в особенности потому, что стрельцы, эти в скором времени "преторианцы третьего Рима", были теми же черносотенцами и при частых гиях не раз принимали сторону последних.

Старые дворцовые интриганы знали это и заискивали у чёрных сотен, видя в них пособие к выполнению своих замыслов; молодые, напротив того, относились к живой стихийной силе пренебрежительно, ни во что не ставя её.

И не мудрено, что они имели такой взгляд. Ведь для всех этих "новых людей", вынесенных на высоту слепым счастьем и ещё недавно пресмыкавшихся в ничтожестве, царь на престоле всё ещё продолжал казаться земным богом, по слову которого свершается всё на земле. Они ещё не успели разглядеть в царе человека и верили в царское обаяние. Не замечали они и того, что царю, чтобы управлять хорошо, нужна сила не малая, так как кругом него море, вечно бурлящее и всегда настроенное враждебно против всякой вла-

сти. Другими словами, все эти выскочки были наивно уверены в полном могуществе права и были убеждены, что сила всегда смирится пред ним и что существует-то она только для того, чтобы осуществлять веления права.

Старые интриганы, уже достаточно наметавшиеся, ко всему приглядевшиеся, держались других воззрений и действовали соответственно со своими взглядами, стараясь захватить в свои руки и силу права, и дикую, силу физической мощи.

Среди выскочек, выброшенных на высоту слепым счастьем, особенно выделялся ненавистный народу своими новшествами царский сват — "Сергеич", как его звал Тишайший, или боярин Артамон Сергеевич Матвеев, человек — к несчастью для самого себя — немного опередивший свой век. Это был в полном смысле "западник", но западник разумный. Он брал на Западе лишь то, что считал хорошим, и старался пересаживать на свою родину "заморские обычаи", не ломая, впрочем, дедовщины. Он — да один ли он! — был уже свободен от многих старых предрассудков. Его дом точно так же, как и дом друго-

го западника, ещё молодого князя Василия Васильевича Голицына, был устроен на заморский образец. Это были своего рода "салоны" тогдашней Москвы. И к Матвееву, и к Голицыну съезжались москвичи помоложе; они судили да рядили не о том, как бы подковырнуть друга-приятеля, а о том, как живут за рубежом, какой король как там правит. Здесь готовились реформы, которые скоро без всякой ненужной и пагубной ломки внедрились бы в жизнь русского народа. Сюда запросто являлись знатные и незнатные иностранцы. Глава кукуевцев — Патрик Гордон — был здесь своим человеком...

Артамон Сергеевич был большим мастером и по части дворцовых интриг, но вёл их не грубо, а "по-европейски" с "подходцами". В глазах старых интриганов Милославских он был опаснейшим для них врагом, но поделаться они ничего не могли: царь был за Матвеева. Царь в одной из вспышек гнева даже за бороду оттаскал Дмитрия Милославского, осмелившегося похаить его "Сергеича". Милославские попритихли, выжидая того времени, когда без промаха можно будет взять мёртвой

хваткой и ненавистных им Нарышкиных, и худародного Артамона.

А тем временем около Тишайшего совершенно незамеченная никем зарождалась новая дворцовая партия, казалось, и надежды на успех не имевшая; это была партия "бой-девки", царевны Софьи Алексеевны.

XXXVIII

СЁСТРЫ-БОГАТЫРШИ И БРАТ-МЕЧТАТЕЛЬ



Вкого только уродились у "горазд тихого" царя Алексея Михайловича, в какого предка, близкого или далёкого, такие ненаглядные его свет-доченьки? Все как на подбор богатыршами вышли... Трудно было потом, многие годы спустя, справляться с ними даже всё гнувшему, всё ломавшему младшему их братцу Петру.

Царевны Марфинька да Марьюшка много крови ему попортили, а о той, кто, казалось, всем им на покрывку уродилась — свет-царевне Софьюшке, — и говорить нечего. Ту державный брат-сокрушитель и любил, и ненавидел, и даже в монастыре, за множеством затворов боялся её...

Богатырь была царевна Софьюшка, всем она удалась: и красотой девичьей, и умом не по-женски мужественным, и энергией несокрушимой. Ничего неизвестно о её потомстве, а что за могучие люди должны были быть её дети!

В ту пору, пред кончиной отца, царевне Софье Алексеевне было восемнадцать лет — родилась она в 1657 году. Такие годы для девушки того времени были половиной девичьей весны: рано тогда созревали красные девицы, а царевна Софья в свои восемнадцать лет казалась уже совсем взрослою и чуть ли не перестарком. Высока и статна она была — совсем богатырша с виду, вроде Владимировой Настасьи Микулишны, которой и пяти богатырей Красного Солнышка мало было на одну руку. Всё в ней складно было: и плечи могу-

чие, и грудь высокая. А её личико девичье так красиво было, что кто взглядывал на него, долго позабыть не мог. У неё были косы чёрные, жестковатые, до пят, брови под высоким и широким лбом крупные, соболиные, румянец здоровый, так жизнью и бивший, во всю щёку, крупные, словно постоянно жаждавшие огненных поцелуев, губы. Но самым чудным в царевне были её глаза с орлиным, пронизывающим взором. Они постоянно горели, лучились, переливались, своими лучами жгли, как остриями невидимых кинжалов, никогда никого не манили к себе, а властно приказывали. Они не сулили счастья, а говорили о муке среди блаженства, и вряд ли среди дворцовой молодёжи много было таких добрых молодцев, которые не были бы готовы безропотно умереть за одну мимолётную улыбку красавицы-богатырши.

Слабые, хилые сыновья Тишайшего — царевичи Фёдор и Иван, в особенности последний, и в сравнение не могли идти с этой величественной богатыршей, не признававшей над собою ничьей воли, не подчинявшейся ничьему влиянию, стремившейся гнуть всё и

всех.

К отцу она только снисходила, мачеху терпеть не могла, а по ней не могла терпеть и даже ненавидела всю её чрез меру зарвавшуюся родню. К своим родственникам по матери — Милославским — царевна Софья относилась свысока и так покрикивала на них, что те её как огня боялись. С сёстрами, в особенности с такими же, как и она, почти богатыршами, Марфой и Марьей, Софья была дружна, а на младшего брата, "нарышкинца Петрушку", она и глядеть не хотела, но только за то, что он был ненавистный ей "нарышкинец". Тут в этой царевне-богатырше уже сказывалась женщина: не будь Пётр сыном Нарышкиной, Софья боготворила бы его, как боготворила память брата Алексея, характером и внешнестью весьма походившего на Петра. Но в то время никакие честолюбивые помыслы ещё не будоражили этой юной души: другие бури бушевали в юном сердце, которому настала пора любить.

Царевич Фёдор Алексеевич, уже объявленный наследником престола, по складу своего характера был вылитый отец. Он был мечта-

телем, с тихой, кроткой, женственно-нежной душой. Грубые забавы претили ему. Напрасно старались молодые Милославские и их прихлебатели втягивать царевича Фёдора в безумные попойки — он чувствовал органическое отвращение к вину. Противны были ему и разные травли, которые часто устраивались на дворах важных бояр: он не мог переносить вида льющейся из свежих ран крови, вообще не мог видеть никакого страдания, а тем более, когда оно являлось потехою.

У его государя-батюшки была одна весьма любимая забава: в день Маккавеев, когда церковь совершается освящение вод, купать бояр, опоздавших к началу водосвятного молебна. Для такого купанья даже особый церемониал был выработан, и заранее назначалось, кому сталкивать в воду опоздавшего, кому следить, чтобы тот не утонул, кому принимать из воды. Многие бояре за честь для себя считали посмешить великого государя, барахтаясь в воде. Царевичу же Фёдору такое зрелище было противно, и он всегда старался отстраниться от него.

Не любил он и охоты соколиной, столь из-

любленной его отцом, но зато постоянно тянуло его в сад, в парк, в поле, где он мог быть один, любоваться Божьими цветочками, глядеть в далёкие небеса, как бы стараясь отгадать, что там такое кроется. Любил он вдыхать ароматы леса и поля, среди которых, обвеянный ими, он мог размышлять, зачем это так устроено на Божьем свете, что есть цари-государи, которым ничего нельзя, и есть жалкие смерды, которым всё можно. Это, пожалуй, были любимые думы юного царевича.

Женщины никогда не являлись предметом мечтаний царевича. Как ни старались окружавшие его придворные развратники просветить Фёдора Алексеевича относительно всяческой грязи жизни, и сам он, и его мечты оставались целомудренными. Может быть, это было потому, что Фёдор видел около себя лишь сестёр, которые для братьев — не женщины, а товарищи, мать да мачеху, потом разных мамушек, да таких женщин, на которых он с детства привык смотреть, как на близких себе, которых он и сам ни в чём не стеснялся и которые сами его не стеснялись...

Правда, иногда он подумывал о необходи-

мости для себя жениться, но и в этих думах о браке чувственность отсутствовала. Фёдор смотрел на брак, как на обязанность, и в будущей жене видел более доброго товарища, чем необходимую подругу милых бессонных ночей.

В этом отношении царевич Фёдор, более взрослый, уступал даже своему меньшему брату. В том говорили одни только инстинкты и, как всегда бывает у подобных субъектов, чувственность у царевича Ивана была не по возрасту повышена.

О предстоящей ему обязанности царствовать Фёдор Алексеевич думал с большим страхом и сокрушением. Как бы он был счастлив, если бы миновала его "чаша сия"! Ушёл бы он в святую обитель и жил бы там на полной волюшке, сам ни в ком не нуждаясь и сам никому не нужный. И зачем это взял Господь братца Алёшеньку? Уж тот не помышлял бы о монастыре. Как жаль, что братец Петрушенька столь молоденек! Не дожидаться, пока он подрастёт. А то, если бы Пётр в поре оказался, сдал бы ему он, Фёдор, всё царство! На что ему оно? На что ему призрачная

власть необъятная, когда он по своей воле без боярской указки и шагу ступить не может? Вот и отец хотел бы, чтобы Петруша, братец-последышек, царём был. И справедливо желание государя отца! Какой он, Фёдор, царь, когда далеки от царской чреды его помыслы!

"А скоро, скоро батюшка-государь преставится, — размышлял Фёдор, — со дня на день ждать нужно, и тогда волей-неволей нужно будет бразды правления принять... Эх, пожить бы ему, голубю, может быть, меня Господь раньше прибрал бы, тогда, минуя братца Иванушку, и приказал бы государь-батюшка царствовать брату Петру; правда, молод он ещё, ну, да пока в годы не войдёт, за него верные люди поправить могут".

Такие мысли всё чаще и чаще посещали голову наследника Тишайшего.

Однажды совсем нечаянно пришлось ему слышать потайной разговор своего отца с Артамоном Матвеевым. Утомлённый недугом царь лежал на своей высокой пуховой постели. Матвеев сидел около него на невысоком ставце (табурете), так что его голова приходи-

лась вровень с головой больного царя. Они беседовали, и ни тот, ни другой не слышали, как вошёл в покой царевич Фёдор. По своей скромности юный наследник остановился поодаль, не желая тревожить беседу и ожидая, чтобы государь первым сам заметил его. Так ему и пришлось слышать конец наставлений отца.

— Так слышишь, Сергеич, — произнёс слабым, прерывистым голосом Тишайший, — исполни, как говорю. Умру — попробуй так повернуть, чтобы Петруше царём быть; ежели сумом это сделать, так возможно... Пойми, что не в нарушение Божеского и дедовского закона о царском наследии приказываю тебе так, а потому, что и за сыночка Федю, и за всё царство московское боюсь. Очень большую силу мои грызуны-бояре взяли, Феденька не по ним царь. Им нужно, ежели не такого, как я, то такого, чтобы бил их нещадно и непрерывно, а Федя этого не может... Не то он у меня монах, не то красная девица...

Даже не дослушав конца беседы, поспешил уйти царевич Фёдор. Не было у него на сердце ни горечи, ни обиды, а радость была великая.

Мягкое сердце в слабой груди так и прыгало: авось так выйдет, как государь-батюшка желает.

Подстерёг царевич Матвеева, когда тот из царской опочивальни выходил, и, остановив его, робко заговорил:

— Ты, Сергеич, того... сделай, как батюшка-государь приказывал тебе.

— О чём ты, государь? — удивился Артамон Сергеевич. — О каком государевом приказе намекать мне изволишь?

— Да вот, слышал я, насчёт царства батюшка велел... Братцу Петруше, а не мне его откazujeвает.

— Ты слышал, государь-царевич? — вскрикнул поражённый боярин.

— Слышал, говорю... Да ты не бойся, Сергеич, я никому не скажу... А насчёт царства, пусть лучше Петрушенька будет; мне не надо, я не хочу. Какой я царь? Мне бы в обитель, Богу за вас молиться...

Смотрел поседевший в интригах боярин на смущённого наследника престола, и невольные слёзы проступили на его глаза, невольная дума бередила его мозг:

"Святая, чистая душа!"

XXXIX

СЛУГА ДУШИ И ТЕЛА



О и этого милого, кроткого, застенчивого юношу однажды опалило дыхание страсти, правда, не своей, а чужой, а всё-таки и он тогда понял, что есть на белом свете сила могучая, которая управляет жизнью человеческой более, чем холодный разум, чем сознание долга.

Это было в то лето, которое стало последним для Тишайшего царя Алексея Михайловича.

Около постели больного вдруг появился новый человек, немало пугавший всех семейных угасавшего царя своею замкнутой серьёзностью, своим несколько мрачным видом, а главное своей чёрной фигурой.

Он появлялся в царских покоях всегда внезапно, и царевич Фёдор знал, что его приводят к больному украдкой, через потайные двери перехода. Иначе было невозможно.

Этим мрачным человеком был иезуит Кунцевич, и в Москве поднялась бы гиль, если бы там узнали, что у православного царя-государя бывает "пан-крыжак".

Отец Кунцевич попал к больному царю через придворного пииту, наставника царских детей, разудалого монаха Симеона, по прозванию Полоцкого. Тот наговорил про него много всего хорошего. Выходило так, что отец Кунцевич хоть покойника оживить бы смог, такой де он дельный лекарь.

О таком премудром лекаре доложили царю, и тот пожелал видеть его.

Когда царевич Фёдор впервые увидел отца Кунцевича, он вдруг не на шутку испугался — так его поразила серьёзная мрачность этого человека. Отец Кунцевич в первый раз осматривал царя в присутствии наследника престола. Тут же был и Артамон Матвеев, единственный, на чью скромность в этом случае можно было положиться. Матвеев внима-

тельно следил за новым врачом, и отец Кунцевич произвёл на него хорошее впечатление.

— Знает дело лекарь-то! — шепнул он царевичу. — И слушает, и мнёт, как положено, и постукивает... Я их, лекарей-то, перевидал на своём веку. Все их ухватки знаю.

Царевич Фёдор тоже не спускал взора с нового лекаря. Его приёмы были совсем не те, которыми обыкновенно сопровождали свои осмотры и придворные лекари-немцы. Отец Кунцевич не шарлатанил, а действовал с простотою, но уверенно, и это производило впечатление на больного, для которого лекарские осмотры обыкновенно бывали сплошною мукою.

Покончив с осмотром, отец Кунцевич весьма почтительно, но без тени холопского подбострастия стал откланиваться.

— Я ничего сейчас не могу сказать о болезни его царского величества, — сказал он, — мне нужно всё сообразить, и только тогда я могу сказать свои предположения.

— Так, так! — добродушно одобрил его Тишайший, — торопиться нечего. Чай, не сей-

час помру.

— Совершенно верно, — спокойно ответил иезуит, — каждый человек в воле Господа, смерть всегда у нас за плечами, но я не думаю, чтобы роковой конец наступил раньше середины зимы. Я могу высказать это как предположение, а для более определённого сейчас у меня нет никаких данных...

— Спасибо за правду! — растроганно проговорил Тишайший, — вот если бы всегда мне так говорили, так, может быть, меньше я и обеспокоен был бы. А то врут все! Говорят, что ещё многие лета я жить буду, а сами знают, что меня смерть за ворот держит.

— Не совсем так, государь, — улыбнулся иезуит. — Но я уже сказал вам, что всё в воле Божией! Когда я приду в следующий раз, я с полной откровенностью выскажу вашему величеству своё мнение.

Он почтительно поклонился и пошёл к Матвееву, бывшему его проводником по дворцовым тайникам. Проходя мимо грустно глядевшего на него царевича, иезуит приостановился и тихо, но внушительно сказал:

— Вашему высочеству тоже весьма необхо-

димо лечиться, — после чего, сделав новый поклон, вышел вслед за Матвеевым из покоя.

— Ну что, как государь? — спросил его тот, когда они были довольно далеко от царской опочивальни. — Плох?

— Да, — ответил иезуит, — он проживёт недолго...

— Сколько? — воскликнул испуганный Артамон Сергеевич. — С год или более?..

— Нет, вряд ли его и на полгода хватит... Весь его нестойкий по природе организм уже расшатан и подточен недугом.

— Что же теперь делать? — совсем уже растерялся Матвеев.

— Лечить, и очень серьёзно, его наследника, — ответил иезуит, — царевич тоже недолговечен, но лечением можно продлить его жизнь. Если бы мне предложено было, — словно вскользь заметил он, — я взялся бы за лечение его высочества.

— Да как же это сделать? — с сердцем ответил ему Артамон Сергеевич. — Ведь буря поднимется, ежели только узнают, что ты, крыжак, его лечишь.

— Что же? Ради покоя я мог бы лечить его

тайно. Разве не может царевич бывать у своего учителя Симеона? Там мы и могли бы встречаться. Никто об этом ничего не узнал бы, а, может быть, мне удалось бы несколько укрепить силы этого бедного царственного юноши!

Пока отец Кунцевич говорил, Матвеев смотрел на него, не спуская взора. Как-никак, а это доброжелательство поляка до некоторой степени будило в Артамоне Сергеевиче подозрительность. Ведь отец Кунцевич был сыном страны, издавна враждовавшей с Москвой; короли этой страны считали Москву своим достоянием, и вдруг такая заботливость со стороны поляка о московском престолонаследнике!

Иезуит, должно быть, понял, какие мысли бродят в голове этого близкого царю человека, и с улыбкой произнёс:

— Не думает ли боярин о том, с чего это я принял на себя заботы о его государях? Такой ответ на это был бы весьма прост. Я — скромный служитель алтаря и ни в какую политику земных властителей не вмешиваюсь. Я — Божий, а не земной... Для меня все люди

на земле — дети одного Отца — Творца неба и земли, а потому я, видя, что молодое существо хиреет, и спешу на помощь к нему с теми познаниями, которыми умудрил меня всемогущий Господь!

Матвеев внимательно слушал эту речь иезуита, но вряд ли верил хотя бы одному его слову.

"Да, да, — думал он, — знаем мы, что ты за птица!.. И твоих песен хорошо слышаны. Слыхали таких-то! Чёрные вы вороны. Турнуть бы тебя следовало, да вот лекарь ты и в самом деле знающий. Свет-государя тебе не поднять — не Бог ты, а Феденьку полечи, за чем ему пропадать. Пусть поживёт во славу Божию! Пока я тут поблизости, и не такие, как ты, козлы не страшны, а умру я — так уж Божья воля будет".

Заметив, что отец Кунцевич вопросительно смотрит, Артамон Сергеевич круто оборвал свои мысли и сказал:

— Что же, если умудрил тебя Господь, то и нам от твоей помощи нечего отказываться. Сделаешь доброе дело — без награды ни на небеси, ни на земли не останешься... А насчёт

мниха-пиита ты хорошо придумал. Ходить ты будешь будто к нему, туда же я и царевича приведу.

Знаменитый дворцовый пиита, поэт-лауреат того времени, черноризец Симеон Полоцкий жил в одном из дворцовых флигелей. На смиренного инок он был похож разве только по платью. Это был весёлый, жизнерадостный старик, всегда готовый и гульнуть с добрыми приятелями, и попить "до положения риз" зелена вина, и попеть под гусли или бандуру не одни только церковные песнопения, а подчас, когда не было в кружке лишних глаз, готовый, подобрав полы рясы, пуститься в отчаянный пляс, заставляя дрожать слюду в окнах от раскатов здорового бурсацкого хохота.

Симеон был украинец, киевский бурсак; в молодости он толкался среди польской знати и по духу скорее был католическим, чем православным монахом. Своё крестовое имя он давно позабыл, а может быть, и никогда не помнил; рясою он отнюдь не тяготился и духовного начальства никакого не признавал. Даже грозный патриарх Никон отнюдь не пу-

гал его. Хорошим в нём было то, что он не впутывался в дворцовые интриги и одинаково был дружен с представителями всех постоянно враждовавших между собою дворцовых партий. У этого-то "светского монаха" и стали происходить встречи царевича Фёдора с иезуитом Кунцевичем.

Последний был всегда вкрадчиво почтителен с наследником престола. Рассуждал он с ним всегда серьёзно и притом всегда о таких предметах, которые были более всего по сердцу юному царевичу. Многое, что говорил отец Кунцевич, было откровением свыше для царевича Фёдора. Он жадно слушал иезуита и скоро, сам того не замечая, подпал под его влияние.

Однажды, как-то придя к своему старому учителю Симеону, царевич Фёдор не застал ни его, ни лекаря. Вместо них в просторной, совсем уж не монастырской келье старого сочинителя "Вертограда" был высокий, красивый, с мрачным, несколько злым лицом молодой человек. Это был князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Царевич и ранее того видел его несколько

раз с отцом Кунцевичем. Он даже знал, что последний с большими усилиями выходил князя от тяжёлого недуга. Теперь царевич даже был рад, что этот молодой человек очутился от него так близко и притом с глазу на глаз с ним.

— Князь Василий, а князь Василий, Васенька, — позвал он Агадар-Ковранского, когда тот, низко поклонившись, заспешил к выходным дверям, — да куда ты всё торопишься? Посидел бы ты со мной малость, поговорили бы мы... Чай, не страшный я...

Царевич даже улыбнулся, произнеся эти слова. Он рад был разговору со свежим человеком, притом ближе подходившим к нему по возрасту, чем другие, окружавшие его во дворце люди.

Князь Василий, услышав это приглашение, низко поклонился и сказал:

— Чтой-то, царевич, несуразное ты сказал. Ты ли страшен! Да ты всё равно, что ангел небесный!

— Оставь, — махнул рукою Фёдор, — надоели мне хвалы.

— Да я и не хвалю тебя, а говорю, что ду-

маю. Прости, ежели что не по сердцу сказал! Приказывай, какую тебе службу сослужить...

— И ничего я приказывать не буду, а прошу. Вот садись-ка ты против меня на лавку, побеседуем. О себе мне расскажи! Ты ведь на воле живёшь, всякое выдаешь, а я здесь — всё равно, что Божья птичка в клетке. Садись!

Князь Василий присел.

XL

ВОРВАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ



Есколько времени они молчали, смущённо переглядываясь друг с другом. Агадар-Ковранский, несмотря на всю дикость своей натуры, просто ополоумел от мысли, что сидит, как равный с равным, с наследником московского престола. В первый раз он так близко видел царевича Фёдора и никогда не воображал, чтобы будущий царь мог быть таким

вот, как этот болезненный, с тонкими, женственными чертами лица юноша, столь кротко, без тени какого бы то ни было презрения смотревший на него. Эта нежная красота и кротость никак не вязались с представлениями князя Василия о царе-государе, который, по его мнению, должен был быть и ростом велик, и голосом груб, и на речи дерзок, дабы было в том хотя какое-нибудь отличие между ним и его червяками-подвластными.

Фёдор же, напротив того, смотрел на князя Василия с великим любопытством. Ведь он крайне мало видал людей, и ему казалось, что все те люди, которые находились вне стен дворца и кремля, — совсем другие люди, особливые от тех, которых он видит постоянно вокруг себя. Поэтому-то новый человек возбуждал в нём жгучее любопытство.

Так смущённо, не зная, о чём заговорить, молчали они несколько времени.

— Ну, что ж ты ничего не говоришь, милый? — ласково спросил Фёдор. — Ты не бойся, скажи что-нибудь!.. Как вы там живете, про весёлости ваши расскажи... Я ведь здесь в четырёх стенах-то постоянно сидючи, как

есть ничего не знаю! — и он даже засмеялся, вспомнив, как часто он воображал себя птичкою малой, запертой в раззолоченную клетку.

Этот смех рассеял смущение князя Агдар-Ковранского. Он опомнился и быстро сообразил, что наступает тот момент, о котором до этого часто-часто шли у них разговоры с иезуитом Кунцевичем. Для него не было сомнения, что эта неожиданная встреча с наследником престола устроена его чёрным другом. Отец Кунцевич часто брал его, князя Василия, с собой, когда отправлялся к Симеону Полоцкому на потайные свидания со своим пациентом-царевичем. Но, должно быть, всё не выпадало ему свести молодых людей так, чтобы они могли очутиться с глазу на глаз и поговорить о разных разностях, позабыв о различии своего положения. Едва только вспомнил обо всём этом князь Василий, как к нему опять возвратилась его обычная дерзость.

— Эх, государь ты наш, свет-царевич! — воскликнул он со своей обычной пылкостью. — Тоже нашёл кого о веселостях рас-

спрашивать!.. Весёлости! Тоска-злодейка так вот и гложет сердце молодецкое, горе неизбывное давит, а ты — весёлости.

— Ну расскажи о своём горе! Нам, царям, и ваше горе точно так же, как и весёлости, неведомо. Послушаю я, какое на земле горе бывает; такое ли оно, как царское.

— Да нешто вы-то, цари, тоже его знаете? — спросил князь Василий. — Вот уж чему я не поверил бы! У царей да горе!..

— А то нет, что ли? — потупился царевич. — Вон батюшка мой помирает; нешто это — не горе. Нарышкины с Милославскими грызутся — опять-таки горе. Мачеха и не глядит на нас, пасынков и падчериц. За братцем Иванушкой не доглядели — и он чуть у печки не сжётся. Боярину Матвееву комедийное действо поставить как следует не удаётся. Слышь ты, лицедеи его хмельной браги много выпили, и двух архангелов батогами отодрать пришлось. Всё это печалит, спокою лишает... Разве это — не горе?

Князь Василий ничего не ответил. Он вряд ли даже слушал царевича, обдумывая в это время свой ответ.

— Ну вот видишь, — уже настойчиво продолжал говорить Фёдор, — я тебе всё по душе сказал, так и ты не таись. Скажи, какое у тебя горе. Ты не бойся, я никому не скажу, а ежели что смогу, так и посодействую, шепну кому-нибудь там. Может быть, и удасться твоё горе в радость обратить.

— Эх, коли так, не буду молчать! — воскликнул Агадар-Ковранский. — Видно, Бог меня вспомнил и с тобою, царевич, свёл. Ну, коли так, слушай! Скажи мне откровенно: ты любил кого-нибудь? Или ещё не пришла твоя пора, молчит твоё сердце?

Фёдор удивлённо посмотрел на собеседника.

— А как же не любить-то? — сказал он. — Вот ты какой чудной! О чём спрашиваешь!.. Да разве есть на белом свете Божиим человек, который любви не знал бы? Мы, цари, хотя и помазанники Божии, а всё-таки человеки, и, как говорит учитель наш, инок Симеон, и нам ничто человеческое не чуждо.

— Ну так ты, стало быть, знаешь, о чём будет речь моя, — проговорил князь Василий. — Коли ты любил уже, так и горе моё поймёшь.

— Да-да, — радостно закивал головою царевич. — Пойму, непременно пойму. Говори только, да поподробнее говори!

— Ну, слушай, царевич! Нет больнее недуга, как любовь. Недавно меня медведь чуть было не заломал, потом такая лихоманка с горячкой привязалась, что я Бог весть сколько недель меж жизнью и смертью валялся. Спасибо вон тому лекарю, к которому и ты ходишь; только он меня и выправил, а кабы не он — лежать бы мне под курганом с крестом. Только не на радость мне была поправка. Как выправился я, так и почувал, что новый недуг мною владеет, и куда он горше, чем тот, который меня в могилу тянул. Эх, царевич, царевич!.. Коли ты тем недугом уже болел, так знаешь сам, что недужному-то и Божий свет не мил, а солнышко на небе не светит, а темь гонит, и лакомый хлеба кусок в глотку не идёт, и не любо ничто, что недавно ещё так мило было, — ни утех лихие молодецкие, охота псовая или соколиная, ни пиры-попойки весёлые, ни песни в душу льющиеся, ничего, ничего!.. Ходишь, как в воду опущенный, тоскуешь, как зверь лесной, насмерть ранен-

ный!.. Всё не мило, всё противно, ни на что бы не глядел. Томишься, терзаешься, места себе не находишь, на каждого человека, как на врага себе, глядишь... Куда ни кинешься — вместо отрады да покоя муку себе находишь. А душа-то так и мятётся, так и рвётся; всё так тебя и тянет куда-то, а куда — и сам не знаешь... Вот она, любовь-то, свет-царевич наш, надежда милостивая!

Всё это было произнесено Агадар-Ковранским быстро, с большим повышением голоса; видно было, что порыв охватил его и что он не столько говорит со своим царственным собеседником, сколько самому себе высказывает мучившие его сокровенные думы. Он даже не видел, как раза два в приотворенную дверь выглядывала голова иезуита Кунцевича. Хитрый интриган, устроивший это свидание, не пропустил ни одного слова в разговоре молодых людей.

Фёдор внимательно слушал всё то, что говорил Агадар-Ковранский. Порыв, овладевший буйным князем, захватывал собою и нежную душу юного царевича.

XLI

ИСТОМНАЯ НОЧЬ



Царевич открыл окно, и ему прямо в лицо пахнуло ароматами благоуханной ночи. Было уже темновато, чувствовалось близкое наступление осени, но было тепло и тихо. Тишина подействовала умиротворяюще на разволновавшегося царевича. Он стоял, облокотившись на подоконник, и жадно вдыхал лившиеся к нему ароматы. Мысли о всеисцеляющей смерти сами собою отошли от него; около него вились роем думы о жизни. И вдруг царевичу стало грустно именно от этих дум.

И все-то эти "земные мысли" вращались около одного и того же центра — любви. О чём бы ни начинал думать Фёдор Алексеевич, его думы неудержимо неслись к этому цен-

тру. И вовсе не тёплая благоухающая ночь была в том причиною. Видно, и прочные стены великолепных дворцов земных владык не уберегают от натисков жизни, от вторжения в их душные покои великих сил природы; видно, и жалкому, тщедушному, болезненно-му царскому сыну приспело время любить... любить и страдать.

"Если люди страдают из-за этой любви, — размышлял царевич, — и всё-таки страдая, любят, значит, любовные страдания — счастье. Иначе и думать нельзя. Хотелось бы и мне узнать, что такое любовь, отчего непременно нужно страдать и терзаться тому, кто любит".

Едва подумав так, юный царевич почувствовал, что краснеет. Ему даже стало совестно самого себя: ещё никогда у него не было таких дум, и вдруг явились они незваные, непрошенные, уже и теперь не в меру мучительные.

Большим усилием воли царевич прервал свои думы. В своей девственно-наивной простоте он считал их греховными, "от прелести дьявола", и уже хотел наложить на себя стро-

гую епитимию за то, что дозволил им на миг овладеть собою, когда заметил какую-то смутную тень, промелькнувшую мимо него под деревьями любимого сада.

"Кто это? — промелькнула у него тревожная мысль. — Уж не тать ли какой ночной?"

Однако тревога, охватившая царевича, быстро прошла и он даже весело засмеялся.

— Знаю, знаю я, что это такое! — тихо промолвил он самому себе. — Ох, воистину были у меня мысли от дьявола. Только что не хотел ничего думать, только что с самим собою справился, а он, окаянный, вот так и надзуживает, так в искушения и вводит. Ахти мне, грешному! Пойти скорее в опочиваленку да на молитву стать.

Но напрасно! Царевич в этот момент был и с самим собою неискренен. Он знал, что не пойдёт в свою опочиваленку, не опустится на колена пред святыми иконами, а если и заставит себя сделать это, то не чиста, греховна будет его молитва, далеко-далеко унесутся его помыслы от всего святого, что, стоя пред святой иконой, он будет думать только о грешном земном.

Всё вспоминался ему разговор с князем Василием, и слова этого бешеного человека о любви так и жгли его душу. Странными показались тогда эти слова царевичу.

— Не понимаю я, о чём говоришь ты, — раздумчиво сказал он. — Больно уж чудны твои слова для меня. Видно у нас, царей, совсем не такая любовь, как у вас, подвластных. Я вон очень люблю сестрицу Софьюшку, хотя она, когда мы были маленькими, пребольно колачивала меня, да и теперь не спускает. Вот тут намедни рассердилась и венецейским блюдечком, что батюшке из-за рубежа посольство привезло, в меня пустила. Раскололось блюдечко-то на кусочки. Я только взыскивать на ней обиду не стал. Что поделать? Старшая сестра! А только, как я её ни люблю, никакой я муки от того не испытываю.

— Не про ту любовь, царевич, говоришь! — горько усмехнулся князь Василий. — Не сердчай на меня, ежели я скажу тебе, что такая любовь для малых детей, а не для взрослых. Есть другая любовь — любовь доброго молодца к красной девице. Вот в этой-то любви и

мука. Свободного — она тебя рабом делает!.. Говорят, есть в турецких землях рабы, которые, хоть и люди, а для своих господ хуже подъяремного скота. У нас, на святой Руси, слава Богу, нет таких, да и у турок, проклятых, такими рабами только чужезверные бывают. Так вот, кто любит, тот у своей возлюбленной таким рабом и существует. Что хочет, она с ним сделает. Какие хочешь, верёвки совьёт, а на всё любящий человек пойдёт. Вот Господь Бог, уж и не знаю за какие грехи, попустил мне таким недугом заболеть. Полюбил я тут девицу одну, отдал ей своё сердце, свою душу, все свои помыслы...

— Так что же, женился бы на ней, — перебил его царевич. — Хочешь, я твоим сватом буду?

Царевичу припомнилось, что он не успел ни договорить сам, ни услышать ответа.

Князь Василий не успел ответить. Внезапно из-за двери выдвинулся отец Кунцевич.

— А, ваше высочество, — воскликнул он, притворяясь, будто и не знал о посещении царевича. — Не заставил ли я вас ждать?

Отец Кунцевич проговорил всё это с заис-

кивающей улыбкой.

Появление его было настолько неожиданно, что оба молодых собеседника невольно вздрогнули.

"Подслушивал он, или нет? — спросил сам себя Агадар-Ковранский. — Вот человек: нельзя никогда понять, что он думает, и его дьявольских подходов никак не угадаешь!"

Князь Василий, хотя ещё весьма и смутно, но всё-таки начинал понимать загадочную натуру иезуита. С того самого дня, когда он, придавленный своей неудачей в Чернавске, примчался к отцу Кунцевичу в попутный посёлок делиться своим горем, он и отец Кунцевич были неразлучны.

Не возвращаясь домой, в свою лесную трущобу, князь Василий отправился в Москву вслед за своим таинственным другом. В Москве у него был свой дом, обыкновенно пустовавший; в нём они и поселились. Отец Кунцевич оказался великим домоседом; он редко выходил из своего добровольного затвора.

Да ему и не нужно было где-нибудь появляться на Москве: за него действовал искусно

направляемый князь Агадар-Ковранский. Именно он разнёс среди своей влиятельной родни, а через неё и по всей Москве его славу, как искусного лекаря, он же устроил отцу Кунцевичу и знакомство с Симеоном Полоцким, благодаря которому иезуит пробрался и в царские покои.

Но отец Кунцевич сделал ошибку. Если бы он не остался с князем Агадар-Ковранским, не поселился с ним под одной кровлею, где тот мог видеть его постоянно, он так и был бы для князя постоянной загадкой, действовал бы на его воображение. А тут слишком тесная близость показала князю Василию отца Кунцевича в несколько ином виде.

Как ни был духовно могуч иезуит, но он всё-таки был человеком, и случались моменты, когда с него сама собой спадала надетая им на себя личина. Вследствие этого и Агадар-Ковранский, от природы наблюдательный, уразумел, что его "чёрный благожелатель" — далеко не то, чем он стремится казаться. Попросту говоря, под овечьей шкурою всякой елейности и доброжелательства князь Василий сумел разглядеть и волчьи когти и

кльки иезуита. Но было уже поздно разрывать сам собою создавшийся союз, тем более что страсть в сердце князя Василия с течением времени не утихала, а всё более и более распалась. Отец Кунцевич же всё время держал себя так, что только с ним одним Агадар-Ковранский мог делиться своими сокровенными думами и затаёнными надеждами.

Сколько князь ни рыскал по Москве, он и следов не находил боярина Грушецкого, а тем более Ганночки, словно в воду канули со всеми своими чадами и отец и дочь.

Князь Василий страдал от неудовлетворённой страсти, и только могучая воля отца Кунцевича сдерживала то и дело обращавшиеся в бурю порывы молодого дикаря. Агадар-Ковранский терял голову; он жил только одними надеждами, и как ни устал он ждать, но именно эти надежды ещё устраняли от него отчаяние.

Теперь встреча с царевичем, которого князь считал всесильным, снова окрылила его, и ему было даже неприятно думать, что иезуит подслушивал их беседу, а более всего неприятно было то, что появление отца Кун-

цевича прервало их разговор как раз тогда, когда он, князь, только что хотел открыть своему царственному собеседнику имя своей возлюбленной.

Отец Кунцевич даже и внимания не обратил на неприязненные взгляды, которые бросал на него князь Василий. Он, кланяясь, подошёл к царевичу и стал против него, ожидая, что тот скажет.

— Ещё раз низжайше прошу прощения вашего высочества, — повторил он свои извинения, — я бы на крыльях прилетел, если бы только мог знать, что вы пожалуете сегодня в эту скромную келью вашего наставника. Но и он сам не был осведомлён об этом...

— Да, да! — воскликнул Фёдор Алексеевич, оправляясь от некоторого смущения. — Тут я во всём виноват один. Мы уговорились встретиться на завтра, а завтра я иду за крестным ходом вместо батюшки и, быть может, не приду сюда. Поэтому-то я здесь теперь.

— И тем лучше, ваше высочество! — ответил отец Кунцевич. — Я тогда сегодня займусь вами подольше. Меня очень беспокоят хрипы в ваших лёгких, и я хочу во что бы то

ни стало найти причину их происхождения. О, ваше высочество! Опыт научил меня, что при всяком недуге — и телесном, и душевном — всегда нужно искать его причину, и, найдя причину, нужно стараться удалить её: средства подыскать легко, а с последствиями также легко справиться. Прошу вас снять ваш кафтан...

Он сделал знак Агадар-Ковранскому оставить их одних. Тот низко-низко поклонился царевичу.

— Ну, прощай, князь Василий, — ласково сказал Фёдор Алексеевич, — я рад, что встретился и побеседовал с тобою. Когда мы встретимся ещё, ты доскажешь мне про свой недуг всё до конца.

Князь Василий с низкими поклонами вышел из покоя.

— Что, ваше высочество, — спросил отец Кунцевич, пока юный царевич снимал верхнее платье, — этот бедняга, кажется, и вам надоедал с тайнами своей неудачной любви?

— Да, он говорил со мною откровенно. Мне очень жалко его и хотелось бы помочь ему, но я не знаю как...

— Вы очень добры, ваше высочество, — ответил, приступая к выслушиванию, иезуит, — но в своих сердечных недугах более всех виноват сам этот молодой человек. Но прошу вас, вздохните поглубже...

Долго и тщательно осматривал иезуит-доктор своего царственного пациента.

— Итак, ваше высочество, вы завтра шествуете за крестным ходом? Осмелюсь спросить — где? — спросил он.

Фёдор Алексеевич назвал храм, откуда должен был выйти крестный ход, и тот храм, куда он направлялся.

— Да, да, я знаю эти места, — проговорил иезуит, — они находятся под действием сырых ветров, иногда тут встречающихся и производящих как бы воздуховорот. Вам, ваше высочество, следует одеться как можно теплее; вы всё время будете как бы на сквозняке. Весьма покорно просил бы вас именно завтра уделить мне немного времени и пожаловать сюда. Я снова осмотрю вас, чтобы определить, какое влияние будет иметь на ваш организм эта жестокая прогулка!

— Я приду, — просто ответил царевич, про-

щаясь с иезуитом, и даже не заметил, как тот вышел, так как все его мысли были заняты пылким признанием князя Василия о его любви.

"Вот князь Василий Лукич, — вспомнил он теперь свою беседу с Агадар-Ковранским, — думаю я, жестоко страдает. А зачем? Потому что он любит; стало быть, и любовь — мука. Зачем же тогда люди любят? Ведь это значит, что они сами заведомо для себя идут на муку. Непонятно что-то! Никто себе заведомо пальца не обрежет, а тут такое страдание по охоте принимают. Что же это такое? Нет, уж я лучше никого, кроме родных, любить не буду!"

Увлекаемый своими мыслями, царевич подошёл к окну. Там под ним был сад, любимое место его детских игр. Царевич любил этот уголок, так как он напоминал ему золотые дни детства.

В лицо ему пахнула ночь, полная грешных желаний.

Царевич теперь завидовал князю, его молодому пылкому счастью, его смелой и здоровой любви.

Под впечатлением этих дум он шагал по аллейке, пока его не догнала сестра Софья. Она пошла рядом с ним. Несколько времени брат и сестра молчали.

— Ты что ж, Фёдор, думаешь? — заговорила первая Софья. — Поди, батюшке доложишь, что нас застал?

— Да уж и не знаю как, Сонюшка, — позамялся Фёдор Алексеевич, — и тебя-то мне жаль, и пред батюшкой смолчать нельзя...

— Да что ж я тебе сделала? — спросила царевна. — Тебе-то что?

— Как что? — вспыхнул Фёдор. — Будто уже и не позор для нашего царского рода?.. Царская дочь да с подвластным слюбилась. Вот пару нашла!..

Вся загорелась гневом богатырша-царевна.

— Ах, ты, слюнтяй! — громко, не стесняясь закричала она. — Недоносок маменькин! Тоже нашёл, чем корить! С подвластным! Да, стало быть, хороша я девка, ежели меня любят! Вот тебя, чахлого разиню, поди, никто не полюбит. Кому такие-то, как ты, нужны? У тебя нешто кровь? Рыбья сыворотка у тебя, а не кровь. Вот женят тебя да жену молодую при-

ведут, так ты, что и делать с ней, знать не будешь, а станешь только охать да вздыхать: тут болит, да там болит... А тоже мужчиной прозываешься! "Я, дескать, по образу и по подобию Божию сделан... не из ребра"... Тьфу! Из навоза гнилого ты сделан... А тоже корить: царская дочь с подвластным слюбилась. Да ежели бы ты понять мог, что бывает, когда вся кровь в теле ходуном ходит и огнём пылет! Как тогда человек к человеку стремится!.. А у меня крови много, и откуда она у меня такая кипучая, не знаю. Царская дочь! Да что же мне из-за того, что я — царская дочь, и счастья не изведать?.. Нет, братец милый, без счастья вековать, как государыня-тётушка, я не буду!.. Не такая я... Вот люблю Васеньку и никого не боюсь; жилы из меня тяните — не испугаюсь, а ежели его тронут, то такое наворю, что и сами вы все не рады будете: пошлёте его в Березов, так я за ним, как собачонка, побегу. Вот тебе и будет царская дочь!.. Смекнул? Иди, слюнтяй паршивый, наушничай родителю. Иди! Чего стал да бельмы выпучил? У-у, недоносок! Глядеть-то на такого противно!

С этими словами юная царевна-богатырша так толкнула в грудь своего тщедушного брата, что тот едва-едва удержался на ногах. После этого она пустилась бегом к крыльцу палат.

— А ты, царевич, — раздался около Фёдора Алексеевича мужской голос (это неслышно подошёл князь Василий Васильевич Голицын), нас не трогал бы с Софьюшкой-то... Мы тебе не мешаем, а любим друг друга, так значит, то Господу Богу угодно... Шёл бы теперь почивать. Не царевича дело по ночам любящих ловить...

С трудом добрался до своей опочивальни Фёдор Алексеевич. Много передумал он в остаток этой ночи и лишь под утро, вспомнив, что ему за крестным ходом нужно идти, забылся тревожным сном.

XLII В ВИХРЕ ЛЮБВИ



Вечеру после крестного хода, за которым шёл царевич, вся Москва Белокаменная была полна толков и нареканий. Эти толки пошли ещё накануне, но Москва и в ту пору была столь велика, что понадобилось порядочно времени, чтобы всю её успела обойти сенсационная весть.

Говорили о совершенно небывалом в Москве происшествии, настолько небывалом при общем затворничестве московских женщин, что, казалось, такого случая и быть бы не могло.

Какая-то боярышня, очень красивая, но не из богатых и в Москве никому неведомая, когда проходил крестный ход, взглянула на юного царевича Фёдора Алексеевича, громко

вскрикнула и упала без чувств. Её крик услышал царевич, и, нарушая благочиние, — чего также никогда не бывало, — оставил крестный ход и бросился к юной красавице на помощь. Однако он только мельком взглянул на неё. Началась вполне понятная суматоха. К месту происшествия кинулась толпа; никто ничего не знал толком, но говорили все. Произошла беспорядочная толкотня, едва не помяли неосторожного царевича, и, пока народ толпился, толкался, кричал и суетился, кто-то выхватил и унёс бесчувственную девушку.

Когда наступило некоторое успокоение и кое-как был водворён порядок, боярышня как в воду канула. Никто не знал в толпе, чья она, откуда взялась, с чего это её дурман мог взять. Рассказывали только, что кроткий царевич был весь бледен, как полотно, а потом вдруг стал необычайно гневен, когда ему сказали об исчезновении никому неизвестной красавицы.

Однако, кое-как совладав с собою и подавив волнение, царевич занял своё место в крестном ходе и проследовал с ним; но все заметили, что он был необычайно рассеян и да-

же небрежно относился к церковной службе.

Действительно, ещё никогда во всей своей жизни Фёдор Алексеевич не переживал таких минут, таких острых и непонятных ощущений, какие пришлось ему испытать в эти немногие часы. Несмотря на то, что был день, а не ночь, прежние "греховные" мысли не оставили его. Напротив того, они ещё более будоражили его душу, жгли, как огнём, его мозг.

То, что он подсмотрел, вернее, подслушал в заброшенной беседке сада, волновало его кровь, заставляло сильно биться его сердце. Разговор с могучей сестрой не успокоил, а распалил его ещё более. Он понял, убедился, что действительно есть на свете могучая сила, заставляющая людей в бесконечном страдании находить неземное счастье. Это было совершенно новым для него вопросом, полным всевозможных загадок. Он думал об этих загадках во всё утро этого дня, думал, шествуя за крестным ходом, думал как раз в то время, когда совсем близко от него неожиданно раздался громкий женский вопль.

Этот вопль был настолько неожиданным,

царевич расслышал в нём столько новых для себя, разнообразных звуков, что положительно не отдавая себе отчёта в своих поступках, забыв, что происходит вокруг него, кинулся вперёд. Там, среди замершей в исступлении толпы, он увидел мертвенно-бледное, но ангельски-красивое лицо молоденькой девушки, опрокинувшейся на руки заметно перепуганной старушки, голосившей, что было сил в горле, призывая на помощь.

Лицо бесчувственной девушки поразило царевича своей красотой и его черты сильно врезались в память и в сердце. Фёдору Алексеевичу казалось, будто он видит пред собою сошедшего с неба ангела; он дрожал, как в лихорадке, весь обуреваемый каким-то неизвестным ему, совершенно новым, никогда не изведанным им чувством. Под влиянием — лучше сказать, под внезапным наплывом — этого чувства, у царевича вдруг закружилась голова. Он никого и ничего не видал вокруг, пред его глазами было только одно милое лицо с закрытыми под длинными ресницами глазами.

Когда царевич опомнился, красавица уже

исчезла. Он даже не заметил этого и с изумлением глядел на неистово галдевшую толпу, забывшую уже о красавице-девушке и видевшую пред собою, совсем близко, своего любимца, царского сына, будущего "великого государя великия и малыя Руси".

Опомнившись и видя, что красавицы уже нет, Фёдор Алексеевич сконфузился. Он заметил, с какой укоризной смотрит на него духовенство. Кто-то из его среды даже осмелился потянуть его за рукав, понуждая скорее занять место. Царевич не обиделся на это. Он стал по-прежнему на своё место, подал знак, и крестный ход при громких песнопениях двинулся вперёд. Навстречу ему нёсся радостный звон церковных колоколов, тихо качались хоругви, певчие покрывали своими голосами гул толпы, но Фёдор Алексеевич ничего этого не замечал. Он уже не мог молиться; его думы и помыслы были далеки от небесного, земля всецело завладела им.

Словно в лихорадочном жару он вернулся в свои покои. Первым его встретил "сват Сергеич", на правах близкого больному царю человека, постоянно остававшийся во дворце.

Когда он взглянул на Фёдора Алексеевича, то тот прочёл в этом взгляде немой укор. Но ему не стало стыдно, как стало бы стыдно прежде. Юноша чувствовал себя совсем другим; в нём словно родился новый человек. Откуда только взялись в дряблой душе силы. Фёдору Алексеевичу теперь ничего не было страшно...

— Чтой-то, царевич, у тебя за крестным ходом-то вышло? — Несколько укоризненно заговорил Артамон Сергеевич Матвеев. — Нешто так возможно царскому сыну? Ведь соблазн-то какой для православного народа!..

Он не договорил. Глаза обыкновенно тихого царевича вдруг блеснули. Словно огонь какой-то загорелся в них. Брови низко-низко нахмурились, холёные руки в кулаки сжались...

— А ты чего, пёс смердящий, на господина лаять вздумал? — напрягая голос, закричал царевич. — Или на наших царских конюшнях батожья мало? Ах, ты, негодник старый!.. Государь-родитель болен, так ты, холопская душа, сейчас и волю забирать. Вон пошёл, гадина, чтобы духом твоим около меня не пахло!

В сущности говоря, царевич был смешен в

своём гневе. Как-то не шла к нему, кроткому, безобидному, эта гневность. Напускная она была, и это сразу было видно, но Матвеев, более изумлённый, чем напуганный, растерялся: чего-чего, а этого он ожидать от Фёдора Алексеевича не мог.

— Государь-царевич, — дрожащим голосом, страшно бледнея, заговорил он, — верою и правдою многие годы служил я пресветлому родителю твоему и нашему царю-государю, но того не слыхивал. Стар я уже. Пусть великий государь повелит мне отъехать.

Фёдор вспыхнул ещё больше.

— Вон, — затопал он на старика ногами, — вон, чтобы и духом твоим не пахло! Вон, с глаз моих долой!

Матвеев, весь бледный, весь дрожа и трясясь от гнева и чувства обиды, сделал шаг вперёд, в пояс поклонился наследнику и потом медленно вышел из покоя, не говоря ни слова.

Едва только закрылась за стариком дверь, Фёдора Алексеевича уже охватила жалость к нему. Ведь этот важный, степенный старик, всеми признанный умница-разумник, пре-

даннейший из преданных его отцу, всегда был ласков с ним, и теперь он, Федя, столько раз засыпавший на его коленях, у его широкой груди, вдруг так дерзостно обидел его! Не будучи в состоянии справиться с собою, царевич кинулся к дверям, распахнул их и по-детски жалобно закричал:

— Сват Сергеич, а сват Сергеич!

Отклика не было — вероятно, обиженный Матвеев был уже далеко.

— Что ж это я наделал, что наделал? — хныкал Фёдор. — И как это я мог так обидеть Сергеича?..

Но порывы быстро сменялись один другим в слабой душе этого царственного юноши. Скоро чувство жалости, точно так же, как и чувство гнева пред тем, потеряло свою остроту, и Фёдор Алексеевич забылся в думах о другом — о той красавице-девушке, которую он при таких чрезвычайных обстоятельствах увидел в этот день.

"И хоть бы узнать мне, кто она такая! — раздумывал он. — Если приказать боярским детям разведать, так сейчас по всей Москве гомон пойдёт. Скажут: вот царевич-наслед-

ник для забавы себе честную боярышню облюбывал. Нехорошо это! Да ежели и сыщут её... любочку мою, — мысленно произнёс никогда ещё не приходившее ему на ум слово царевич и при этом вдруг покраснел, — так не скажут, кто она и как её имечко: Матвеев запретит, он теперь на меня в ярое гневе. А узнать нужно: людишки при царе-государе дотошные, одни дядья Милославские чего стоят — изведут милую... у них и яды всякие, и приспешников куча. Так как же тут быть? Да, что я, забыл! — вдруг встрепенулся царевич. — А князь Василий-то? Он — такой ухарь, что всё ему нипочём. И меня-то он, кажись, полюбил. Ой, разве пойти к иноку Симеону в келейку? Сказывал я князю Василию, чтобы он пришёл туда для беседы. Ой, пойду! Сергеич, поди, теперь, батюшке на меня жалится, так, пока не призвал родитель к ответу, нужно поскорее это дело справить".

Предвидя неприятные отношения с отцом, царевич засуетился. Он послал сказать, что идёт навестить своего учителя, и сам сейчас же двинулся вслед за посланцем. Как раз на- всегда было уговорено, весёлый монах-поэт

спешил пред приходом царевича покинуть свою келью, наскоро приведя в ней всё в порядок и довольно неделикатно вытолкав в потайной ход рыжую краснощёкую девку, подобранную им где-то в Москве и частенько появлявшуюся у него на целые ночи для выслушивания смиренных и отеческих наставлений. Он же послал в покой князя Василия, и тот явился к нему, как то было приказано царевичем.

— Слышал поди, княже, что приключилось-то со мной на крестном ходу? — начал свои объяснения Фёдор Алексеевич. — Вот и прошу я тебя, как собиного друга своего, сделай мне милость...

— Приказывай, государь! — отозвался князь. — В чём твоя воля? А я, холоп твой, не щадя живота своего, всё исполню, как сумею...

Фёдор Алексеевич, краснея, путаясь в словах, разъяснил ему про свой случай, а потом высказал свои соображения относительно того, что может ожидать бедную девушку. Князь Василий сосредоточенно выслушал рассказ царевича, а затем воскликнул:

— Э-эх, сам знаю, как ущемить может душа красная девица сердце доброго молодца! Ладно, царевич, сослужу я тебе службишку. Но и ты меня не забудь: помоги мне раздобыть мою лапушку...

Появление царского стольника оборвало беседу. Царь Алексей Михайлович настоятельно требовал к себе своего наследника-сына.

— Иду, иду, сейчас! — засуетился не на шутку испугавшийся царевич.

По дороге к опочивальне отца, ему преградил дорогу внезапно выступивший словно из-под земли отец Кунцевич.

— Ваше высочество, одно слово, — заговорил чуть не шёпотом иезуит. — Запомните: молодая девушка, привлёкшая ваше внимание своим обмороком на площади, — дочь Чернявского воеводы Семёна Грушецкого. Зовут её Агафьей. Сообщаю вам это, чтобы вы понапрасну не мучили себя.

XLIII СУЖЕНЫЙ



Мя Ганночки Грушецкой ничего не сказало царевичу: Фёдор Алексеевич никогда такого имени не слышал и понятия не имел, что за чернавский воевода есть такой на Руси; но опять забилося его сердце. Ранее, чем он мог ожидать, исполнилось его желание: он знал имя поразившей его девушки.

Словно в сон погрузился царевич. Он забыл, что идёт к отцу и что там ему придётся расплачиваться за невольную гневную вспышку. Сладостные мечты осенили его, и он вдруг с ужасающей ясностью понял, что и он, слабый, тщедушный юноша, любит, любит вот так же, как любит Ваську Голицына его сестра Софья, как любит князь Василий Агадар-Ковранский свою исчезнувшую от

него разлапушку.

Даже пред разгневанным отцом юный царевич не расстался со своими думами. Вряд ли он слышал, что говорил ему отец. И гневные, и убеждающие слова пролетали мимо, скользили только по его возбуждённому мозгу, не оставляя в нём по себе следа. Машинально, как заведённый автомат, повинувшись отцовскому велению, подошёл царевич к "свату Сергеичу", машинально взял его руку и так же, не думая, что он делает, хотел поцеловать её, но словно сквозь туман заметил, что Матвеев не допустил его до этого поцелуя.

Артамон Сергеевич, всхлипывая от рыданий, опустился пред юношей на колена и осыпал поцелуями его руки. Хитрый царедворец знал, как должно было ему поступать, чтобы наверняка заслужить расположение царя.

Фёдор Алексеевич не отнимал своих рук. Ему было всё равно — самому ли целовать чьи-либо руки, или принимать чужие поцелуи. Так же безучастно, словно сам не свой, облобызал он руку родителя, в пояс поклонился Матвееву и ушёл, причём тотчас же по-

забыл всё, что происходило в опочивальне.

"Агафья, Агаша, Ганночка, — так и вертелось в его голове милое имя. — Чернавский воевода Семён Грушецкий!.. Ну, сыщу теперь, да, сыщу... Узнаю всё, увижу её... Может быть, и она меня полюбит!.." — думал он.

Старый иезуит был прав. Он с неутомимой энергией держал в своих цепких руках нити своей грандиозной интриги, знал многое, чего не видели другие.

Молодой красавицей, упавшей в обморок, когда мимо неё проходил крестный ход, была действительно Ганночка Грушецкая.

Сильно был перепуган её отец, Семён Фёдорович, выходкой Агадар-Ковранского тогда, в Чернавске. Чего-чего, а этого он уж никак не ожидал от князя Василия. Выходка была ни с чем несообразна по своей дикости.

В глубине своей души Семён Фёдорович в то время был рад примирению с Агадар-Ковранским: ведь князь Василий был завидной партией для его красавицы Агаши; но после того, что выкинул князь в Чернавске, старик оскорбился, сообразил, сколь дик был этот добрый молодец и решил, что "слава Богу,

ежели князя Василия прочь отнесло".

По общественному и материальному положению род Грушецких был гораздо ниже рода Агадар-Ковранских, и вот, боясь новых диких выходов со стороны князя Василия, он и увёз от него свою красавицу-дочь.

Однако в Москве Грушецкому совсем не повезло. Не исполнилась ни одна из его "золотых надежд". Он появился в столице как раз в разгар болезни Тишайшего. Совсем не до того было его весьма немногочисленным "богомольцам и радельцам", а потому о представлении государю нечего было и думать. Нужно было беречь своё положение чернавского воеводы. И вот Семён Фёдорович тихохонько, смирнёхонько проживал в Москве, где у него был свой домик.

Он старался быть тише воды, ниже травы, боясь привлечь на себя внимание, особенно после того, как узнал, что в Москве появился и князь Василий, сразу же заявивший о себе несколькими буйными выходками, о которых заговорила вся людная столица.

В это время при Семёне Фёдоровиче была уже его Ганночка.

Страшась, как бы она не встретилась с буйным, диким князем, Грушецкий держал дочь взаперти, чуть не "под затворами". И вот в это время около него появился отец Кунцевич.

Воевода издавна привык к этому чёрному воронью католичества. Ещё в Москве он перевидал его многое множество, да и не совсем чужими были они ему, потомуку польского выходца. Их религия была религией его предков, их идеалы ярко сияли ещё прадеду Семёна Фёдоровича; притом же он считал представителей этого чёрного народа людьми умными, всякою премудростью книжною богатыми.

Конечно, отец Кунцевич ничего не сказал ему о своей близости к князю Василию; он отрекомендовался воеводе как лицо, близкое к польскому магнату Разумянскому. Когда же Грушецкий узнал, что отец Кунцевич тайно лечит больного царя, то всё в нём так и всколыхнулось, иезуит стал казаться ему драгоценностью: ведь через него можно было попасть и в близость к великому царю государю!

Отец Кунцевич действовал, преследуя

свою цель. Он, пожалуй ещё более ревниво, чем отец, оберегал Ганночку от встречи с князем Василием, потому что такая встреча была вовсе не в его планах, и тщетностью своих поисков Агадар-Ковранский был более всего обязан стараниям своего друга-иезуита.

О, если бы он только мог знать это! Но князь Василий даже не подозревал подобного коварства. Он всецело вверился отцу Кунцевичу и ответил бы смехом тому, кто сказал бы, что его чёрный друг "дьяволит" против него, князя Василия.

Иезуит быстро и легко сумел втереться в доверие и к Ганночке. Молодая девушка перестала бояться его и теперь уже любила беседовать с ним. Отец Кунцевич знал, чем пленить юное девичье воображение. Он рассказывал Ганночке о великолепии придворной жизни, о блеске, постоянно окружающем королев и цариц. Кое-что знала об этом и сама Ганночка, но теперь рассказы отца Кунцевича воссоздали в её воображении весь блеск дворцов, всю пышность и могущество царской жизни.

— Хоть один малый денёк пожить так-

то! — простодушно восклицала молодая девушка.

Отец Кунцевич улыбался и обыкновенно отвечал:

— Всё, дитя моё, в наших руках. Господь дал человеку свободную волю, а Сын Божий сказал: "Просите и дастся вам!".

Он незаметно для Ганночки вселял в её душу убеждение в том, будто она рождена быть царицей, и с легкомыслием юности молодая девушка уверила самое себя в этом. Нередко она даже сама себя видела на троне, но — увы! — ей рисовались польский, французский троны, а никак не свой, московский.

Но и это явилось в результате бесед с иезуитом.

"Уж если бы я только стала на Москве царицею, — не раз думала девушка, — завела бы я свои порядки... Не хуже бы французской королевы сумела бы показать себя!.. Да не бывать мне на престоле, — вздыхала она, — где уж!"

Она вздыхала, горевала и всё чаще и чаще ей вспоминался сон-гаданье в погребе-подземелье Агадар-Ковранского в ту смутную ночь,

которую она провела в его прилесном доме.

Зюлейки уже не было с ней. Молодая персиянка сперва затосковала в скуке московской замкнутой жизни, а потом ушла. Дикий зверёк не перенёс московской лютой неволи. Она никому не сказала, куда уходит, и даже не попрощалась ни с Ганночкой, ни со стариком Грушецким, всегда относившимся к ней ласково. Много спустя Ганночке сказали, что Зюлейка живёт на польском подворье и не нахвалится своею жизнью. Об этом узнал и Семён Фёдорович и строго приказал дочери даже никогда не вспоминать о своей подруге. Ганночка подчинилась отцовскому приказанию, но жить ей стало так скучно и тоскливо, что, просыпаясь утром, она не знала, как ей дожидаться темноты, чтобы во сне забыть свои тоску и скуку.

Не зная, чем наполнить своё время, Ганночка пошла посмотреть на крестный ход, проходивший неподалёку от их дома. С ней, как и всегда, отправилась проводить её и присмотреть за нею, как бы кто не обидел, её старая, быстро одряхлевшая нянька.

Весёлый летний день радостно отзывался

в юной душе Ганночки. Солнце так ясно горело на небе, такие весёлые его лучи лились на землю, что девушка не чувствовала обычной тоски. Давно она не была на людях, а теперь вокруг неё неумолчно гудела, волновалась оживлённая, празднично настроенная толпа. Звон колоколов мощной волной вливался в этот весёлый шум. Ганночка слушала его и всё веселее и веселее становилось у неё на сердце. Вот заблестели на солнце хоругви, слышались протяжные песнопения. Крестный ход надвигался всё ближе и ближе. Толпа вокруг Ганночки заволновалась, загудела всё сильнее, потом вдруг так стихла, как будто на огромной площади, которую пересекал крестный ход, никого не было.

— Царевич, — пронёсся тихий шёпот, — вместо государя-царя за крестным ходом...

Ганночка вся обратилась в зрение. Она ещё никогда не видала никого из царской семьи, и женское любопытство всецело овладело ею.

"Где же, где царевич? — спрашивала она самое себя. — Хотя бы глазком взглянуть на него, каков он таков?"

— Вон, вон он, государь наш батюшка, — словно угадывая мысли Ганночки, зашептал кто-то около неё. — Да какой же щупленький он! Будто и не добрый молодец, а красная девица, прости Господи! Где уж такому-то с волками Милославскими да голодными псами Нарышкиными будет управиться?..

— Сгрызут они его, — подхватил эту мысль сосед говорившего, — как пить дать, сгрызут... И не подавятся, ироды.

— Где, где царевич-то? — волнуясь, спросила Ганночка у соседа.

— Да вот видишь, боярышня, — последовал ответ, — вот тот, хорошенький-то...

Ганночка взглянула и обомлела. Совсем-совсем близко от неё был тот царственный юноша, на которого чары старой Аси указали ей, как на её суженого.

Да, да, это — он, девушка узнала его. Тогда она видела призрак, теперь же пред ней был живой человек. Так вот её суженый, вот кого приготовила ей судьба! Господи! Да он глядит, глядит на неё, на Ганночку!..

Девушка не выдержала внезапно овладевшего ею волнения; голова у неё закружилась,

дыхание спёрло, и она лишилась чувств...

Пришла в себя Ганночка уже дома. Около неё хлопотали, приводя её в себя, мамка и её горничная девка.

Старушка, заметив, что Ганночка очнулась, накинулась было на неё с вопросами. Она не постигала, что случилось с её питомицею; казалось, не произошло ничего такого, из-за чего девушка могла бы чувств лишиться. Но что ей могла ответить Ганночка? Она и сама не понимала, что довело её до обморока; она только чувствовала, что её сердце так и замирает, а неясные, но светлые грёзы роем витают вокруг, будя в ней надежды на неведомое счастье...

Скоро после того мрачнее непроглядной зимней ночи вернулся домой и Семён Фёдорович. Он уже слышал про случай на крестном ходу, и кто-то даже сказал ему, что это его дочь упала в обморок при виде царевича. Поэтому, придя домой, он сейчас же призвал к себе её мамку.

— Вот что, старая, — тоном приказания сказал он ей, — нужно Агашку вон из Москвы убрать, иначе худо будет. Вор Агадар-Ковран-

ский, Васька, как волк, кругом бродит. Сам я видел, как он побоище устроил с поляками пана Разумянского. Здорово ему, негоднику, попало, да жаль, что мало. Так вот и приказываю я, чтобы в ночь вы все в Чернавск убрались... Слышишь?

— Слышу, батюшка, — ответила мамка, — всё по-твоему будет.

— То-то, ступай, собирайся!

Но не одного князя Агадар-Ковранского страшился старый Грушецкий.

"О-ох, — думал он, — сказывают, что сам царевич Агафью увидал. Вот в чём беда-то! Прознают о том Милославские, побоятся, что он Агашу супругою себе возьмёт, и сживут её раньше времени со света белого!"

XLIV НА ЦАРСКОЙ ЧРЕДЕ



Лекое личное дело чернавского воеводы скоро потонуло в налетевшем вихре таких дел, которые закружили всё государство с неокрепшей ещё на престоле династией Романовых.

Московскому царству грозила смута, и только уважение к дышавшему на ладан Тихайшему сдерживало бояр, в особенности Милославских, эту отчаянную свору гилевщиков и смутьянов, в беспредельном своеволии, в их неудержимом стремлении к совершенно ненужным интригам и проискам.

Как ни "горазд тих" был великий государь царь Алексей Михайлович, а дворцовые интриганы всё-таки не на шутку побаивались его. Они хорошо знали, что у этого кроткого

человека под напускной мягкостью были скрыты такие "ежовые рукавицы", что даже им боязно было открыто супротивиться его царской воле: палачей в застенках и у Тишайшего было много, а леса вокруг Москвы на виселицы для грызшейся боярской клики стояло видимо-невидимо.

И сдерживались всякие смутьяны, рассчитывая, что своё они наверстают, когда после смерти "горазд тихого" царя станет на царство его болезненный, с дряблой душой, сын-наследник Фёдор Алексеевич.

А бедный царевич растерялся, когда ему волей-неволей пришлось заменить страждущего отца во всех его государственных делах. От природы он был сметлив и, присутствуя с отцом на суждениях по докладам бояр, царевич сумел приглядеться к механике царского дела. Он был достаточно образован и начитан, чтобы суметь сделать верный вывод из того, что ему говорили, и подобрать наиболее подходящее решение, но врождённое безволие всегда давало себя знать.

Царевич, а впоследствии и царь, не мог не согласиться с тем, что ему подсказывали. Он

никогда не был в состоянии поставить на своём, и в результате часто в один и тот же день, а иногда в один и тот же час, являлись совершенно противоречащие, уничтожавшие друг друга царские резолюции.

Это вносило и распаляло смуту. Каждый "на законном основании" делал то, что ему было угодно. Частенько выходили драки и потасовки между мелкими агентами высшей власти, приводившими по одному и тому же делу различные законы и не знавшими, как им иначе разрешить явное недоразумение. Приближённые к царю пользовались безволием Фёдора Алексеевича с грубой беззастенчивостью. Бывали случаи, что "царского великого жалованья" удостаивались заведомые воры и тати, пытаные в застенках, иуды-предатели народные, а в то же время добрые и честные или ни за что ни про что попадали в застенки, или ссылались в дальние города. Всё это сеяло шуту; народ волновался, видя явную неправду. Разнуздавшиеся насильники-бояре бросались с царским войском "укрощать" его. Происходило избиение невинных. Развращалось стрелецкое войско: стрельцы,

участвуя в эзекуциях за несовершенно совершенные народом преступления, привыкали к своевольству, чувствовали, что они — сила, и среди стрелецких слобод уже зрело семя тех кровавых бунтов, которые вскоре потрясли неокрепшую ещё Россию.

Тишайший царь-государь Алексей Михайлович скончался 30 января 1676 года, горько оплакиваемый народом и всеми, кто в его царстве был неподкупно честен. Те же, кто был безудержно своеволен, для кого великое государство было только "дойною коровою", кто грабёж народа ставил в доблесть, — те не плакали, а были веселы; для этих мерзких котов наступала широкая масленица.

И действительно сейчас же, как только успели похоронить Тишайшего, вокруг молодого царя началась неистовая вакханалия сильно разнузданного своевольства. Насильники и грабители Милославские, пред которыми их предшественники Стрешневы оказались "мальчишками и щенками" в деле всякого грабительства народа, неистовствовали вовсю. Не было такого грабительского дела, на которое они постыдились бы пойти.

Царь Фёдор любил своего брата Петрушу — огневого, хотя болезненного мальчика, а своевольствовавшие бояре заставили государя отослать Петра в Преображенское на житьё, с приказом не появляться на Москве.

"Сват Сергеич", этот любимый покойным царём человек, осмелился после кончины Алексея Михайловича заикнуться о том, что покойный желал, чтобы ему, вместе с сыном Фёдором, наследовал и сын Пётр. Матвеев только передал предсмертное желание царя и очутился под опалой в Пустозерске.

Охраняя возможность своевольничать и угнетать народ, Милославские заподозрили в ковах против себя духовного отца юного царя, безобидного попа Андрея Савинкова, и духовный сын упрятал его, по их настоянию, в Нижнеозерский монастырь. Даже одряхлевший в Ферапонтовом монастыре бывший патриарх Никон, жертва интриг объединившихся Стрешневых и Милославских, казался последним опасным, и юный царь, по их настоянию, перевёл его в Кирилло-Белозерский монастырь, что было равносильно чуть не убийству знаменитого государственного деятеля,

сотрудника его отца. Всюду были видны следы губительного влияния Милославских. Они разжигали гили, вели народ с челобитными к царским палатам и тут приказывали стрельцам уничтожать людей, не замышлявших ничего дурного. Волнение разрасталось, день ото дня увеличивалось недовольство молодым царём. Да и не мудрено: ведь все преступления бояр совершались от его царского имени.

Бедный одинокий царь вряд ли соображал это. Он верил тому, что ему нашёптывали его мерзавцы-родственники, и отдавал приказы, не размышляя, какое впечатление произведут они на массы. Если бы только знал он, каково от таких его указов народу! Но он не знал этого, даже не думал, что его инициатива может иметь иные последствия, чем он предполагал.

Увлечённые своим могуществом, вернее — возможностью своеволия, Милославские, разогнав всех, кто был им страшен, всё-таки проглядели, что года через три после восшествия на престол у юного царя появились друзья, верные, преданные, полюбившие его как

человека, не искавшие у него ничего, а по своему желавшие добра и родной им стране, и родному их народу. Это были царский думский постельничий Иван Максимович Языков и стольник Алексей Тимофеевич Лихачёв.

Это были пожилые, серьёзные русские люди, с большим жизненным опытом и порядочною по тому времени образованностью. Языков был видным московским юристом: при царе Алексее Михайловиче он был первым судьёю Большого дворца судного приказа, нечто вроде современного министра юстиции. Стольник Лихачёв бывал с посольствами за рубежом и даже ездил в Италию к "флорентийскому дуку с государя-царя благодарностью". Это был русский патриот до мозга костей, из числа тех, которые выдвигают Сусаниных, тех, величавый образ которых создала чистая, как кристалл, фантазия народная. Алексей Тимофеевич был историком, и у него было немало сочинений исторического характера, к сожалению ныне не сохранившихся.

Оба этих умных и честных человека, приблизившись к юному царю, незаметно, но

быстро приобрели на него влияние. Они открыли ему глаза на то, что творилось вокруг него, но открыли умело, не наставляя и не поучая его, а заставляя его самого увидеть то зло, какое расплодилось вокруг него неистовые Милославские.

Мало-помалу влияние Языкова и Лихачёва на царя всё росло, а Милославские не замечали этого: вероятно царские дяди и не догадывались, что можно любить родную страну, а не грабить, как грабили и душили её они.

Был и третий близкий человек у юного царя: всё тот же постоянно тихий, скромный, державшийся всегда в стороне иезуит Кунцевич.

Теперь никто не узнал бы в нём прежнего отца Кунцевича. Иезуит носил московское платье, отпустил себе по-московски бороду и волосы. Словом, внешним видом он не напоминал бесстрашного воина чёрной рати Игнатия Лойолы, а казался заурядным москвичом, человеком, который не в состоянии и воду замутить.

Милославские его-то совсем просмотрели, лучше сказать, даже и не видели его.

Между тем отец Кунцевич был ближе всех к царю Фёдору. Их свидания происходили почти тайно. Бесшумно скользила тёмная фигура по тайным дворцовым переходам, проникла, вряд ли кем замеченная, в царскую горенку, где и затягивалась их долгая-долгая беседа.

Языков и Лихачёв знали об этих посещениях, но никогда не препятствовали им. Отец Кунцевич незаметно успел очаровать их и привлечь на свою сторону, и они сами очень любили беседовать с умным, всесторонне образованным иезуитом.

Между тем в конце четвертого года своего царствования царю Фёдору несладко пришлось от своих "дядьёв". Милославские решительно принялись за него, заставляя его жениться.

— Да что же это такое? — настаивали тот, то другой из них, налетев на юного царя. — Ведь ежели царь холостой, то добру от того не быть. Сколь ещё времени престолу наследника законного ждать? Что и будет только, ежели нарышкинский выпороток на престол сядет? — стращали они царя ненавист-

ным для них, но не для него, царевичем Петром. — Жениться тебе, государь, нужно и откладывать женитьбу не нужно. Нечего откладывать! Соберём невест, такие кралечки на примете есть, что так ты и растаешь, яко воск от лица огня!..

Но, сколько ни приставали дядья, царь в этом вопросе не уступал.

— Рано ещё, — отвечал он, — проживу так! А что до невесты, царицы вашей будущей, так я и без смотрин себе супругу найду.

Дядья пытались выпрашивать, кто именно — избранница царского сердца, но юный царь упорно молчал. Знал он, где живёт его лапушка, да сказать боялся. В этой боязни поддерживал его и отец Кунцевич, справедливо указывая на печальный пример Евфимии Всеволожской. И в самом деле, от Милославских всего можно было ожидать. Но время всё-таки шло, женитьба становилась уже необходимостью, долее тянуть было нельзя. Не знал Фёдор Алексеевич, как поступить ему тут; и опять к нему пришёл на помощь его любимый советчик отец Кунцевич.

— Вызови, государь, чернавского воево-

ду, — присоветовал он, — как бы для твоего государева дела, да предупреди, что, может быть, назад в Чернавск он и не вернётся, вот он и приедет тогда с дочкой своей...

Такой совет пришёлся по душе юному царю. Он через отца Кунцевича знал многое о Ганночке, — знал о том, что она отказывается замуж идти, и жалобно замирало его сердце, когда он думал:

"Не из-за меня ли!"

XLV ЖДАННЫЙ СВАТ



азве только сердце подсказало бы юному Фёдору Алексеевичу, если бы он увидел Ганночку теперь, спустя четыре года, что эта пышная красавица — именно та девушка, почти девочка, только что распускавшаяся из подростка, которую он видел в памятный

день крестного хода.

Ганночка дивно похорошела в эти быстро промелькнувшие годы. Не одно мужское сердце сохло по ней, да и старик Грушецкий был без ума от красавицы-дочери. Одно печалило и сушило его: много славных и богатых людей сваталось за его дочку, но она наотрез отказывалась идти замуж. Семён Фёдорович голову терял в догадках, с чего бы это, однако, не настаивал. Дочь он растил не по-московски, а свободно, не стесняя её девичьей воли. Он всегда оберегал её от всяких бед и, если бы избранник Ганночки вдруг оказался недостойным её, Семён Фёдорович, вернее всего, не дал бы своего благословения, но в том, что "девка подрасти хочет", он ничего особенного не видел: старик был уверен, что его ненаглядная дочка вековушей-перестарком не останется.

— Ой, милая, — иногда попугивал он Ганночку, — будешь разборчива не в меру, как бы вековушей тебе не остаться? Бывает с вами, девками, это.

— Не бойся, батюшка, не останусь, — бойко и задорно отвечала Ганночка, — придёт, ро-

димый, и мне череда...

— Ой, девка, — покачивал головою старик, — ждёшь ты кого-то, вижу я это.

— Жду, батюшка...

— А кого? Которого короля или пана?

Ганночка смеялась в ответ, кидалась на шею отцу, душила его в своих объятиях и тихо шептала ему на ухо:

— Уж такой-то мой суженый-ряженный, что ты, батюшка родимый, ахнешь, когда про него узнаешь!..

Старика эти постоянные ответы дочери приводили в удивление.

"Ну, уж и народ пошёл! — думал он, раскидывая мыслями о том, кого это готовит ему в зятя его дочка. — Ведь вот и девки, а на всё сами лезут. Нет того, чтобы, как прежде, отцы их замужеством располагали да мужей им выбирали... О-ох, отживают старики свой век!"

Сколько он ни ломал головы над мучившим его вопросом о замужестве дочери, — ответа всё не было. Не было даже малейших указаний, кого наметила себе в мужа красавица Ганночка.

Иногда он вспоминал об Агадар-Ковранском, но о последнем не было ни слуха, ни духа: он словно в воду канул после того, как подрался при встрече в Москве с паном Мартыном Разумянским, и, где он был, что с ним, — никто не знал. Семён Фёдорович даже подсылал своих людишек в его лесное поместье к старушке Марье Ильинишне, но и там ничего не знали о князе Василии. Впрочем, там не особенно беспокоились, так как хотя и не частые, но зато долгие, длившиеся годами, отлучки князя бывали и ранее.

Один только раз мелькнула у старого Грушецкого надежда на то, что его любимица-дочь покончит со своим девичеством...

Пан Мартын Разумянский заслал было свата, вернее — посла, который прежде всего должен был разведать, как принято было бы его сватовство. Партия была и подходящая, и желательная для Грушецкого. Ему, потомку польского выходца, не противна была "крыжацкая вера", да и сама Ганночка как будто серьёзно отнеслась к этому брачному проекту.

Но тут, будто прознав о сватовстве, вдруг

явился в Чернавск отец Кунцевич. Он нередко наезжал к воеводе, и дружба между ним и Семёном Фёдоровичем поддерживалась по-прежнему добрая. Конечно старый Грушецкий поспешил высказать иезуиту свои мысли о возможном и желательном союзе.

— Так уславливается, — рассказывал он: — пусть они здесь повенчаются по нашему обряду, а как уедут в Польшу, на них моя воля кончается; тогда пусть дочь, ежели пожелает, в вашу крыжацкую веру идёт. Я погляжу, погляжу, да и сам за рубеж отъеду. Делать мне здесь нечего. Видно службишка моя и молодому царю не нужна, как и его батюшке, царство ему небесное, вечный покой!

Отец Кунцевич, слушая это, головою покачивал.

— Не делай этого, воевода, — серьёзно ответил он, — веры все одинаковы, кто в какой родился, тот в ней и оставайся. Да притом же, кто кроме Господа будущее знает? Вон царь молодой жениться хочет, собирать невест будет. Или тебе царским тестем стать не охота?

— Куда уж нам? — махнул рукою Грушецкий, а у самого словно маслом душу полили.

Ганночка тоже беседовала с иезуитом, о чём именно, старик не знал, но после этой беседы она наотрез отказалась от замужества с Разумянским, и подосланный разведчик уехал из Чернавска ни с чем...

Снова потянулся день за днём; снова беспокойство о судьбе дочери-упрямицы мучило состарившегося воеводу.

Вдруг в Чернавск прибыл из Москвы царский посланец, да не простой какой-нибудь, каких обыкновенно посылали, а сам думский стольник Алексей Тимофеевич Лихачёв, ближний к царю боярин, свой человек в его покоях.

С великой честью постарался встретить его чернавский воевода. Ему никогда столь близко и быть не приходилось от царедворцев, а тут — накость! — этакая особа у него в хоромах очутилась.

Алексей Тимофеевич держался важно, но был ласков. Грушецкий и думать не знал, что это может значить. Он смекал, что не спроста явился боярин, но спрашивать не осмеливался и с замиранием сердца ждал, что скажет ему царский посланец.

А тот медлил и в конце концов старик заметил, что слишком уж пристально приглядывается боярин к его Ганночке, и не всегда пристойно приглядывается, как будто мысленно проникает своим взором во всё, что её наряды скрывали от взгляда мужского.

Такое разглядывание несколько оскорбляло старика Грушецкого, но делать было нечего: слишком уж высоко поставлен был думский стольник Лихачёв, чтобы смел на него обижаться какой-то захолустный воевода.

Несколько дней Лихачёв молчал о цели своего приезда; но наконец настал такой момент, когда важный царедворец, многозначительно крякнув и лукаво подмигнув Семёну Фёдоровичу, произнёс давно жданное:

— А ну, воевода, поговорим по душам!

Грушецкий даже побледнел от волнения, когда услышал эти слова. Он понял, что их разговор будет весьма серьёзным. Лихачёв потребовал, чтобы ни одна живая душа не слыхала, о чём они будут беседовать.

— Так вот что, воевода, — заговорил первым боярин Лихачёв и тон его голоса стал весьма серьёзен: — поди, смекнул уж ты, что

не спроста я к тебе в Чернавск припожаловал.

— Думалось мне о том, боярин дорогой, — простодушно ответил Грушецкий, — невдомёк мне только было, какое у тебя столь важное дело ко мне случилось...

— А вот послушай какое. А насчёт твоего смирения так это хорошо. В Писании сказано: последние да будут первыми. Нужно тебе на Москву собираться.

— А зачем, милостивец? — воскликнул Грушецкий. — Что мне там делать, если служба моя государю царю не нужна?

— Постой, не пой! Говорю, что нужно, так нужно. Ну, не буду обходами лясить. Только пока молчок обо всём, что скажу, не то всё дело испортишь. Ведь злых людей в наши времена много. Так, о чём бишь я? Да, на Москву тебе надобно, и не одному: дочку вези с собою! Счастье великое вам, Грушецким, привалило: восхотел великий государь твою Агафью в супруги для себя взять!

Когда прежде мечтал об этом самом Семёне Фёдоровиче, то у него слюнки от счастья текли и душа восторгом наполнялась, а теперь, когда мечты наяву сбывались, он до крайности

испугался.

— Да за что же мне такое-то? — воскликнул он. Алексей Тимофеевич засмеялся и спросил:

— Или не любо? Брось, воевода, не притворствуй! Коли счастье привалило, хватай его. Ну, да любо или не любо, твоё дело, но воли твоей в том нет. Приедешь в Москву, будто по царскому вызову о здешней службе, а там сейчас твою Агафью в терема возьмут, будет она сказана царской невестой и станут её готовить к брачному венцу.

— Как Рафову дочку! — невольно вырвалось восклицание у Грушецкого, вспомнившего печальную участь Евфимии Всеволожской.

Лихачёв заметно нахмурился.

— Брось скулить! — с досадой произнёс он. — Тогда одно было, теперь другое. Под особой охраной дочь твоя будет: сам я да думский стольник Иван Максимов, сын Языков, беречь её будем. Ты только сам пока не болтай, а то пожалуй Евфимьину участь и в самом деле накликаешь. Ну вот, сказал я тебе, что надобно. А свадьбу скрутим живо; вра-

ги-нахвальщики и глазом не моргнут, опомниться не успеют, как станет твоя дочь над ними царицею, а тогда им ничего не поделать...

— Так ты, боярин, царским сватом что ли приехал?

— Сватом не сватом, а одни лишь вороны прямо летают, — уклонился от прямого ответа Алексей Тимофеевич. — Ну, коли сказ кончен, так и ко щам идти надобно, у тебя их вкусно готовят...

Как сонный, повёл Семён Фёдорович посланца-свата в столовую; в глазах у него стлался туман, мозг так и зудила неотвязная мысль:

"А что, если и теперь Ганночка заупрямится?"

Но этого не случилось, и сильно удивлён был этим Грушецкий.

Вопреки приказу боярина Лихачёва, он в тот же день рассказал дочери, в чём дело и какую участь приготовила ей судьба. Так и вспыхивало лицо девушки, когда она слушала отца, глаза блестели, а высокая грудь так ходуном и ходила. Вдруг она кинулась на

шею отцу, прижалась к его широкой груди и сквозь слёзы залепетала, чего Семён Фёдорович и ожидать никак не мог:

— Батюшка дорогой! Да ведь Феденька-то мой и есть тот самый суженый и ряженный, о коем я тебе столь много раз говорила.

Тут уже старик от изумления руками развёл и только и нашёл, что сказать:

— Ну и девки же ноне пошли! Сами себе женихов добывать начали! Последние времена пред антихристовым в мир пришествием!

Как чудную сказку слушал он, что дальше рассказывала ему дочь. А она не скупилась на подробности. Повела она батюшке, что нагадала ей старая ведьма Ася в ту ночь, когда она пришла к ней в погреб в доме Агадар-Ковранского, рассказала, что и в обморок-то она упала при крестном ходе только потому, что узнала в юном царевиче-наследнике своего суженого-ряженого. Полюбился он ей, и ждала она его все эти годы, а её любовь родилась из жалости.

— Уж больно он несчастненький с вида, — сказала Ганночка в порыве откровенности, — что былиночка придорожная: какой ветер

пахнет, туда и клонится. За худобу да убожество полюбила я его, и знала я, сердцем чувствовала, что пришлёт он за мной, соколиком любый!

Девушка с такою спешностью и оживлением принялась за сборы, что Лихачёв, подмечавший всё это, однажды с добродушною, но грубою усмешкою сказал Семёну Фёдоровичу:

— Ишь, воевода, как у тебя девка-то засиделась! Видно невоготу стало, так приспичило, что и дождаться честного венца не может.

Всё свершилось по плану Лихачёва. Он сам сопровождал Грушецких в столицу, а там сейчас же Ганночку взяли в терема, как царскую невесту.

Сильно всполошились царские дядья Милославские, прознав об этом. У них была своя кандидатка в супруги Фёдору Алексеевичу, и вдруг выходило совсем не так, как они надумали. Их добыча-царь выскальзывала из их цепких рук; интриги не помогали, царь даже и слушать не хотел своих недавних советчиков.

ИСПОЛНИВШЕЕСЯ ГАДАНЬЕ



Частливые дни переживал Фёдор Алексеевич. Сразу для него наступили дни радостной весны.

Был апрель. Пышно развёртывалась воскресавшая после зимы природа; всюду был дивный праздник воскресения. И в душе царя тоже был праздник воскресения любви.

Да, юный царь Фёдор Алексеевич любил, любил, как любят только один раз в жизни. Страсть уже родилась в его сердце из любви.

Прежние дедовские порядки уже давно были поколеблены. Обычай соблюдались лишь внешне, московские люди во многом жили по-новому, "по-иноземному", как тогда говорили. Порядки Кукуевской слободы были у всех на глазах, жизнь москвичей быстро ме-

нялась; хотя старые устои как будто и оставались, но люди старались не замечать, что они уже подточены мощно врывавшимися в жизнь новшествами и должны были рухнуть, унося с собою в бездну забвения весь старый бытовой строй.

Затворничество женщин существовало только по названию. Московские дамы того времени и флиртовали и блудили не менее западных женщин. Сохранялось внешнее ханжество и затворничество, а на самом деле под этой маской скрывалась самая разнузданная свобода. Словом, всюду так и веяла всё сильнее и сильнее новая жизнь.

Царь также воспользовался такой свободой. В один из прелестных весенних дней он навел свою невесту, которую до того близко видел всего лишь раз в жизни.

Не как царь-повелитель всемогущий явился к своей невесте Фёдор Алексеевич, а как трепещущий влюблённый, для которого во всём мире одно только солнце, одно божество, одно счастье — его возлюбленная...

Войдя в покои невесты, он остановился, как вкопанный, и даже зажмурился слегка,

словно яркое солнце вдруг ударило ему в глаза.

Неземным существом показалась ему невеста. И сама Ганночка была чудно-красива, а грёзы, все эти годы распалывшие царское сердце, придавали ей ещё более красоты в глазах царя.

Несколько времени влюблённые смущённо молчали.

— Агаша, милая, — чуть слышно проговорил Фёдор Алексеевич, — так ты вот какая!

В этих словах, в тоне их слышался неопи-суемый восторг, и Ганночка женским чутьём поняла его.

— Какой Бог уродил, государь, такая я и есть, — потупляясь, кокетливо проговорила она, — не нравлюсь ежели, отпусти меня к родителю!

Она так говорила, а сердце, трепеща, словно шептало ей:

"С чего ты? Ведь знаешь, что любя ты ему, пуще всего на свете любя. Чего даром сушишь доброго молодца!"

Фёдор даже вскрикнул, когда услышал слова Ганночки.

— Бог с тобой, разлапушка ненаглядная! — воскликнул он, подходя к молодой девушке и беря её за руки. — Ты ли не любя мне! Грех это сказать тебе было бы, если бы ты мне в душу взглянуть могла. С того самого дня — помнишь крестный ход? — неотстанно всё о тебе думаю. Как увидел я тебя, так словно разума лишился. Только ты одна пред глазами моими была, во сне мне виделась, на святой молитве чудилась... Ты, только ты! Как ты любя мне, я сказать словами не могу...

Он глядел, любуясь Ганночкой, в её голубые очи, весь трепетал, как будто лихорадка вдруг приключилась у него; его так и тянуло непреодолимой силой к этой чудной красавице, но в то же время врождённая дряблость отталкивала его прочь, душила его мужскую смелость, и вместо страстных жгучих поцелуев царь чувствовал, как слёзы подступают к его горлу.

— Сядем, милая, — с трудом выговорил он, — обо многом нам с тобою поговорить нужно.

— Поговорим, государь! — покорно согласилась Ганночка. — Такое мы с тобой дело за-

теяли, что без разговора нам никак невозможно.

Они сели рядышком, не разнимая рук.

— Спрашивай, государь, — предложила Ганночка, — и верь тому, что таиться от тебя я не стану. Всё выложу, что на душе есть. Спрашивай же!

Фёдор Алексеевич смущённо мялся, не знал, с чего начать разговор.

— Правда твоя, — наконец заговорил он, — такое дело, как мы затеяли, без разговора вершить нельзя, и, прежде чем повершить его, нужно, чтобы наши души были друг другу известны, как на ладони, а то и лада между нами не будет николи. Так вот какой тебе спрос от меня будет; отвечай, не таись и ничего не бойся! Неволею или волею ты за меня идёшь? Люб я тебе или не люб?

— Кабы не люб ты мне был, Фёдор, — серьёзно ответила Ганночка, — так не была бы я здесь вовеки. Никто моей воли в этом деле не снимал; на рубеже я росла, всегда вольная; если б не люб ты мне был и силком меня к тебе потащили, так на своей косе задавилась бы я, а всё-таки тебе меня как ушей сво-

их не видать бы. Вот тебе каков мой сказ на спрос твой!

Глаза молодого царя загорелись.

— А тебе от меня такой сказ будет, — чуть не закричал он. — С той самой поры, как увидел я тебя, полюбилась ты мне... пуще света белого, пуще солнца красного, пуще жизни земной полюбилась. Говорю тебе: сном я засыпаю — ты мне, любезная, мерещишься, будто живая, предо мною стоишь. Не посылал я столько времени за тобою потому, что боялся, как бы вороги тебя со света не сжили. Ой, сколь много зла около нас с тобою, Агашенька, будет... Болото трясинное! А я, видишь, какой? И телом слабый, да и душа у меня совсем не царская. Кабы мне можно было с престола уйти, ушёл бы я. Взял бы тебя и ушёл бы, куда глаза глядят, только бы от всяческого здешнего зла, да распрей, да грызни подале быть. Тяжко мне, Агашенька, тяжко на великой царской чреде! Один я, никто меня не пожалует, никто в душу мне не посмотрит!.. Сёстры, что чужие, убожеством меня корят, дядья и братья двоюродные — кровопийцы, изверги, своевольники; мачеху с братом и сёстра-

ми я по их воле выгнал, а я зла от неё не видывал. Всех, кто любил да жалел меня, я по дальним городам под опалу разогнал и остался один, как олень загнанный, среди волчьей стаи людей. Теперь ежели ты мне жить да царствовать не поможешь, так хоть со света мне долой...

Голос молодого царя перешёл в надрывистый крик; горе, обиды, постоянно затаиваемые, так и рвались теперь наружу. И вдруг Фёдор Алексеевич почувствовал, как две нежные, тёплые руки обвили его шею, и теплота молодого женского тела обожгла его.словно палящий огонь влил в него жгучий поцелуй, первый поцелуй женщины в его жизни!

— Милый, желанный, — слышался ему шёпот, — ведь и ты мне грезился постоянно, тебя я ждала все эти годы!.. Какой ни на есть ты, а люб ты мне, как я тебе. И буду я тебе другом из верных верным. Сильна я и духом, и телом; всех наших врагов мы сокрушим и будет нами народ православный вовеки доволен!

Юному несчастному царю казалось, что он уже не на земле, а высоко-высоко — на седьмом небе; страстные поцелуи пепелили его,

кровь бурлила и кипела, дух мутился, дыхание спиралось.

"Так вот она какова, любовь-то! — металась в его голове огненная мысль. — Вот он, бог-то, страдать заставляющий. И взаправду за такое страдание умереть не жалко".

Ещё никогда не изведенное чувство опьяняло юного царя. Роскошное молодое женское тело разливало в нём теплоту жизни. Он слышал и чувствовал, как около его сердца бьётся другое сердце, и опьянённый забывал всё, весь мир, самого себя, в тумане своей первой любви.

А кругом влюблённых мутилась скверная боярская грязца, стущались тучи клеветы, змеились двуногие ядовитые змеи в горлатных шапках, но пока ещё не жалили, а только шипели, чувствуя, что бессильны со всеми своими замыслами. Любовь пока побеждала зло.

Ганночка в семье царя одерживала победу за победой; как-то совсем незаметно она стала большой приятельницей с сёстрами царя; даже богатырше-царевне Софье она по сердцу пришлась, хотя вызвала у этой неукротимой

девушки весьма своеобразную характеристику.

— Хороша девка, слов нет, — отозвалась как-то с обычной грубоватой прямою Софья Алексеевна, — и рожей, и кожей взяла, и умом крепка: впрямь умница-разумница. Она у нас царём-то будет, а слюнтяй Федька-брат при ней царицей. Вот помяните моё слово: не он её, а она его в баню поведёт!

На такой отзыв царевны, которая и сама была умницею-разумницею, можно было вполне положиться. Софья по-своему очень любила своего хилого брата, но всё-таки не могла простить ему случайное вмешательство в её сердечные дела. Она не поняла, какой порыв толкнул его на это, не знала, что он сам тогда весь горел жаждою любви, и думала, что он хочет разлучить её с её свет-Васенькой, в котором она с каждым днём всё более и более души не чаяла.

Наскоро приглядевшись к невесте брата, она стала по-своему благоволить ей и мощно сдерживала интриганов Милославских от всякого поползновения устранить Ганночку.

Наконец, одна маленькая капелька заста-

вила выплеснуться наружу океаны боярской грязи: Ганночка посетила опальную царицу Наталью Кирилловну. В этом случае она оставила дело умно: сами царевны-сестры посоветовали ей посетить вдову Тишайшего; но Милославских это как холодной водой обдало, и Ганночка сразу приобрела себе в них заклятых злейших врагов, от которых ей не приходилось ждать пощады.

— Нарышкиница лупоглазая! — говорили потайно царские дядья, строя планы, как устранить прочь девушку. — Ишь, какой прыщ вскочил нежданно-негаданно! Засапожный бы ей нож в бок...

— И не пристало ей на московском престоле сидеть, — злобно высказался Дмитрий Милославский, — польского она порождения. Что и будет, ежели царица-полячка над православными воссядет? И так всякого разврата у нас много развелось, совсем в упадке древнее отеческое благочестие, а тут ещё всякие новшества пойдут: понедельники, среды и пятницы соблюдать перестанет народ, с жёнами в баню ходить не будут... Последние времена пред светопреставлением!

— А то ещё возьмёт царица-то полячка да антихриста породит, — разжигал брата младший Милославский.

— Верно, — ответил тот. — Нужно будет о сём на базарных площадях да в стрелецких слободах и в царёвых кружалах слух пустить, а ежели это не подействует, так другое у меня на примете есть. Как ни вертись полячка оглашённая, а от своей судьбы не уйти ей. Не с того, так с этого бока своё получит...

Но любовь царя оберегали преданные ему Языков и Лихачёв.

Устроено было так, что, вопреки обычаю, Фёдор Алексеевич был скороспело обвенчан с Агафьей Семёновной 9 апреля 1680 года. На русский престол воссела царица-полячка, и православный народ радостно принял её.

XLVII БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ



разу повеяло новым духом над Москвою и
над Русью после женитьбы царя Фёдора
Алексеевича.

Чуток народ православный, умеет разбираться он в том, кто ему — друзья, кто — враги. Понял он, что молодую царицу Бог ему послал в ограждение от всяких врагов-нахвальщиков да лютых бояр, грабителей и угнетателей.

Ганночку, или теперь уже царицу Агафью Семёновну, все в Москве полюбили, а по ней полюбили царя. Недовольство последним стало уменьшаться в народе, тем более, что все Милославские притихли, и если грызлись, то только со своими врагами Нарышкиными, которые тоже по большей части попритихли.

Это успокоение враждовавших бояр и их приспешников народ приписывал влиянию царицы на своего царственного супруга. Да, пожалуй, так и было. Слабовольный Фёдор Алексеевич всецело подпал под влияние своей супруги, и права оказалась царевна-богатырша Софья Алексеевна, когда сказала, что царём будет Агафья, а Фёдор при ней — царицею. Однако царь Фёдор Алексеевич даже и не замечал, что жена возымела на него столь большое влияние. Если бы кто-либо со стороны сказал ему об этом, он не поверил бы. Умело действовала Агафья Семёновна. Она была истинной хозяйкой в государстве, но, любя своего слабого и хилого мужа, всё-таки выдвигала его вперёд; и выходило так, что действовал сам царь Фёдор, и это сильно возвышало его в глазах народа. Он был милосерд: ангельски чиста была его душа, и он действительно стремился сделать счастливым свой народ.

Но влияние разумной супруги сказывалось не в одном этом. В царских палатах завелись многие новшества, которые до того никому и во сне не снились. Многие придворные — и

не легкомысленная молодёжь, а важные пожилые бояре — стали свои бороды подстригать и табачным зельем в открытую дымить, а кое-кто из них и в короткополое немецкое платье нарядился. Князь же Голицын свой дом совсем на зарубежную ногу поставил и жил не как русский боярин, а как пан-варшавяк какой-нибудь. И пиры у него шли по-заморскому, музыка роговая играла и пляски шли нерусские. На пирах боярские жёны всегда присутствовали — и что уже совсем срамно было — так по примеру царевны Софьи Алексеевны и боярские дочери также показывались и по-заграничному веселились.

Всё это бояре Милославские пробовали использовать против молодой царицы; они хотя и затихли, а своего дела не упускали.

— Полячка-царица всю святую отеческую веру кочерыжит, — неслоь по всем площадям из десятков и сотен уст людей, преданных этому боярскому роду. — Телячьей убойной царя кормит и под праздники с ним спит. Быть худу!.. Недаром звезда хвостатая по небу бродила!.. Вот она царицу-полячку на нас и намела.

Такие же толки распускались и в кружках стрелецких слобод, — но — странное дело! — они как будто и не трогали легко воспламеняющейся толпы. Ещё недавно Милославским совсем легко удалось поднять буйную гиль из-за сущих пустяков; эта гиль выросла в крупный бунт, и даже сам царь тогда был в опасности. Но теперь, что ни говорили разосланные повсюду смутьяны, как ни подстрекали они народ, ничего из этого не выходило.

— Что ж, что она — полячка? — обыкновенно отвечали подстрекателям. — Ведь она и в церковь ходит, и Богу по-православному молится, и память покойного царя-батюшки почитает. Со всей родней царской она почтительна и угодлива, а своих никого в мире еды-бояре не тянет. Патриарх ею доволен и священство тоже. А ежели у неё что с мужем не так и не по Писанию, так это — их супружеское дело. Кто там знать может? У них в опочивальне ночью никто не бывает, так ежели они в грехе, то и они же в ответе.

Милославские злились без конца, но вскоре им стало ясно, что путём ложных клевет и

всяческих подвохов им гиль против Ганночки не вызвать. Им приходилось искать нового средства.

— Что ж похвалялся-то? — как-то в минуту пылкого озлобления сказал Дмитрию Милославскому его брат. — Помнишь, говорил ты, что у тебя какое-то верное средство есть? Ну, так вот, где оно? Давай его сюда! Упустишь время — назад не вернёшь. Слышь ты, за Никона-пса полячка распинается, настраивает царя, чтобы он простил старого черта да на Москву вернул.

— Крепок старый пёс! — сумрачно проговорил Дмитрий. — Другой бы давно у Кирилла Белозерского скопытился, а он ничего себе, недохнет. Заправду худо нам всем придётся, ежели он на Москву возвратится! Народ-то за него, сметёт он нас.

Заточенный титан, патриарх Никон, был по-прежнему страшен стае хищных дворняжек даже и в своём заточении.

О своём средстве Дмитрий Милославский промолчал на этот раз и продолжал упорно молчать ещё несколько времени. Наконец он однажды позвал к себе брата, и когда тот

явился, то увидел в столовом покое молодого, но страшно измождённого человека, видимо только что перенёсшего долгое заключение в сырой темнице.

— Вот моё средство-то! — шепнул Дмитрий брату. — Знаешь ли ты, кто это? Погляди, погляди, может, и припомнишь?

— А кто? — недоумевал младший Мило-славский. — По облику как будто и знакомый, а признать не могу. Ну-ка, кто?

— Ага, не признал!.. Да это — князь Василий Лукич Агадар-Ковранский, вот кто! Припомнил теперь? Я его ради нашего дела из узилища вытянул. Уж теперь-то мы с проклятой полячкой справимся. Не из таких князь Василий, чтоб обиды без отмщения оставлять.

— А, помню теперь... Его ещё без вести пропавшим считали.

— Ну вот-вот, он самый. Пойдём скорей к нему.

Братья вошли в покой, где был их гость. Это был, действительно, князь Василий Лукич. Как страшно изменился он в эти годы!.. И узнать было бы нельзя в этом живом труп

былого мрачного красавца, отчаянного забияку, буяна, каких немного было на Москве.

С ним случилось ужасное, такое ужасное, что князь Василий и представить себе не мог, как всё это произошло.

Когда молодой царевич-наследник дал ему лестное поручение во что бы то ни стало разыскать столь заинтересовавшую его девушку, князь Василий и ног под собой не чуял, спеша услужить царевичу. Лестно ему было исполнить поручение, которое поставило бы его в близость к наследнику престола, в близком будущем царю. Он не считал такого поручения трудным и был уверен, что не далее, как к вечеру принесёт царевичу желанную весточку. Но судьба располагает людьми, и часто малые причины мешают исполнению великих замыслов. Спеша к тому месту, где произошёл случай с царевичем, князь Агадар-Ковранский не разбирал, кто ему попадётся навстречу. Он пошёл пешком, рассчитывая, что так скорей доберётся до места, и шёл без разбора и толкал всех, кто мешал ему.

Вдруг ему попался какой-то высокий чело-

век в нерусском одеянии.

Князь Василий и его толкнул довольно грубо, так что встречный даже пошатнулся.

— Ты чего, пёсья кровь, без толку тычешься? — раздался как будто знакомый Агадар-Ковранскому голос. — Вот я тебя, лайдака, выучу! — И в тот же момент здоровенный сокрушительный удар по уху свалил его с ног.

В следующий момент князь Василий уже был на ногах и, хрипло ревя, как разъярённый зверь, выхватил из-за сапога нож и кинулся на обидчика. Однако удар, ещё более сильный, чем первый, пришедшийся уже ниже виска, свалил его с ног и лишил чувств.

Когда через несколько времени князь Агадар-Ковранский очнулся, то он был уже крепко-накрепко связан, лучше сказать — весь обмотан верёвками, и его куда-то везли в закрытом возке. Во рту его был кляп, так что он даже и мычать не мог. Но его уши оставались свободными и он ясно слышал, что вокруг него раздавалась польская речь. Однако и это не давало ему никаких объяснений.

Его куда-то привезли, закутали ему голову и понесли на руках. Несли долго. Князь Васи-

лий чувствовал, что вокруг него пахнет погребной гнилью и сыростью. Наконец он очутился в каком-то подземелье. Тут ему голову раскутали. Он увидел чужих, незнакомых людей, а среди них — коваля с молотком и цепями. Кричать он не мог даже тогда, когда его оковали цепью вокруг пояса и вокруг горла и концы цепи оказались заклёпанными в железное кольцо, укреплённое в стене. Лишь тогда ему были развязаны руки и рот.

Из толпы выступил тот самый высокий человек, который побил его при встрече на улице. Князь Василий теперь узнал его. Это был тот самый литовец Руссов, которого он видел в свите пана Мартына Разумянского при встрече-поединке в придорожном посёлке.

— Ты — пёс смердящий, — заговорил громко Руссов, — и хотел укусить господина. Так тебе не следует на свободе гулять, а на цепи сидеть. Вот и посиди, пока на смилуется над тобой господин. Псу и житьё псовое. Лай, сколько угодно, но, если твой лай надоест, ты будешь бит, а смотреть за тобой вот он будет! — и Руссов указал на выступившего вперёд сумрачного богатыря-парня.

Князь Василий сейчас же узнал его и на душе у него стало неловко. Этим парнем был левовик Петруха, мстивший ему за свою загубленную сестру.

Князь понял, что поручения царевича теперь ему не исполнить.

Более четырёх лет просидел на цепи несчастный князь Василий. Только его титанически-могучее здоровье могло выдержать адские муки! Трудно и вообразить, как он не сошёл с ума. Во всяком случае, это была месть более ужасная; чем смерть. Уже убийственно было само сознание того, что великая избавительница — смерть — не приходит, и нет никаких средств призвать её с её великою тайною.

Иногда в подвал спускался пан Мартын Разумянский. С изобретательностью "цивилизованного" человека, он всячески издевался над бессильным пленником и всегда заканчивал свои издевательства ударом плети, с которой приходил к несчастному князю.

Это было страшной, невыносимой пыткой, но князь Василий всегда переносил её молча; зато, когда Разумянский уходил, и шум его

шагов затихал, он раздражался диким рёвом и бился на своей цепи, как сумасшедший.

Удивляло его только то, что приставленный к нему стражем Пётр вовсе не пользовался своим положением, чтобы мстить ему за прошлые обиды, а был добр и ласков по отношению к нему. Никогда не вспоминал он о своей замученной сестре, а напротив того, всячески старался, конечно по-своему, облегчить пленнику его существование. Это было единственное существо, которое хорошо относилось к князю Василию в тяжёлые для него годы. Обиженный князем Василием лесовик и спас его.

— Вот что, князь Василий Лукич, — как-то особенно внушительно сказал он ему однажды, — не может моя душа более терпеть, чтобы польское отродье православного терзало. Довольно тебе, как псу, на цепи сидеть!

— Избавь, освободи меня! — взмолился Василий Лукич. — Ничего для тебя не пожалею.

Петруха как-то особенно усмехнулся, а затем произнёс:

— Сестры-то замученной всё равно не вернёшь мне. Да и не нужно мне никакого твоего

награждения. Сестра мне, тобой замученная, почитай каждую ночь снится и всё за тебя просит. И вот на её просьбы я и склонился. Освобожу я тебя, благо время для того выпало припешное — нет наверху никого из поляков. Удирай с цепи! Да, вот что. Поди, знаешь на Москве бояр Милославских? Так вот допреж всего к ним лыжи наостри. Они тебя помнят и помочь тебе хотят. К ним и иди!

— А ты? — робко спросил князь Василий.

— Что я-то?

— Здесь останешься?

— Обо мне какая тебе забота? — снова мрачно усмехнулся Петруха. — Заботься о своей голове...

Он ушёл, оставив князя Василия в смутном ожидании свободы.

Петруха исполнил всё, что сказал. Спустя несколько дней он разбил цепи и, выведя князя, одел его с ног до головы вместо обветшавших лохмотьев в новое добытое им платье. Он сам проводил его до палат бояр Милославских и здесь сумрачно простился с ним.

— Не поминай меня лихом! — сказал он князю на прощанье. — Бог даст, больше не

встретимся...

С этими словами Пётр быстро отошёл прочь, оставив князя Василия одного.

XLVIII

ПОД ВЛАСТЬЮ ЛЮБВИ



Милославских князь Василий был встречен, как жданный гость. Братья, и в особенности на первых порах Дмитрий, окружили его всяческим уходом. Агадар-Ковранскому казалось, будто и они пришли в великое негодование, когда он рассказал им про своё ужасное заключение.

— Что и говорить, — сказал старший Милославский, — теперь полякам большая воля. В кабале у них московское государство; что хотят они, то и делают.

— Да с чего же это? — пробовал допытываться Агадар-Ковранский, но Милославские

уклонялись от ответа.

Одно только он и узнал от них, что нет более в живых царя Алексея Михайловича, и что царствует сын его Фёдор Алексеевич.

Теперь, когда он был свободен и от него отошла прежняя мука, в его сердце вскрылась прежняя рана; ему вспомнилась Ганночка и снова заклокотала в нём любовь и ревность.

— Где-то она, ласточка-касаточка моя, теперь? — вспоминал князь Василий про Ганночку. — Поди, замужем уже, счастлива и никогда не вспоминает меня. Да и то подумать: за что ей вспоминать-то меня? Малого слова меж нами по сердцу сказано не было. Ну, что же, ежели мне счастья не суждено, пусть она, ненаглядная, будет счастлива во веки вечные!

Слёзы подступили к горлу князя Василия, когда он подумал так; тихая, кроткая печаль нисходила в его душу.

Однако вдруг ревность, а вместе с нею и адски кипучая ненависть, насильно пробуждённая извне, вспыхнула с прежней свирепой дикостью в душе князя Василия. Об этом постарались Милославские, решившие сделать

князя орудием злобы против ненавистной им юной царицы Агафьи Семёновны!

Царские дядья узнали о заточенном русском князе от его тюремщика Петра. Сам перестрадавший своё горе и простивший его Пётр уже давно хлопотал о том, как бы избавить от мук своего несчастного господина, и обратился с этим к тем, кого, по его мнению, сильнее в Москве не было — к Милославским. Дмитрий Милославский, подробно расспросив Петра, быстро сообразил, что князь Василий Лукич может быть весьма полезен им, и тотчас заюлил пред добродушным Петрухой. Парень поверил и привёл к Милославским польского пленника.

Теперь оба брата решили, что время им приступить к исполнению своих мрачных замыслов, и умело повели своё дело.

Они с яростью, вполне способной распалить воображение ревнивца, долго рассказывали князю Василию, как вышла замуж Ганночка (о ней они всё, что им было нужно, узнали от Петра), так изобразили ему её "измену", что прежний яростный гнев закипел в душе Агадар-Ковранского. Наконец князю Ва-

силию было сообщено, чьей супругой стала Агафья Семёновна, и этому её замужеству был придан вид хищнического расчёта, а никак не свободно проявившегося чувства.

— Эх, — воскликнул младший Милославский, — уж если бы со мною такое было, ни за что не стерпел бы я! Нож бы в бок этой змее подколодной всадил, хотя она и царица! Поди, теперь подсмеивается она над тобою, Васенька!

Во время этой беседы кубки с вином не сходили со стола. Князь Василий, давно не видавший вина, пил с остервенением и с каждым глотком становился всё мрачнее и мрачнее.

— И всё-то это дело устроил крыжацкий пан Кунцевич, — словно вскользь заметил Дмитрий Милославский. — Задумал он нашего царя и весь народ в свою веру перевести, вот и подставил государю в супруги полячку богопротивную...

— Он? — прерывая хозяина, вне себя от ярости, закричал князь Василий и так ударил кулаком по столу, что все кубки и бокалы запрыгали.

— Он, всё он, — зашипел хозяин, — а теперь она, полячка проклятая, изменница твоя, поди, целует да милует муженька-царя, да над тем, кто из-за неё пострадал и сохнет, насмехается...

— Эх, — проговорил словно в раздумье Агадар-Ковранский, — ежели бы мне теперь нож отточенный, да подойти только поближе, уж за всё про всё расплатился бы я...

— А за чем дело стало? Хорошему человеку в таком деле мы всегда помочь рады. Ножей много, не жаль этого добра, а о том, чтобы провести тебя, так для этого такой у нас человек есть, что прямо на окаянную полячку наведёт, и делай с нею, что твоей душе будет угодно.

Сильно нетрезвый Агадар-Ковранский слушал эти речи и как-то особенно улыбался.

— Ну, чего же думаешь? — приставали к своему гостю оба Милославские. — Пойдёшь? Идти, так иди...

— А ну вас, — словно от назойливых мух, отмахнулся от них князь Василий, — ежели так, ведите!

Нетвёрдо помнил князь Василий, что было

дальше. Милославские не скупилась на угощение. Вино было безмерно крепкое, голова же Агадар-Ковранского после заточения слабая. Словно туманной дымкой застлало всё в его глазах. Смутно помнил князь Василий, что его куда-то везли, потом вели по каким-то тёмным переходам, и наконец он очутился в небольшом, ничем не освещённом покое.

— Вот и жди здесь, — шепнул ему чей-то голос, — в стене щёлочка есть, как свет увидишь, загляни, полюбуйся на свою змею подколодную, на полячку окаянную...

Агадар-Ковранский остался один и прежде всего ощупал себя. За поясом у него торчал длинный нож.

— У-у, идолы! — рассмеялся с чего-то он. — Аспиды и василиски. Какое дело задумали! Ладно, посмотрим, что я там ещё увижу. Я уж за обиду разочтусь, над собой надсмехаться никому не дам...

Прошло ещё немного времени.

Вдруг в тёмной стене засветился огонёк. Бесшумно скользнул вперёд князь Василий и припал к ней глазом. За стеною был ярко освещённый восковыми свечами покой, по-

среди него стол, накрытый на два прибора. Невдалеке от него, в глубоком кресле, сидела царица Агафья Семёновна. Она слегка задумалась, но её лицо не отражало печали. Ясен и безобиден был её взор. Агадар-Ковранский смотрел на неё, и слёзы текли из его глаз. Он не замечал их; его душа всколыхнулась при виде этой чудной красоты. По округлости стана царицы он понял, что скоро на свет Божий явится новая жизнь, и эта новая жизнь поднявшись и окрепнув, послужит на добро и на славу той православной Руси, которую угнетали они, Агадар-Ковранские, и грабили такие, как Милославские...

Отворилась одна из дверей покоя, и вошёл сам царь Фёдор Алексеевич. Это был уже не прежний заморыш-юноша, хилый и чахлый; теперь он возмужал, был весел, румян. Безмятежное счастье укрепило его, пересоздало в славного русского доброго молодца...

Царица поднялась с кресла и, в силу своего положения несколько тяжело ступая, пошла навстречу к простиравшему ей объятия царю.

Дрожь пробежала по всему телу князя Василия, видевшего всю эту сцену. Подступив-

шие к горлу слёзы давили его. Не помня себя, он зарыдал и наобум кинулся к дверям из покоя.

Что было тогда в его сердце, князь Василий не соображал. На него словно опрокинулось что-то, но это "что-то" вовсе не было тяжёлым, давящим, угнетающим, а напротив того, он чувствовал восторг и умиление при воспоминании о той мимолётной сцене, которой он был свидетелем. Но вдруг он остановился: ему пришло в голову, что он перепутал переходы и теперь ему не выйти из этих дворцовых тайников...

В самом деле, он оказался в незнакомом ему месте. Это был какой-то узел дворцового лабиринта. Переходы здесь скрещивались, расходились в разные стороны, и князь Василий положительно не знал, куда ему идти, как выбраться из этой ловушки, в которую он был, очевидно, умышленно заведён.

— Окаянные, — задыхаясь шептал он, — смекнул я теперь, в чём дело. На зло меня наталкивали, хотели, чтобы её, ненаглядную мою, я погубил, а после того и сам бы попался. Да, нет, вот не вышло по-вашему!

Он радостно вскрикнул — один из переходов показался ему знакомым даже при слабом свете, кое-где мелькавшем в тайниках. Князь знал этот переход и уже не раз видел его. Это был проход в так называемые кельи царского учителя, Симеона Полоцкого. Бывая у него для встреч с Фёдором Алексеевичем, князь Василий а тех случаях, когда ему приходилось дожидаться одному царевича, нередко выбирался из богатого помещения развесёлого монаха-пиита и прокрадывался по коридорам то в ту, то в другую стороны. Бывал он и в этом переходе и теперь сразу же узнал узел лабиринта, откуда можно было пробраться чуть ли не в любое помещение дворца.

"Ну, и везёт же мне! — подумал он. — Этого-то Милославские не сообразили, что мне ходы здесь известны. Ну, что ж, значит, судьба такая, не погибнуть мне. Ладно, попробуем! Авось инок Симеон за наваждение бесовское меня не примет".

Князь смело двинулся по знакомому переходу. Тут уже было значительно темнее, и Агадар-Ковранский старался идти так тихо,

что его шагов совсем не было слышно. Вот и знакомая дверь роскошной кельи Симеона Полоцкого. Она была не прикрыта, и князю Василию достаточно было слегка толкнуть её, чтобы попасть в знакомые покои. Но он не сделал этого. До него донёлся говор голосов, и один из них показался ему знакомым. Несколько прислушавшись, Агадар-Ковранский так и замер на месте: он узнал этот голос! В покое монаха-пиита был иезуит Кунцевич, которого князь всё ещё считал своим наилучшим другом. С ним был ещё кто-то другой, и, только прислушавшись более внимательно, князь опять вспомнил этот второй голос. Он принадлежал Ивану Михайловичу Милославскому, царскому дяде.

— Ты уж, пан, — произнёс Милославский, — как там хочешь, а на нас не сердись. Не по нутру нам эта царица-полячка. Осетил ты государя нашего, попустил на то Господь. Мы, его верноподданные, должны порадеть о его здоровье и избавить его от дьявольского наваждения...

— При чём же я-то тут, боярин? — будто удивляясь, произнёс отец Кунцевич. — Моего

старания тут ни к чему приложено не было...

— Ну, полно, говори там! — оборвал его Милославский. — Разве не ты её Фёдору-то подсватал? Ведь мы тоже хоть и на Москве живём, а не лыком шиты!.. Не ты, что ли, князя Василия Лукича Агадар-Ковранского в погреба поляка Разумянского упрятал? Одного лишь ты боялся, что помешает он твоим замыслам, а сам так змеёю в ангельскую душу юного нашего царя и забирался, невесту ему подыскивал. Эх, вы, клопы чёрные!

— Постой, боярин! — перебил его отец Кунцевич. — Что ты говоришь, того я не ведаю. Никогда я не боялся князя Василия. Весь он всегда в моих руках был и, что я указывал ему, то он лишь и делал. Государь же ваш сам увидал свою невесту и сам прельстился ею...

— А ты ему сказал, кто она такая и где её разыскивать?

— Сказал, — бесстрастно согласился отец Кунцевич. — Отчего же не сказать-то? Нешто они — друг другу не пара? — Голос иезуита дрогнул как-то особенно, видимо его всего охватил порыв — страстный порыв восторга пред самим собой. И он вдруг заговорил с осо-

бенной пылкостью, заговорил не столько для своего единственного слушателя, сколько для самого себя: — Да-да! Разве не пара друг другу эти молодые люди? Сознайсь: я отдал их одного другому... Да, боярин, я сделал это, всех вас перехитрив. Но из этого великое благо произойти может — не для Польши моей, а для вашей же Московии.

— Ну, какое ещё там благо? — буркнул Милославский. — Лаешь, сам не зная что, пёс потрясучий!

Отец Кунцевич будто не слышал этого оскорбления, на которые никогда не были скупы Милославские, а прежним тоном воскликнул:

— Да-а, великое дело, великое дело! Большой народ погибает в кромешной тьме и уготоуван аду, преисподней, погибает и должен погибнуть, если только не просветится истинным светом и не воссоединится с великою римскою церковью, склонившись пред властью наместника Христа на земле. Об этом воссоединении и хлопочу я. Ради него и действовал я, ради него вырвал я Агадар-Ковранского из когтей смерти, когда он был болен, и

держу его теперь в своей власти, как держат цепную собаку до того времени, когда её нужно спустить на злого ворога.

— Ой, смотри, не спустишь! — выкрикнул захохотав Милославский. — Не хвались заранее...

— Спущу, боярин, когда нужно будет, — твёрдо произнёс иезуит. — Покорен мне князь Василий во всём и жизнь отдаст по слову моему.

— Ан не отдам! — раздался выкрик, и обезумевший Агадар-Ковранский ворвался в покой, где происходила беседа.

Он был страшен. Вся та ярость, которую разожгли в нём Милославские, и которую успокоила было подсмотренная им идиллическая сцена в царской столовой, вдруг вспыхнула в этом легко воспламенявшемся человеке. Признание отца Кунцевича в том, что он сам отдал Ганночку другому, заставило князя позабыть всякое благоразумие. Не, помня себя, он очутился пред иезуитом, и его вид был таков, что даже Милославский отступил прочь в ужасе.

— Окаянные, окаянные! — вопил Ага-

дар-Ковранский. — Что вы сделали оба? Вы оба, как коршуны, терзаете Русь несчастную, и не дорог вам её народ, а оба смеете кричать, что о добре её радеете.

— Ну, полно, полно! — попробовал остановить его Милославский. — Чего ты, князь, так разобиделся? Сделал ли дело своё удачно?

— Сделал, сделал, — словно в забытьё, несколько раз выкрикнул князь Василий. — Да так сделал удачно, что никогда вам и во сне не снилось.

— Так вот теперь отмсти за себя! — указал Милославский на иезуита. — Ведь это он — всех твоих бед заводчик. Он тебя на столько времени в смрадный погреб посадил. Кабы не он, так женился бы ты на Агафье Семёновне и жил бы теперь припеваючи. Ну, что ж, вот и рассчитайся теперь, ежели случай выпадает.

Голова князя Василия закружилась. Он выхватил поясной нож и кинулся было на иезуита.

Однако тот давно уже поднялся с кресла и теперь стоял пред ним, бесстрастный, недвижимый, готовый к роковому удару.

— Ну, что ж, — произнёс он, — убей, князь

Василий, меня, который тебя от смерти спас!
Ну, рази, что ли?!

Что-то звякнуло о пол. Это Агадар-Ковранский выпустил из рук нож.

— Не могу, не могу, — воскликнул он, закрывая лицо ладонями рук.

— Чего там не могу? А ты попробуй! — сильно толкнул его рукой Милославский, а сам взметнул рукой.

В следующий же момент отец Кунцевич грузно рухнул на пол. Князь Василий Лукич вскрикнул, но Милославский, ухватив его за плечи, потащил к двери.

— Брось, не думай! — шептал он ему на ухо, — чёрная собака и без нас кончится. А теперь, ежели ты своё дело сделал, так обоим нам улепётывать надобно.

На другое утро в Большом дворце начался переполох. В покоях, которые занимал бывший учитель царя, Симеон Полоцкий, нашли зарезанного насмерть человека. Это был иезуит Кунцевич. Чья рука поразила его, так и осталось неизвестным.

Солнце счастья сияло над молодыми царём и царицею. Своё счастье они, светлые,

любящие, распространяли вокруг себя. Но недолговечно счастье людское, всюду сторожит людей горе, крадётся оно за ними и настигает тогда, когда менее всего ожидают его люди. Не долго оно светило и царю Фёдору Алексеевичу и его дорогой жене, Агафье Семёновне[4].

Царевна на троне



I
ГРОЗНЫЙ АТАМАН



Округ большого и глубокого оврага, в стороне от большой проезжей дороги, пахло преступлением. Над кручами носилась стая воронья, пред пологим спуском была помята трава, поломан кустарник, как будто здесь только что была окончена отчаянная борьба. В ложбине оврага трава тоже была обмята и в воздухе носился запах свежей крови. И в самом деле, несколько в стороне виден был свеженасыпанный бугор, под которым, вероятно, была уложена на вечный покой жертва только что совершенного кровавого преступления.

То время было смутное. На московском престоле сидели малолетние цари Иван да Пётр Алексеевичи, а за их малолетством все-

ми государевыми делами правила их сестра, царевна Софья Алексеевна. Она была умной, способной правительницей, замечательно искусным политиком, но под нею всё-таки не было той почвы, какая нужна для успеха государевых дел: не было законности власти. Последняя была захвачена ею с помощью стремившихся к своеволию бояр да разнуздавшихся стрельцов. Кроме того, женщина на такой высоте — правительницы царства — была необычным явлением в России того времени, и, пожалуй, противников у царевны Софьи в годы её регентства было всегда гораздо больше, чем сторонников и приверженцев.

Открытого недовольства её правлением не было. Народ знал, что нужно же кому-нибудь быть на царстве, пока не подрастёт наследник Тишайшего, царь Пётр Алексеевич. Старики ещё помнили ужасы лихолетья и были твёрдо уверены, что хоть какая-нибудь власть всё же лучше, чем её отсутствие, и поэтому сдерживали от открытого бунта против правительницы тех, кто был помоложе. Может быть, из-за этого соображения люди мирились с царевной, но умаление законов всё-

таки чувствовалось во всём. Правительница, чтобы удержать власть в своих руках и чтобы самой удержаться "превыше царей венчаных", должна была делать всякие послабления своим наиболее заметным и могущественным приверженцам, а те, чувствуя свою безнаказанность, своевольничали, как хотели, вызывая протест и отпор со стороны народа, изнемогавшего от их своевольства и озорства.

Народная масса выражала свой протест против умаления и сокрушения закона и своевольства знати, как и всегда, грубо. Наиболее буйные и наиболее обиженные уходили в леса, на большие дороги, составляли разбойные шайки, грабили проезжих и преимущественно купеческие караваны, иногда нападали на помещиков.

Словом, чернь отвечала на своевольство и бесчинство знати своим своевольством и бесчинством. Неистовствовали верхи, их примеру следовали и низы. И, чем больше озоровали и насильничали первые, тем больше становилось разбойных шаек.

Страдать от этого приходилось тем, кто

был мирен, для кого ещё существовали законы и кто на них строил распорядок своей жизни.

Жить становилось всё тяжелее и тяжелее. Грубая сила крушила право. Никто не хотел знать обязанности. Каждый желал, чтобы его личная воля была законом. Кто был силен, тот был и прав.

Именно в силу таких условий и создалась большая разбойная шайка, обратившая в свои владения огромный дремучий лес с большой дорогой, пролегавшей на Москву. По всей округе наводили ужас разбойники. Про них говорили с ужасом, что это — не люди, а дикие, хищные звери, даже хуже их: ведь сытый зверь не трогал без надобности; злодеи же не только грабили, что было бы понятно в их положении, но и убивали, причём убивали не ради необходимости, а ради самого убийства, ради пролития крови. Бывали случаи, — правда, редкие, — когда даже некоторые из разбойников не выдерживали творившихся ужасов и убегали от товарищей, а затем, предпочитая верную гибель от руки палача, отдавались с повинною воеводам, хотя те и

расправлялись с ними без всякого милосердия.

Особенно страшна была эта разбойная шайка своей сплочённостью. Во главе её стоял человек несокрушимой воли, сотканный из железных нервов и отличавшийся прямо нечеловеческой отчаянностью. Кто он был — не знали даже ближайшие к нему люди из шайки. Он появился в этих местах никому неведомый, собрал людишек буйных и начал разбойное неистовство. Скоро вся округа дрожала от его разбойных дел. Действовал он всегда с отчаянной смелостью. На него и его шайку предпринимались большие облавы, но главарь был неуловим и ускользал, как тень, каждый раз, как только пробовали захватить его врасплох.

По рассказам убежавших из шайки можно было судить, что этот изверг был молод, но при этом, как рассказывали, лют по-зверски. Вид жертв, обречённых на смерть, жалких, вопящих о пощаде, будил в нём весёлость, зрелище их смертных мук вызывало в нём хохот. В схватках он был неустрашим и всегда кидался туда, где была наибольшая опас-

ность. В своих приговорах этот атаман был неумолим. За все проступки в его шайке было только одно наказание — смерть, и не было известно случая, чтобы раз произнесённое решение было отменено. Благодаря этому железная дисциплина крепко спаивала между собою разбойников, заставляла их без всяких рассуждений повиноваться вождю. Если прибавить к этому, что всех беглецов из шайки вскоре после побега находили убитыми, где бы они ни прятались, то понятно станет, что редко кто решался покинуть грозного атамана. Напротив того, несмотря на тяжелейшие условия, к нему шли люди, шли чуть не толпами, и, если бы грозный атаман пожелал, он быстро мог бы составить громадное скопище отчаянных головорезов. Но он, очевидно, не желал этого — его шайка не была особенно многочисленна.

II НЕЖДАННЫЙ ОКЛИК



Тот день, с которого начинается рассказ о правдивой истории давным-давно прошедших лет, шайкой было произведено нападение на проходивший мимо купеческий караван. Последнему не помог и конвой из стрельцов, сопровождавший его. Разгром был полный. Как и всегда бывало, ни в чём неповинные приказчики, извозчики, грузильщики были перерезаны без пощады, перебит был и конвой. Каким-то чудом уцелело только двое: один приказчик, отчаяннее всех сопротивлявшийся разбойникам, да ещё несчастный жалкий стрелчишка, притворившийся мёртвым в самом начале схватки.

Схватка на этот раз была жестокою. Сопротивление нападавшим было оказано и в са-

мом деле отчаянное. Один уцелевший приказчик чего стоил! Силища у него была медвежья — он так и швырял наседавших на него разбойников. Атаман, вопреки своему обыкновению, приказал взять его живым и даже без единой раны, а это стоило шайке четырёх товарищей; двум из них силач, сопротивляясь, раздробил головы, двое ещё умирали с переломленными позвоночниками.

Теперь этот силач, опутанный верёвками, ожидая своей участи, лежал под деревом, с завязанными глазами, с толстым кляпом во рту.

Разбойники, утомлённые схваткой и кровавой расправой с караванщиками, зарыли трупы своих несчастных жертв и отдыхали около громадного костра, разложенного в овраге без всякой опаски. Среди них очутился и стрелец. Утомлённые кровавой бойней, душегубы взяли его к себе для забавы. Они уже порядком подпоили его хмельной брагой и громко смеялись, слушая его хвастливые пьяные речи.

Бедняга как будто не совсем ясно представлял себе, что именно произошло. По крайней мере он как будто чувствовал себя далеко не

плохо среди душегубцев и, когда они хохотали, сам весело вторил им.

— Эх, ребята! — сказал он, оправляя обрывки своего стрелецкого кафтана, — взяли бы вы меня к себе, так никогда скуки не видали бы... Уж больно я парень-то весёлый.

— Ну, коли так, скоро на том свете развесёлое житьё пойдёт! — глумились над ним разбойники.

— На том, так на том, — согласился пленник, — мне всё равно...

— Будто? Иль жизнь опротивела?

— Не то, чтобы опротивела, а двум смертям не бывать, одной — не миновать. Поди, и сами это знаете...

— Как не знать? на этом и живём, — слышались отзывы, — кажинное утро просыпаемся, не зная, будем ли живы о полдень.

— И все теперь так живут, — возразил стрелец, — ишь, чем похвастаться нашли. Первеющие бояре и те с такими же думами просыпаются...

— Разве? Они-то с чего?

— Как с чего? Разве бояре-то не ваш брат Исаакый? Только и разницы между вами: вы

на большой дороге народ православный грабите, а они на Москве златоверхой... И по вас, и по них два столба с перекладиной плачут: ждут не дождутся, когда пожалуют гости дорогие...

Громкий смех встретил слова пьяненького стрельца. Это ободрило его. Он потянулся к жбану с брагой, налил её в ковш чуть не до краёв, выпил единым духом, крякнул и утёрся лохмотьями рукава.

— Молодец! — одобрил один из разбойников.

— Пить-то? — подхватил его замечание стрелец, — и не говори! Кто хочет пить научиться, пусть в московские стрельцы идёт...

— Будто уж насчёт этого так у вас на Москве хорошо?

— Чего хорошо! Море разливное... Есть не проси, а пить, сколько хочешь, заливай душеньку огненным пойлом. С тех пор, как померла царица светлая Агафья Семёновна да преставился после неё её супруг, великий государь царь Фёдор Алексеевич...

— Тише, молчи! Атаман! — понеслось во круг и всё разом смолкло.

К разбойничьему кругу около костра подходил высокий, красивый, далеко ещё не старый человек в богатом кафтане с саблей на боку и двумя пистолетами за поясом. На его лице был виден отпечаток тяжёлых страданий, но глядел он вокруг себя с холодным высокомерием. Подойдя, он в упор уставился на хмельного стрельца, и его глаза вдруг злое-ще сверкнули.

— Этот чего ещё на сем свете болтается? — хрипло крикнул он, — чего ему на земле нужно? Или на том свете места мало?..

Он поднял руку, готовясь дать роковой для несчастного знак, но в это время вдруг раздался громкий, укоряющий голос:

— Князь Василий, а, князь Василий! Бога бойся!

ВНЕЗАПНАЯ ВСПЫШКА



розный атаман так и задрожал, услышав этот голос.

— Кто, кто смеет? — вырвался у него крик и, обернувшись, он грозно, свирепо, дико взглянул в ту сторону, откуда раздались укоряющие слова.

Пощажённый разбойниками силач-приказчик каким-то образом освободился и от наглазной повязки, и от кляпа и теперь, сидя под деревом, с укором глядел на разбойника.

— Князь Василий, князь! — понёсся приглушённый шёпот среди разбойников, — так вот кто у нас атаман-то!

— С того-то он и лют непомерно, — довольно громко высказался один из разбойников. — Княжеское отродье всегда видно: им

бы только лютовать над нашим братом...

Разбойник не договорил: щёлкнул выстрел — и несчастный со стоном повалился на землю, поражённый пулею атамана. Весь разбойничий круг, вскочивший на ноги, так и замер, а грозный атаман, как был, с дымящимся ещё пистолетом в руке, очутился около пленника.

— Узнал? — наклонившись к нему, задал он вопрос, — узнал-таки?

— Ещё бы не узнать-то? — спокойно ответил тот, — мало разве на тебя нагяделся? Да ты об этом после... Теперь себя побереги... Вишь, твои-то как освирепели! Дай-ка мне ножик пути разрезать, может, я ещё пригожусь на что-либо...

Атаман оглянулся.

Случилось то, что нередко бывает среди людей, сцепленных между собою только общностью преступления.

Вид товарища, корчившегося на земле в предсмертных муках, осатанил этих озверевших и без того людей. Может быть, это новое злодеяние их атамана было последнею каплею, переполнившей запасы их долготерпе-

ния; может быть, они сообразили, что не для того сошлись они все сюда, на большую дорогу, не для того порвали всё, связывавшее их с честной, мирной жизнью, чтобы быть хуже, чем в рабском подчинении, и у кого?.. Пока они думали, что у такого же, как и они, обиженного и униженного, всё было ничего и даже слепо-рабское подчинение не казалось особенно тяжёлым. Но теперь, когда они внезапно узнали, что во главе их стоит ненавистное им "княжеское отродье", в них, собственно говоря, и на большую дорогу-то вышедших ради бессознательного протеста против неистовавшей и измывавшейся над угнетённым народом знати, закипела, разом проснувшись, ненависть; забыто было всё прошлое, они в эти мгновения жили только одною ненавистью и жаждали крови человека, которому за миг до того повиновались беспрекословно.

Теперь эти обезумевшие люди готовы были в клочки разорвать своего грозного атамана. Он сразу потерял над ними всю свою власть, всё своё влияние и из недавнего ещё владыки обратился в беспомощного, загнан-

ного зверя.

Атаман понимал и сам своё положение. Оно, действительно, было критическим. Из огнестрельного оружия, которым только и можно было сдержать наступавшую толпу, у него оставался только пистолет. Правда, у него была сабля — засапожный нож он кинул своему пленнику, — но что всё это значило пред хорошо вооружённой толпой, у которой были и пищали, и пистолеты, и сабли, и тяжёлые топоры-секиры?

Наступавшая толпа галдела, ревела, бесновалась. Взлохмаченные волосы, дико сверкавшие глаза, рубахи с ещё не просохшею кровью, — всё это сливалось пред атаманом в одно хаотичное целое. Казалось, на него наступала не толпа его соучастников в разбоях и злодействах, а какое-то диковинное, многоголовое чудовище, освирепевшее, не знавшее пощады, жаждавшее его крови.

В таком положении атаман забыл о своём пленнике. Он видел пред собою только озверевшую толпу и понимал, что лишь хладнокровие и присутствие духа могут спасти его.

— Прочь, вы, пёсьи дети! — закричал он,

поднимая оставшийся заряженным пистолет, — прочь вам говорят, волки бешеные! Первого убью, кто только шаг ступит...

Вид поднятого пистолета заставил толпу отступить назад шага на два.

— А, трусите, висельники окаянные? — закричал атаман. — Живо по местам все!..

Но на этот раз оклик не подействовал.

— Усь его, усь, собаку, — так и юлил пьяненький стрелец, натравливая разбойников на атамана. — Чего, братцы, стали?.. или вы, холопы несчастные, князя испугались?.. Вот он вам сейчас батожья горячего всыплет!.. Или давно, атаманы-молодцы, этого кушанья не пробовали?..

Стрелец суетился впереди всех. У него в руках был разряженный пистолет атамана, который тот бросил, кинувшись к своему пленнику. Пьяненький размахивал им и, указывая на атамана, выкрикивал:

— Айда! Усь его, чего стали!

Его ирония подстрекающе действовала на разъярённую толпу. Грозный атаман решительно ничего не представлял собою для этого чужака; он отнюдь не был для него грозою,

и этот пьяница своими насмешками вконец разрушил остатки обаяния атамана.

— Подержи-ка лоб, негодник! — крикнул тот, сообразив положение, и, с этими словами, направив на стрельца пистолет, дёрнул за собачку.

Но судьба не благопритствовала атаману. Последовала осечка, и толпа так и завывала, увидав новую неудачу своей жертвы.

— Ишь, ты без пороху палить вздумал? — закричал стрелец, — а ещё князь именитый!.. Моего лба хотел, свой подержи! Вот так! — и он, схватив за дуло, метнул в атамана его же пистолетом.

Тот схватился было за саблю, но в этот же момент пистолет, кувырнувшись неуклюже в воздухе, угодил ему своей тяжёлой рукоятью в голову около виска. Атаман слабо вскрикнул, взметнул руками и, ошеломлённый страшным ударом, рухнул на землю.

IV НЕЖДАННАЯ ВЫРУЧКА



Сё это было делом одного мгновения. Едва только упал сражённный атаман, как вся толпа разбойников, стремительно сбив с ног неутомонного стрельца, кинулась к своему ещё недавнему повелителю. Теперь-то, казалось, гибель этого человека была неизбежна, но тут случилось нечто неожиданное.

— Не трожь, ребята, говорю! — раздался ровный, спокойный голос и своею неожиданностью и спокойствием произвёл на толпу магическое впечатление. — Посторонитесь-ка, братцы, поотодвинься малость!..

Пред толпой, выпрямившись во весь свой богатырский рост, стоял недавний пленник, приказчик разгромленного обоза. Его вид был

необыкновенно внушителен. Он был на голову выше всех в этом разбойном скопище; в плечах у него что косая сажень была заложена; его руки, длинные и цепкие, спускались до колен, а грудь так и подымалась колесом под изорванною в клочья рубахою. Он стоял спокойно около лежавшего на земле без чувств атамана. Ярость освирепевшей толпы, очевидно, нисколько не пугала его. Он не боялся её, как будто сознавая своё превосходство над всеми этими людьми, которые были более несчастны, чем злы. К тому же теперь он был не совсем безоружен: в его руках был огромный толстый суковатый кол, на который он совершенно спокойно опирался.

Толпа, ошеломлённая неожиданным заступничеством за свою жертву, на мгновение приостановилась.

— Что стали? — крикнул кто-то из разбойников. — Забить их обоих!.. Вали, молодцы!

Повинуясь этому оклику, разбойники, но далеко уже не так дружно, как прежде, двинулись было вперёд.

— Ну, ну, молодцы, — прикрикнул на них пленник, — полегче вы!.. Говорю, лучше ото-

двинься!

Он слегка пошевелил колом, и в этом движении было столько угрожающего, что толпа и в самом деле несколько поотодвинулась.

Внезапно вспыхнувшее бешеное озлобление так же быстро и опало, как быстро вспыхнуло. Сознание просветлело, вернулась снова способность соображать и рассуждать, буйный порыв стих, и уже никому не хотелось подставлять свою голову под страшную палицу освободившегося пленника, силу которого все видели, а некоторые и на себе извели.

— Ну, вот так-то и лучше, братцы! — с добродушной усмешкой проговорил великан, — кажись, мы и без драки сговориться можем. Так вот, вы и послушайте меня...

— Говори! — раздалось несколько голосов, — ежели хорошее что скажешь, так отчего и не послушать?

— Вот и ладно! — отозвался недавний пленник. — Так вот, что я сказать вам хочу. То, что на большой дороге было, а потом в враге, пусть Бог рассудит. Его святая воля! Ежели Он попустил, так, значит, было надобно... Он с виноватых взыскивает и не нам

против Него идти. А вот что теперь будет, так это — уж наше дело. Этого человека я вам не уступлю: он мой уже давно... Старые счёты между нами, бо-ольшие счёты! Ежели к примеру, так сказать, я из него кровь по единой малой капельке всю выточу, так и то он у меня в долгу останется.

— Ого! — воскликнул кто-то из разбойников.

— Вот тебе и "ого", — отозвался богатырь. — Понимаете сами, почему я вам его уступить не могу... Да и на что он вам нужен? Ведь после того, что вышло, атаманом над вами он быть не может, — друг другу верить ни в чём не будете, а ежели вы убить его желаете, так бросьте! Не надоело вам, что ли, душегубство? Вы его мне отдайте, вот мой сказ. Согласны?

— А что нам за это будет? — выступил подбоченившись очухавшийся стрелец.

Великан посмотрел на него, засмеялся, а затем сказал:

— Чудишь, Ермил, брось смешить! А вы, братцы, ежели про выкуп меня спросите, то вам я, так и быть, отвечу. Головы ваши у вас

на плечах уцелеют, вот это и будет вам моим выкупом. А вы мне коня дадите ещё...

Он опять, словно невзначай, передёрнул плечами и шевельнул колом. И слова, и жест показались настолько внушительны, что разбойники, переглянувшись только, все разом пришли к молчаливому соглашению.

— Ну, Бог с тобой, добрый молодец! Пусть наш атаман тебе достаётся; бери себе, что нам негоже! Хоть вот здесь, в овраге, свои счёты с ним своди, мешать не станем...

— Нет, уж я лучше на стороне, — уклонился от этого предложения недавний пленник.

— Твоё дело! Мы с тебя воли не снимаем. Бери его и уходи, коня тебе сейчас приведут. А что он — в самом деле князь?

— Природный! — усмехнулся богатырь. — С чего он в разбой пошёл, того не ведаю, а только разбойником... да чего там разбойником! — зверем лютым он всегда был...

— Оно и видно! — раздались голоса, — и с нами он больше лютовал, чем промышлял...

— Ну, бери его, князя твоего, бери да уходи скорее! — закричал Ермил, — а не то товарищи свою милость назад возьмут... Вот тебе

конь!

В самом деле подвели хорошего скакуна с хорошо снаряженным седлом.

Богатырь, как пёрышко, поднял тело всё ещё бесчувственного атамана и вместе с ним взобрался на коня.

— Эх, Ермил, Ермил, — укоризненно покачал он головой, обращаясь к стрельцу, — нехорошо ты делаешь, что здесь остаёшься!

— Ладно, добрая душа, — выкрикнул тот, — не тебе знать, что для меня хорошо, что дурно! Поезжай-ка с Богом! — и с этими словами стрелец, превратившийся в разбойника, вытянул коня хворостиной и гикнул.

Испуганное животное рванулось с места и понеслось к дороге, вившейся по круче оврага.

Скоро становище разбойников скрылось уже из виду.

V
В ЛЕСУ



Он был ходкий, привычный к грузу и бойко
нёс свою двойную ношу.

Богатырь, один устрашивший своею решимостью столько отпетых злодеев, был с виду по-прежнему спокоен; тревога только тогда начинала скользить в его взоре, когда он взглядывал на своего бесчувственного пленника. Страшный удар рукоятью тяжёлого пистолета не разбил ему головы, по крайней мере крови не было видно, но всё-таки удар был так тяжёл, что надолго лишил атамана сознания.

Однако тряска, неудобство положения на седле, свежесть надвигавшегося вечера уже понемногу приводили беднягу в себя. Всё чаще и чаще раздавались его слабые стоны и

был близок момент, когда он должен был окончательно опомниться.

Спасший его богатырь, слыша вздохи и стоны ошеломлённого столь сильно бедняги, то и дело покачивал головой. Видимо он сильно беспокоился за него. Наконец он решительно остановил коня и, осторожно придерживая недавнего атамана, сошёл вместе с ним на землю. Они в это время были в лесу, уже значительно поредевшем, что показывало на близкий конец его. Может быть, из-за этого и остановился здесь освободившийся пленник.

— Пооправить бы его малость нужно, — тихо прошептал он, укладывая беднягу-атамана поудобнее у подножия большого, широко раскинувшегося своими ветвями дерева. — Эх, и людям показать нельзя... Признают, кто он, — в клочки разорвут... И куда бы мне укрыть его, вот чего не ведаю. Везде боязно оставить!

Как раз в это мгновение ошеломлённый атаман пришёл в себя. Быстро, нервным движением поднялся он на руках и осмотрелся мутным взором налитых кровью глаз.

— Где они, где? — закричал он, не узнавая местности. — Отчего их нет?.. А-а, вы меня убить захотели?.. Вот я вас!.. Всех перебью, будут помнить, окаянные!

— Будь, князь, спокоен, — склонился над ним спасший его силач, — кроме меня никого нет... Твои-то все, ау, далеко!

Князь-атаман устремил на него свой воспалённый взгляд и забормотал:

— Это ты, Петька, опять ты! Откуда ты появился! Ах, да, помню... Ты опять спас меня от неминуемой смерти...

— Видно, так мне уж на роду, князь Василий Лукич, написано, чтобы тебя вызволять! — потрянул головой великан. — Из-под медведя я тебя выцарапал, от самого себя спас, из польской неволи высвободил, вот теперь опять привелось... Да что об этом говорить-то?.. Надо думать, что Господь мне так повелел свои счёты с тобою сводить. А дюже твои-то на тебя осерчали. Видно, осточертели им...

По лицу князя пробежала судорога, но он ничего не сказал в ответ.

— Вот не думал-то, — продолжал Пётр, —

что встречу среди разбойного сброда имени-того своего князя Агадар-Ковранского... И как только это случиться могло? Ума совсем не приложу... Хоть ты мне скажи... А не хочешь — не говори; знаю — нелегко про такие-то дела рассказывать...

Он опять взглянул в лицо князя. Оно было мертвенно-бледно; глаза были широко раскрыты, но в них не отражалось мысли; губы шевелились, как будто князь хотел что-то говорить, но слова не срывались с его уст.

— Ахти, беда, — опять закачал головою Пётр, — вишь ты, снова обеспамятовал... Ох, грехи, грехи! Что же мне теперь с ним делать?

Он остановился и осмотрелся вокруг. Разбойничий конь, привыкший к подобным остановкам, спокойно пасся тут же на лужайке, поблизости. В лесу всё было тихо. Близился вечер. Даже птицы переставали чирикать.

"Опять обеспамятовал, — думал Пётр, — может, огневица начинается... Куда его девать? На село свезти? Нельзя! Ведь знаю его... видали атамана-то... Озlobятся и, поди, убьют, как увидят, а не убьют, так воеводе вы-

дадут. Далеко завезти тоже нельзя: больного куда повезёшь? И выходит: куда ни кинь, всё клин! Что делать? Хоть бы Господь Батюшка на ум навёл; у Него, Всемилостивца, и к зверям всяческая жалость есть... Чу, откуда это?"

Петруха весь так и насторожился, напряжённо прислушиваясь к доносившимся откуда-то издали странным, нестройным звукам. Слышалось, как будто кто-то дробно часто ударял палками в большой железный свободно висевший лист. Удары были то глухие, сильные, с перерывами, то переходили в дробь, так и сыпавшуюся в лесном безмолвии.

Услышав эти звуки, Пётр весь так и просветлел.

— Милостив, видно, Господь к нечестивцу, — тоном глубокого убеждения проговорил он, — в било бьют, святая обитель близко...

Он подошёл к князю. Тот лежал и бредил.

— Ясочка моя, касаточка! — довольно внятно срывалось с его запёкшихся губ, — и счастливо пожить-то тебе злые люди не дали... Извели тебя вороги окаянные, Милославские лютые... У-ух, расплачусь же я за твой ве-

нец мученический с палачами твоими... Нет той муки, которой бы я для них не придумал...

— Всё царицу покойную Агафью Семёновну вспоминает, — тихо, с грустью проговорил Пётр, — за неё Милославским отмщать собирается... Поди, он её один и помнит, хотя много ли годков с её мученической кончины-то прошло... Эй, князь Василий, — потряс он за плечо бредившего, — послушай-ка ты меня. Можешь подняться да на коня сесть?

VI

У ВРАТ ОБИТЕЛИ



Илы и сознание совершенно оставили князя Василия.

Несомненно, что потрясение было настолько сильно, что даже могучий организм этого человека не мог с ним справиться. С ве-

личайшим трудом взгромоздил Пётр князя на коня, а сам пошёл рядом, поддерживая его. Шёл он на звуки монастырского била, доносившегося с каждым шагом коня вперёд всё явственнее и явственнее.

Так, с величайшим трудом пришлось пройти, продираясь сквозь кустарники, несколько больше версты.

Монастырёк, маленький и бедный, ютился на обширной поляне с большим лесным озерком. Плохо срубленная оградка сильно обветшала. Из-за неё виднелись крохотные, топорной работы, главки убогой монастырской церкви и соломенные крыши столь же убогих келий-изб.

Вся обителька была миниатюрна, словно игрушечная. От неё веяло великим покоем; жизнь с её бурями и вихрями не добиралась сюда в эту безмолвную тишь. Озерко тоже было спокойно; оно словно спало невозмутимо среди лесных великанов — елей и сосен, росших по его берегам и защищавших его спокойствие от бурных шквалов налетавших иногда ветров.

— Господи Иисусе Христе, — ударив молот-

ком, начал было Пётр обычное монастырское обращение, когда добрался до плохо притворенной калитки в ограде, но даже и закончить не успел его.

— Ась, кто там? — слышался старческий шамкающий голос, — кого ещё Господь Батюшка несёт? — и словно из-под земли вырос старенький-престаренький монашек-привратник. — Ох, ох, что за люди? — шамкал он, — откуда такие?

— Путники, — ответил Пётр, — двое нас... Вот товарищ неожиданно заболел... Примите Христа ради...

— Заболел? Ахти, беда какая! — засуетился монашек. — С чего же с ним приключилось-то такое? Вы уже подождите здесь Бога для, а я к отцу игумену сбегаяю... Недолго я, единым духом смахаю... Вон и братия собралась... Тоже, хоть и ангельского жития, а любопытствуют...

Действительно, внезапный стук Петра в калитку нарушил обычную тишину и всколыхнул замершую в обители жизнь. Появление новых людей было столь необычно для ушедших навсегда от мира стариков, что и в

них заговорило уже давно забытое любопытство. Собралась вся братия: несколько древних монастырских, мохом обросших от своей древности, иноков да два-три послушника помоложе. Все они стояли и, не говоря ни слова, смотрели на прибывших, как на какое-то невиданное чудо.

— Ишь ты, конь-то как разубран! — произнёс один из стариков и, сильно вздохнув, зачем-то прибавил: — о-ох, суета сует и суета всяческая!.. Марфо, Марфо, пещешся о мнозем... а ад-то вот тут совсем близко; костры горят, котлы кипят, враги рода человеческого ликують... Что тебе, милый? — прерывая свои рассуждения, обернулся он к склонившемуся к его уху молодому послушнику.

— Откеле бредёте? — деловито спросил другой старичок.

Пётр не успел ответить: к ним подошёл сам настоятель обители, такой же древний старичок, как и остальные, но только более суровый с вида. Он пристально взглянул и на Петра, и на снятого уже с седла князя, находившегося в забытьи.

— Кто такие? — отрывисто спросил он, ко-

гда Пётр метнул ему земной поклон и подошёл после того под благословение. — Чем недужит? — указал он на больного.

— В дороге попритчилось, — не отвечая на первый вопрос, сказал Пётр, — трясовица, видно, злая... Приютите, святые отцы, Христа ради, не дайте погибнуть душе христианской без покаяния!..

— Как, отцы, думаете? — оглядел братию настоятель. — По-моему, недужного надобно приютить...

— Приютить-то недолго, — выступил инок, шептавшийся с послушником, — отчего Христа ради недужного не приютить? Да как бы святой обители от того беды и греха не вышло?

— Какой беды? Какого греха? — уставился на него настоятель, — о чём, отец, говоришь-то?

— А о том, отец игумен, — ответил старец, — что не простой человек недужный-то, а лихой: душегуб и разбойный атаман, вот кто он такой... Слыхали, поди, шайка разбойных людей в нашей округе завелась? Так вот он над той лютой шайкой и атаманствует!

Сперва словно тихий шелест пошёл среди безмолствовавшей братии, но потом привычка взяла своё и все замолкли.

Настоятель, внимательно поглядел на Петра и суровым тоном спросил:

— Правда?

— Правда, отче! — твёрдо ответил тот, смотря своим светлым взором в глаза монаху. — Лгать не буду!

— То-то ты и увильнул, когда я спрашивал, кто вы такие будете... Сам-то ты тоже из душегубов большедорожных?

— Нет, отче, — твёрдо ответил Пётр, — никогда разбойными делами не занимался и, пока Господь не попустит, заниматься не буду...

— Так как же вы вместе очутились-то?

В ответ на это Пётр рассказал всё, что случилось с обозом, к которому он принадлежал, а потом среди разбойников.

— Никогда я не лгал, — закончил он свой рассказ, — и теперь правду говорю. Грешник он великий, не одно только атаманство у него на душе... Много грехов у него, да ведь нельзя же дать погибнуть и такой душе без покая-

ния...

— Верно! — произнёс настоятель. — Ну, отцы, как? Вы слышали...

— Нельзя принимать! — высказался всё тот же старец, который первый заговорил против принятия недужного.

Остальные молчали, видимо присоединяясь к уже высказанному мнению.

— Стыдитесь, отцы! — громко воскликнул настоятель, — не узнаю я вас... Судите вы человека по делам его, которых и не знаете даже... Богу единому суд: "Мне отмщение и Я воздам", — говорит Господь!

VII В ОБИТЕЛИ



Таричок-настоятель был взволнован и казался в то же время сильно разгневанным. Он смотрел, переводя взоры, то на больного, беспамятного разбойника, то на Петра, стоявшего около него с понуренной головой, то на смущённую его упрёком братию. Наконец, он заговорил резко, властно, внушительно.

— Данной мне от Бога властью, — громко, отчётливо, повышая каждое слово, начал он, — беру я этого неведомого человека, лютой болезнью одержимого, в святую обитель нашу. Неисповедимы пути Промысла, и не нам — грешным, слабым людям — проникать в них! Не нам судить ближнего — пусть его Господь судит; пред лицом Господним все грехи человеческие... А тебе, отец Харлампий, —

обратился он к старцу, указавшему, кто такой был недужный, — суетой мира прельщённому и Христа Бога нашего позабывшему...

— Прости, отец, — склонился пред ним старец, — ангел, должно полагать, от меня отступился и лукавый посетил...

— Погоди, помолчи! — прервал его настоятель. — Тебе, говорю, суетою мира прельщённому, послушание назначаю: возьми недугующего к себе в келью и ходи за ним, пока не выздоровеет он. Ходи прилежно, без докуки, ты к тому же от Господа в понимании трав и кореньев лечебных умудрён... Вот твоё послушание!

Провинившийся старец смиренно поклонился настоятелю и, указывая молодым послушникам на беспамятного князя-разбойника, сказал:

— Помогите-ка, мне, недостойному, милые! Немоцна плоть моя, сила оставила тело моё. Понесите-ка его, милые, в келейку мою... — Он снова поклонился в пояс настоятелю и добавил: — согрешил я, отче, согрешил, окаянный; прости ты меня, немощей моих ради!..

— Бог простит, — сурово ответил настоятель, — иди и впредь не греши! — Он внимательно проследил, как послушники подняли недужного разбойника и понесли его к одной из изобок-келий, а затем распорядился: — коня-то выводите, напоите, овса задайте, Божья тварь! А ты, молодец, — обратился он к Петру, — иди за мной!

Скоро в обители наступила прежняя, ничем не нарушаемая тишина. Словно в сон глубокий погрузились и люди, и лес, и тихое озерко. Только по далёкому небу плыли вечерние облака, гася последние отблески уже давно наступившего заката.

Наутро, чуть свет, Пётр был отпущен игуменом. Долго длилась накануне его тихая беседа со строгим настоятелем и всё, всё без утайки рассказал он старцу — и про себя, и про князя Василия Лукича Агадар-Ковранского, и про его горемычную жизнь. Этот рассказ не был покаянною исповедью, но был так же правдив, как она. И внимательно слушал старик-игумен, чувствуя, что искренни были слова этого простодушного богатыря, что в рассказе ничего он не пытался скрывать от

своего сурового слушателя.

"Прост, как дитя, парень, — вздыхая, думал старик, — христиански незлобиво его сердце; как младенец он, а такие-то и Господу угодны"...

Отпуская, он благословил Петра и даже просфору ему дал, собственноручно вынутую.

Жизнь опять замерла в обители после отъезда Петра. Изредка бороздил челнок инок-рыболова гладь тихого лесного озера, а то не было видно по целым дням никого ни у ограды обители, ни на её тесном дворе. Только рано по утрам да под вечер созывал монах-звонарь ударами в било братию на молитву в убогий храм.

Но жизнь замерла только во внешности... Мощно ворвалась она бурным потоком в тихую обитель, разлилась по ней всюду, вплеснулась в каждое сердце человеческое и нарушила его недавнее спокойствие. То и дело у келейки отца Харлампия, словно невзначай, сталкивались молодые парни-послушники, перекидывались будто мимоходом двумя-тремя словами и разбегались, как разлетаются испуганные воробьи в разные стороны,

завидев приближавшегося старца.

Молодыми послушниками руководило любопытство; оно же беспокоило и отживших свой век старцев.

Легендарна была известность грозного атамана разбойников. Рассказы о его жестокостях приводили в трепет людские сердца. Сколько людей проклинали его, об этом только Бог один, всеведущий, знал, сколько человеческих жизней тяготило душу этого отверженца. И вот он, этот страшный человек, этот беспощадный душегуб, лежал в стенах мирной обители, в приюте великой Христовой любви, среди людей, давно уже позабывших, что такое ненависть. Старик-инок, высказавший ему неприязнь, ухаживал за ним, как самый близкий ему человек.

Отец Харламбий оказался и в самом деле искусным врачом. От его снадобий князь-разбойник скоро почувствовал облегчение. Дня через три он пришёл в себя, и только необычная слабость приковывала его к ложу. Сначала он долго не мог сообразить, где он, что с ним, кто такой этот старик, почему он то молится у плохоньких иконок, то возится

около него, разбойника. Не раз разбойничьему атаману делалось смешно, когда он видел, как, заслышав его стон, вскакивал прикорнувший было старик, как он спешил подать ему питьё, ласково приговаривая:

— Господь с тобою, родимый, спи спокойно!.. Да хранят твой сон святые ангелы!..

Скоро князь-разбойник сообразил, где он и что с ним.

— А, пустосвяты проклятые, мироеды чёрные! — вдруг вспыхнула в нём злоба, — вылечат скорее, чтобы здорового воеводе выдать да жалованье получить... Знаю я их...

Ни с того, ни с сего беспричинная злоба на оказавших ему добро людей росла и росла...

Однажды инок Харлампий, отправлявший чреду в храм, не нашёл в своей изобке больного. Кинулись искать его, не нашли и коня. Князь-разбойник, едва оправившись бежал из обители.

VIII НА СВОБОДЕ



Ействительно, князь-разбойник бежал, как только подорванные болезнью силы несколько вернулись к нему.

Основую всего его духовного существа была ярая, непримиримая злоба ко всем — и к друзьям, и к недругам. Был единственный в жизни момент, когда в этой мрачной, вечно бушевавшей душе всколыхнулась любовь, но это был только луч солнца, скользнувший случайно во мраке полярной ночи: скользнул, засветился на миг — и опять нет его, и снова крошечная тьма...

Однако этот единственный светлый луч, которым князь Василий Лукич Агадар-Ковранский был обязан своей любви к Ганночке Грушецкой, потом царице Агафье Семёновне,

навсегда остался памятен ему, и воспоминание о нём ярко горело в его омрачённой душе.

В неистовствах, в душегубстве, в кровопролитиях князь Василий утолял свою злобу на жизнь, но связь с жизнью ещё сохранялась, пока он не знал, что царица Агафья Семёновна скончалась. Вслед за нею скончался и сыночек её, царевич Илья, а вскоре преставился и царь Фёдор, вынужденный жениться вторично на воспитаннице боярина Матвеева, Марфе Матвеевне Апраксиной. Видно, не вынес молодой государь тоски по любимой женщине и не приковала его к жизни другая, молодая и красивая, но не любимая жена...

Когда князь Василий узнал о кончине царя Фёдора, понял он, что значит истинная любовь, и, поняв это, разбушевался ещё более. Слова пьяного стрельца Ермилы разбередили душевную рану, и, когда, выздоравливая, он вспомнил всё происшедшее в овраге, злоба сильнее, чем прежде, забушевала в его сердце.

"Милославские, Милославские стубили её, голубицу чистую!" — всплыла опять мысль, не раз уже приходившая князю в голову и ра-

нее.

Эта мысль была первою, которая пришла ему, когда он услышал о кончине кроткой царицы. Она так и сверлила его мозг, не давала ему покоя, и кричала ему о мести за погубленную жизнь любимой женщины.

Именно эта мысль о мести более всего и побудила его тайком покинуть тихую обитель.

Князь Василий страшился расспросов, которые были неизбежны со стороны иноков. Он боялся, что его начнут упрекать его полной кровавых дел жизнью, стращать геенною огненной и всякими адскими муками. Князь знал, что ему в этом случае не сдержаться, что он вспылит, а между тем какое-то чувство, таившееся в глубине души, не позволяло ему обидеть чем-либо этих так хорошо относившихся к нему стариков.

Поэтому-то он и решил тайно покинуть обитель.

Словно волк, вырвавшийся из западни, чувствовал себя князь Василий, очутившись на свободе. Даже сил как будто прибавилось. Он гнал коня, немилосердно хлеща его бёдра

тугой с проволокою плетью: князю хотелось мчаться, лететь быстрее ветра, причём хотелось не потому, что он боялся, а потому, что ему нравилось так мчаться и вдыхать полной грудью свежий воздух, бодривший его в эти мгновения.

Куда нужно держать путь, князь Василий не разбирал. Ему было всё равно, — он не думал о будущем, а о прошедшем также не вспоминал, словно его и не было. Порой ему было даже весело.

Уставший конь пошёл тише и тише. Князь Василий сообразил, что животное нужно беречь, — ведь другого такого коня ему не достать бы теперь скоро. Раздумывая, как быть, он припомнил, что поблизости от просёлка, по которому он ехал, на большой дороге, есть заезжий дом, хозяин которого косвенно принадлежал к его шайке.

"Поеду туда, — беспечно решил Агадар-Ковранский, — не посмеет не принять меня".

В самом деле, весть о распаде шайки и бегстве атамана, по-видимому, ещё не успела дойти в эти места. Хозяин-дворник встретил атамана с подобострастием, и чуть не в ноги

ему кланялся, когда тот отдавал распоряжения выводить и накормить коня, а себе подать заморских вин побольше, да бокал побъёмистее, а ко всему этому и снеди всякой: после долгой поездки князь Василий чувствовал и голод, и жажду, и утомление не малые.

Насытившись и со слегка кружившейся головой, князь Василий приказал себе застлать постель в соседнем покое, строго запретил чем-либо беспокоить его и скоро заснул богатырским сном.

Когда он проснулся, было уже темно, но сквозь дверную щель из соседнего покоя проникали тонкие полоски света. Оттуда же доносились сдержанные голоса. Там очевидно были люди, и, прежде чем подать знак о своём пробуждении, Агадар-Ковранский решил узнать, кто это такие. Это предписывал ему инстинкт самосохранения. Дорога была большая, проезжая, вела на Москву. Всякого люду было по временам много, — могли быть и ратные люди, и люди от воеводы, а и тех, и других князю Василию приходилось не на шутку опасаться.

Руководясь этими соображениями, князь

Василий встал, стараясь не делать шума, подошёл к двери и через её расщелину заглянул в соседнюю горницу.

Заглянув, он вдруг отшатнулся, словно в испуге и зашептал:

— Уж не наваждение ли? Зачем его сюда понесло? Не обознался ли я?..

Он снова примкнул к дверной расщелине и после небольшого промежутка, отходя от неё, прошептал:

— Да, это — он... Тараруй проклятый. Милославских прихвостень...

IX

ТАИНСТВЕННАЯ БЕСЕДА

В

Покое, куда заглянул князь Василий, были два старика и один молодой ещё человек с бледным, испытанным лицом.

Один из стариков был одет, не то, чтобы

бедно, но просто, зато на другом было богатое дорожное одеяние.

Этот старик был дороден собою и весьма важен с вида. Его лицо было могуче-красиво (даже седина красила его) но страсти и беспутная жизнь наложили на него свой заметный отпечаток.

Молодой человек был очень похож на старика, так что без ошибки можно было бы сказать, что это — отец и сын...

Так оно и было.

Старик был знаменитый воевода царя Алексея Михайловича, победитель шведского полководца Магнуса де ла Гарди под Гдовом, сперва могилёвский, потом псковский и затем новгородский воевода, князь Иван Андреевич Хованский, стрелецкий воевода, заставивший царевну Софью и Милославских под угрозой бунта провозгласить братьев-царевичей, Ивана и Петра Алексеевичей, царями. Буйные московские стрельцы чувствовали на себе его железную руку, но обожали его благодаря его щедрости, а главное — потворству их всяческим бесчинствам.

За своего "стрелецкого батьку-Тараруя" —

таково было прозвище Хованского — они всегда готовы были идти в огонь и воду, и такая преданность бесшабашных стрелецких голов делала князя Ивана Андреевича могущественнейшим человеком в Москве. Милославские пресмыкались пред ним, царевна-правительница всегда ощущала невольный трепет, когда видела близко от себя Тараруя.

Молодой человек был сын стрелецкого батеньки, князь Андрей Иванович, променявший не совсем удачную военную карьеру на поприще юриста, — в это время он как раз вел судный приказ.

Третьего из собеседников — старика — князь Агадар-Ковранский не знал, но, несколько прислушавшись, безошибочно угадал в нём раскольника. Да и кому же было столь близко и запросто быть около гордеца-князя? Ведь всё его могущество было основано только на поддержке стрельцов да раскольников! Первые давали ему могущество в Москве, вторые — во всём московском государстве

Беседа велась между двумя стариками и, как это мог понять князь Василий, имела

весьма серьёзное значение.

Князь Хованский даже как будто заискивал пред раскольников.

— Ты сам посуди, — произнёс он, — шатается святоотеческая вера...

— Именно, — подтвердил раскольник, — с Тишайшего пошло! Конца краю нет всяческим новшествам. Чего уж лучше: зелье табачное дымить в открытую стали...

— Вот и я-то говорю, — подтвердил его мнение Хованский: — крепка наша Русь православная староотеческими преданиями и всякое проклятое чужеземное новшество только умаляет их...

— Вот-вот, — зашамкал старик-раскольник беззубым ртом. — Новшества, одни только новшества. Вот много ли побыла на престоле около царя проклятая еретичка, царица-полячка, а чего она только нашему государству не нанесла? Ведь подумать страшно! Московские люди, с царского попущения, стали богоподобный вид терять — бороду обстригать и волосы на голове тоже.

— А это царское повеление, — презрительно проговорил князь Иван Андреевич, — что-

бы беглые с ратного поля люди бабьи охабни перестали носить? Ведь это одно какво было! Каким устрашением действовало!.. Вот хоть, к примеру сказать, о моих стрельцах-сорванцах: как гиль заводит или смуту там, так они первые были, а как на поле ратном, так сейчас и пятки показывают. Только и страха было, что бабьи охабни в мирное время вместо человеческих кафтанов. Этого и боялись. А как отменил это царь, так и справа не стало, отмену же свою сделал по жены своей полячки настоянию.

Князь Иван Андреевич прекрасно знал, что царица Агафья Семёновна никогда полячкой не была, знал он и её отца, Семёна Грушецкого, не раз даже пировал с ним, когда был псковским воеводою, но тем не менее считал нужным вторить своему собеседнику.

А тот так и сыпал нападками на умершую уже царицу.

— Да-да! — с жаром продолжал он. — Ведь эдакое дело еретичка мерзкая завела! Святые иконы словно иконоборниха какая из храмов Божиих повыгнала. Что только ей, окаянной, на том свете будет!..

Хованский усмехнулся. Ему, прирубленно-му воеводе, были дики такие обвинения. Он был в достаточной степени индифферентен в религиозных вопросах и не находил распоряжении царя Фёдора о вынесении икон ничего особенного.

Дело в том, что в то время религия вообще недалеко ушла от идолопоклонства. Следы последнего сохранились во многих обрядах и обычаях. Так, например, был установлен и такой обычай. Каждый мало-мальски значительный прихожанин приносил в свою церковь образ, пред которым одним только и молился и ставил свечи. Другие образа словно не существовали для него, он даже относился к ним поносно, а его ревность к своему образу доходила до того, что такой прихожанин не позволял никому другому теплить перед своим образом свечи, и не раз бывали случаи, когда из-за таких собственных образов между прихожанами одной и той же церкви происходили весьма великие ссоры, нередко завершавшиеся жестокими драками, а то и кровопролитиями. Само собой разумеется, что подобное безобразие в культурном государстве,

каким была уже в то время Москва, не было терпимо, и указ царя Фёдора о вынесении собственных икон и недопущении впредь подобных собственных образов был встречен оставшимися в православии совершенно спокойно; вожди же раскола использовали его, как средство борьбы с новшествовыми никонианами.

— В ляхскую веру задумал государь, жёнясь на полячке, русский народ переводить, — сеяли раскольничьи агитаторы семена смуты. — Пождите, уж то ли будет! Вон уже везде стали сабли да польские кунтуши носить, скоро-скоро поляцкий крыж поставят и ему кланяться прикажут. А всё это делает царица-полячка. Хуже, чем богопротивная Маринка Мнишек, она будет. Пойдёт опять смута! — подкапывались агитаторы под ненавистную им династию. — Вон богопротивника, безумца Никона, чуть было царь-то на Москву не вызвал. Вот тогда пошло бы мучение...

Х РАСКОЛЬНИЧИЙ ПОСЛАНЕЦ



Нязь Хованский был слишком развитой и умный человек, чтобы серьёзно относиться к подобным обвинениям. Он только взглянул мельком на сына. Андрей Иванович сидел, совершенно равнодушно глядя в пространство перед собой ничего не выражавшим взором. Всё то, что говорилось здесь, он уже слышал не раз, и ему было скучно при этом со-вещании, на которое неизвестно зачем по-звал его отец.

— Ты как, Андрей, думаешь? — громко спросил его старик, желая чтобы внимание сына было всецело обращено на его разговор с раскольником. — Слышал ты, поди, что отец Фёдор-то говорит?

— Слышу-слышу, батюшка, — отозвался

молодой Хованский наобум. — Иначе и быть не может. Как вы говорите, так и быть должно.

О том, как быть должно, князь Иван не сказал ещё ни слова, но он сейчас же поддержал сына.

— Да-да. Справедливо ты, Андрюша, говоришь! — начал он, поглаживая окладистую бороду. — Пропадёт вера православная, ежели некому будет поддержать её. Где же найти такого, кто бы грудью мог стать за святоотеческие предания? Милославские? Да они только правительницей и держатся. А ей, правительнице, супротив их не пойти, свои они ей: дяди и братья. Да и сама-то она горазд проклятому латинству прилежит. Стала на стезю греховную и пешествует по ней, преисподнего ада не боясь. Есть у неё утешитель, князь Вася Голицын. Ишь ты ведь тоже!.. Оберегателем его пожаловала она, а за какие такие доблести — неведомо. Вот оба они и вершат все дела. Пропадёт из-за них Русь, ежели некому попридержать их будет, ежели хвосты им кто-нибудь не поприжмёт...

— Ох, верно говоришь, княже, — вздохнул

раскольник. — Могучи силы адовы, как и противостоят им, — не знаем. Уж сколько раз отцы совещаались, а всё знамения не было, как с сим делом быть.

— Теперь же, — продолжал Хованский, не обращая внимания на слова собеседника, — ежели Милославские не годны, то Нарышкиных возьмём; о Стрешневых и говорить не стоит, их все позабыли и никто за ними не пойдёт. Нарышкины же поослабли сильно и нет у них никого, кому бы народ верил. Новые они люди, в силу они войти не успели при покойном царе Тишайшем, а теперь-то им уже не подняться — задавили их Милославские. Знаешь, что, старче, я тебе скажу?

— Что, княже? — отозвался раскольник.

— Да вот о Нарышкиных-то. Слабы-то они слабы, попридавлены-то попридавлены, а есть в их роду, кому их поднять и всех Нарышкинских врагов в землю захватить. Растёт среди них богатырь; в канавах теперь, несмотря на свои малые годы, хмельной валяется; сам он от горшка два вершка, а пожалуй и нас, стариков, всякому соблазному действию поучит, да, на всё это не глядя, огонь дитя:

ежели дадут ему вырасти — всё сокрушит, всё сотрясёт, всё на иной лад повернёт.

— Это ты про антихриста малолетнего, княже, говоришь? — спросил старик-раскольник.

— Эх, — отозвался старик-князь Хованский, — антихрист он там или нет — того не знаю, а про юного царя Петра речь идёт моя, так это верно. Вот кто страшнее всех для святоотеческой веры! Вот с кем не побороться будет! Был у нас пред лихолетием Грозный царь, а ежели этому дать подрасти, так куда он погрознее будет. Как бы блаженной памяти царь Иван Васильевич пред ним сосунком-младенцем не оказался.

Молчавший до того князь Андрей встрепенулся и заговорил:

— Так как же, батюшка, ежели от царя-нарышкинца беды ждаты нужно, то неужели же руки сложа сидеть, пока он не вырастет и зубов не покажет? Ой, батюшка, не верится — ты уже прости на таком слове! — чтобы на Москве златоверхой человека не было бы, которому и народ бы верил, и который сам не желал бы горой стать за православную веру и

святоотеческие предания. Или уже Русь так оскудела, что только одна мразь на ней осталась? Уж кому бы кому, а не тебе такое говорить! Или позабыл ты, как шведа де ла Гарди под Гдовом уничтожил, или ляха Воловича близ Друи поколотил, или такого витязя, как пан полковник Лисовский, в полон взял?.. А потом вспомни, как ты от татар рубеж наш оберегал. Ежели ты, по скромности своей, о столь славных своих делах позабыл, так не забыл о них народ московский. И каково нам слышать, как ты говоришь, будто на Руси одна только чёрная мразь осталась. Нет, батюшка, нет. Ты вспомни, что мы, Хованские, от литовского Гедимина через Наремунта Глеба приходим и шестнадцать наших родов на московском царстве налицо есть, и за каждым-то люди идут. А все Хованские за тобой последуют, куда ты их ни поведёшь, потому что верят они тебе. Вот что я скажу. А ты, отец, что? — обратился он к старику-раскольнику.

— Ловко гнут! — усмехаясь, произнёс про себя слышавший всю эту беседу князь Агдар-Ковранский.

XI ТАРАРУЙ



Отя князь Василий и жил в полном отдалении от Москвы и её кровавых дел того года, но всё-таки слухи о стрелецких бесчинствах доходили и до него. Он знал о кровавой московской гили в мае 1682 года и о том, как Хованский, опираясь на буйных стрельцов, заставил возвести на престол обоих царей — Иоанна и Петра. Знал он и о беседах Никиты Пустосвята, закончившихся для раскольников, которых поддерживал всё тот же Хованский, далеко не так, как ожидали они. Теперь он понял, что затевается новая смута и что уже раз оборвавшийся в каких-то своих надеждах князь Иван Андреевич начинает снова "дьяволить", выставляя раскольников вперёд для зачатия беспорядков.

Это нисколько не касалось князя Агадара, но тем не менее словно какая-то сила направляла его подслушивать эту беседу.

Старик-раскольник ответил на сразу. Очевидно он хотел пообдумать слова своего ответа, прежде чем произнести их.

— Так, — заговорил он. — И я вот тоже по малоумию своему думаю, что не одна только чёрная мразь осталась на святой Руси православной, есть кому и постоять за родную землю, всяческими новшествами угнетаемую. Но в то же время думаю, что прав и князь Иван, говоря, что ни на Милославских, ни на Стрешневых, а тем паче на Нарышкиных полагаться нельзя. Но на кого же тогда надеяться нам, от богоотступника Никона угнетённым? Кто может восстановить староотеческую веру и побережь народ православный от растления всяческого, геенну огненную ему готовящего? Где найти мужа доблестного, с душою, в отеческой вере укреплённой? Кто поведёт народ на богопротивных отступников, иконопочитания отметающих и табачным зельем дымящих? За кем может последовать народ? Кто столь могущественен, что мо-

жет заставить идти за собой и ленивых?

— Да, да, кто? — воскликнул Хованский, в упор смотря на своего собеседника.

Ответ последнего был для него чрезвычайно важен. Это свидание было отнюдь не случайное, и ради него Хованский даже потрудился приехать из Москвы. Старик-раскольник тоже явился сюда уполномоченным от старообрядцев из глубины России. Неудача, постигшая Никиту Пустосвята, на которого так надеялись оставшиеся в старой вере, его казнь, грозный оклик царевны-правительницы на раскольников, которых она со свойственной ей энергией назвала возмутителями пред всем царством, а главное, полное равнодушие народа к догматическим спорам в Грановитой палате пошатнули дело возвращения к старой — дониконовской — вере, но не образумили вождей раскола. Впрочем, в это же время раскольникье движение уже выродилось и потеряло прежний свой религиозный характер, которым оно было ещё недавно столь сильно. Не стало фанатиков в роде Аввакума, боярыни Морозовой; пошла мелкая акулья стая, для которой смута явля-

лась средством устраивать свои делишки.

Пользовались раскольничьим движением и Милославские, а теперь его стремился захватить в свои руки почти всемогущий Хованский. Старик-раскольник прекрасно понимал, что этому старому развратнику, для которого на свете ничего не было святого, совершенно всё равно, как будет молиться народ — по-гречески, по-ляхски или по-лютерански. Он прекрасно понимал, куда гнул старый князь, говоря, что нет в Москве людей, и что значили речи его сына, указывавшего только на заслуги своего отца и промолчавшего о том, что князь Иван потерпел страшное поражение около Ляхович в битве с Сапетою Чернецким, и что в следующем после этого году его свыше двадцатитысячный отряд был совершенно уничтожен польским полководцем Жеромским, что и было причиною отозвания Хованского из Пскова и позорного в его положении назначения ведать ямской приказ. Но, слушая эти речи, старик не возражал и не исполнял их, ожидая, не будет ли сказано чего-нибудь такого, что раскрыло бы ему замыслы могущественного интригана. Однако, Хо-

ванский довольно ловко создал положение, при котором раскольничий посол так или иначе, а должен был высказаться.

— Ты спрашиваешь кто, княже? — медленно заговорил старик. — Да кто же таким доблестным мужем может быть, кроме тебя?

Тараруй, не будучи в силах сдержать свою радость, усмехнулся. Сказано было то самое слово, которое он уже столько времени выжимал у раскольничьего посла. Однако, он, продолжая играть комедию, произнёс:

— Куда уж мне. Вон перестала меня и слушать правительница. Не уберёт я главы старца Никиты...

— А скольким ты, батюшка, зато головы спас? Вспомни отца Сергия да садовника Никиту Борисова с товарищами! Разве не тебе они своими головами должны?

— Да, — ответил князь Иван. — Сберёт я их, только уж и сам не знаю, как это вышло. Да навлёт я тем на себя патриарший гнев. Дюже гневается на меня Иоаким-то, лютым зверем смотрит, когда встречаемся.

— Нет, княже, — перебил его старик, — что скромн ты — это похвально, а только на-

прасно ты умаляешь своё могущество. Мы-то знаем его, рассказывать о нём не надобно, а потому мы и надеемся на тебя. Послужи же вере отеческой, послужи земле родной, а мы тебя не выдадим. Бог наградит тебя на небе за труды твои, а на земле будешь ты возвеличен пред всеми. Будешь поставлен превыше всех в народе, и в том тебе моё слово порукою. Знаешь ведь, поди: не от себя я говорю, весь народ за тебя встанет, если мы того захотим.

Он пристально смотрел на Тараруя и приметил, что в его глазах отразился некоторый испуг.

И в самом деле, слушая раскольничьего гонца, стрелецкий батюшка тревожно думал:

"Неужто пронюхали они, куда гну-то я? Ведь ежели так, то торговаться немало придётся. Столько заломят окаянные, что хоть всё дело брось".

XII МЕЧТЫ ТАРАРУЯ



Обеседники-заговорщики повели между собою разговор шёпотом.

Князю Агадар-Ковранскому уже наскучило его подслушивание. Когда же в шёпote двух стариков ничего нельзя было разобрать, подслушивание и подсматривание окончательно потеряли для него всякий интерес, но его словно что удерживало у двери...

Однако князь Хованский и раскольник шептались недолго.

— Вот что, княже милостивый, — полным голосом, громко заговорил раскольничий посланец: — видно, пива с тобой не сварить, спорить только. И оттого не сварить, что всё-то ты, как лиса, виляешь. Небось знаешь, как лиса от гончих увёртывается? В сторону

кидается, кружить начинает, след свой замечает. Так вот и ты, хотя никаких гончих нет и в помине. Брось лисить, давай напрямки говорить...

— Тише ты, старче, тише! — заметался испуганный Хованский. — Разве о таких делах громко говорят?

— Некому нас здесь слушать-то! — уже грубо прервал его старик. — А потайно что за беседа по делу важному? С уха на ухо потайность для бабьих сплетен надобна, а не для зрелых мужей, когда они о великих делах говорят. Говорю, брось, пойдём в открытую! Нам что нужно? Нужно нам, чтобы старая святоотеческая вера над еретическим никонианством восторжествовала. Для чего нужно? А для того, чтобы народ в нашем государстве Господу был угоден, чтобы не было двоеверия. Что уж и за народ о двух верах!.. Кто нам в таком деле восстановления отеческой веры помочь может?

— Батюшка! — произнёс Андрей Иванович, вставая со скамьи, — вы уже тут говорите, а я на двор выйду, что-то голова разболелась!

— Что ж, иди, нытик! — неприязненно посмотрел на сына Хованский, недовольный тем, что он перебил речь раскольничьего посланца, и, когда князь Андрей вышел, обращаясь к последнему, сказал: — ну-ка, ну-ка, говори, что дальше, я послушаю...

— Что бишь? — вернулся к прежней теме старик. — Да, кто нам в нашем деле поможет? Да кто же, как не ты, княже! Ты и удал, и смекалист, и государево дело править знаешь; на тебя и стрельцы чуть не молятся, пойдут они за тобой на любой рожон, как уже не раз ходили. Так, князь Иван Андреевич, али нет?..

— О-ох, уж и не знаю, — вздохнул Тараруй. — Ну, скажем, что так. Что теперь ещё скажешь?

— А скажу я теперь вот что, напрямки скажу, без утайки. Всё то, что я сказал, ты и без меня и знал, и знаешь, и напредки ты обдумал, из-за чего стараться будешь, если с нами сойдёшься.

— А из-за чего? — вызывающе крикнул Тараруй и даже подбоченился при этом. — Из-за чего? Ну-ка, скажи!

Раскольничий посол пристально посмот-

рел на него и усмехнулся.

— Мономаховы шапку да бармы добывать собрался, ежели не для самого себя, так для сынишки своего Андрюшки, — медленно вычеканивая слова, произнёс он. — Вот из-за чего и старания твои будут.

— Молчи, молчи! — залепетал, отшатнувшись в испуге, Тараруй. — Что ты? с чего взял?..

— Да ладно, — засмеялся старик-раскольник, — чего уж тут? Видишь, знаем, куда ты метишь. Спервоначалу ты размыслил своего Андрюшку на какой-либо из царевен женить. Много ведь их после Тишайшего осталось!.. Женил бы ты Андрея, а стрельцы горланством своим его на престол посадили бы, и стал бы он, телпень-то твой, царём-государем, а ты — царским отцом, в роде Филарета Никитича. Ну, так или нет? Правду я говорю?

— Так, — чуть слышно ответил Тараруй, подавленный таким разоблачением своих сокровеннейших планов, — не отпираюсь, так...

— Ещё бы не так! — усмехнулся старик. — Понадумав такое, ты и о себе вспомнил. Сын-то сыном, да и батька хоть куда. Борода-то у

тебя сивая, а хоть сейчас под венец брачный, благо невеста подходящая есть. Думаешь, не знаем кто? Знаем: царевна Софья Алексеевна, правительница-то наша.

— Да что ты, что ты! — сделал Хованский слабую попытку опровергнуть новые разоблачения, бившие его, как обухом по затылку. — Нешто может такое случиться, чтобы царевна за меня пошла?..

— Она-то? Ишь простачек какой! — засмеялся не то злобно, не то дерзко старик. — Да ежели бы только Ваську Голицына изжить — оберегателя-то! — так не в монастырь же ей идти. Она — баба в соку, и такой супруг, как ты, ей совсем под стать. Царей-то-малолеток, Ивана и Петра, тоже изжить можно. Что в них проку? Иван — недоумок, а нарышкинец — да ежели он вырастет, сам всем на плечи сядет, сам ты сказал. Пусть поднимется малость, так такие, как ты, ползать пред ним будут...

— Ну, уж ты! — огрызнулся Иван Андреевич.

— Чего? — взглянул на него старик, — дело говорю. Голицына по-боку, царей изжить, и

станешь царём ты — ты, Тараруй, поляками битый...

Раскольничий посланец остановился и испытующе смотрел на Хованского. Тот сидел, словно придавленный, Он никак не ожидал, чтобы люди, которых он хотел сделать орудием своих замыслов, уже проникли в его сокровенные мечты.

— Мы, — закончил свою речь старик-раскольник, — от помощи в твоих делах не прочь. Такой, как ты, для нас совсем подходящим на престоле будет. Взберёшься ли ты сам на него, царёвым ли отцом станешь, крепко мы тебя в руках держать будем. Так в ежовых рукавицах зажмём, что без нас вздохнуть не сможешь, не только что помыслить. А будет через то, — восторженно выкрикнул старик, — святоотеческой веры восстановление!

XIII

НОВАЯ ОПАСНОСТЬ



Сё то, что услышал князь Василий, поразило Сужасом даже его закалённую душу.

Ведь ещё так недавно была кровавая, безобразная смута, устроенная раскольниками, поддержанная буйными стрельцами-преторианцами. Вот этот же самый Тараруй верховодил смутьянами. Сила была на его стороне; что он хотел тогда, то и делал. Теперь поднималась новая смута; снова должно было произойти потрясение государства, и ради чего? Да ради того только, что проклятый Тараруй, пьяница и развратник, возомнил о себе, что он достоин воссесть на царский престол.

Последнее сильно задевало Агадар-Ковранского. Между ним и Хованским решительно ничего не было, никакого зла; они даже не

знали друг друга. Вряд ли когда Хованский даже слышал о князе Василии, но именно это самое и разжигало злобу в князе Василии против могущественного "стрельцового батьки".

"Постой же ты, Тараруй окаянный! — думал князь, — вот я покажу тебе, как на царское здоровье злоумышлять!.. Видно, и в самом деле есть Бог, ежели Он меня сюда нанёс, и я про все ваши замыслы прознал"...

Он потихоньку, крадучись отошёл от двери. Последние слова, слышанные им, были: "август"... "крестный ход"... "чтобы к новому году всё покончено было"...

Злобствуя на Тараруя, князь Василий невольно натолкнулся на мысль, что предстоящая смута доставит ему полную возможность потешить свою злобу, свою буйную натуру. Он уже решил пойти против Тараруя, сокрушить все его замыслы, разбить все его планы. Как это могло бы удалиться ему, князь Василий не знал, да пока и не думал об этом. Им владело желание, и он всецело отдавался ему.

Он очутился около окна. Было порядочно темно, но князь уже не раз бывал в этой го-

ренке и прежде; он знал, что за окнами находится конюший двор, а через него можно выбраться и на большую дорогу.

Смело подняв окно, он очутился одним прыжком за подоконником. На дворике всё было тихо, изредка доносилось фыркание лошадей в конюшне. Князь Василий осторожно, не производя шума, обогнул надворные строения, подошёл к дверце, которая, как он знал, ведёт в хозяйские горенки, и только что хотел постучаться, как пред ним вдруг, словно изпод земли, выросли две человеческие фигуры.

— Постой-ка, добрый молодец, — услышал он грубоватый мужской голос, — давно мы за тобой приглядываем, видели, как ты и из окошка выпрыгивал. Дай на тебя поглядеть, что ты за птица такая!..

Князь Василий не ожидал этого. Он схватился было за пояс, но свой нож он оставил в покое, где спал, и потому теперь был безоружен, а его противники, которых уже стало пятеро, все очевидно были хорошо вооружены.

— Пустите меня! — рванулся он, — как вы смеете держать меня? Вот я вас...

В ответ ему тихо засмеялись.

— Ну, так и есть. Он самый! — раздались тихие голоса. — Попался-таки. Уж теперь-то не уйдёшь!

Лёгкая дрожь пробежала по всему телу князя. Он по голосам узнал теперь, что пред ним разбойники из его недавней шайки. Искали ли они атамана, или нет, или просто случайно натолкнулись на него, забравшись сюда, на заезжий двор своего сообщника, — этого князь Василий, конечно, не знал, но по злорадству, какое слышалось в этих голосах, он чувствовал, что ему грозит большая опасность.

— Братцы! — взмолился он, прикидываясь испуганным. — Да что же вы? Да разве я вам зло какое сделал?

— Ага, узнал-таки! — тихо ответили ему. — А о том, что сделал, потом все вместе поговорим.

— Бери его, ребята! — раздался новый, незнакомый князю-атаману голос. — Ещё переполошит он всех. Бери его!

Князь Василий почувствовал, что ему накинута на голову какую-то большую ткань.

Он хотел крикнуть, но его голос был совершенно заглушён. Несколько рук схватило его так крепко, что он не в состоянии был повернуться. Потом его опутали верёвками и быстро понесли куда-то. Несли на руках; князь Василий и не думал сопротивляться. В его голове само собою создался смелый план.

А в горнице заезжего двора Тараруй всё ещё продолжал свою потайную беседу с раскольничьим посланцем.

— Хоть и не думал я никогда того, что ты мне, отче, сейчас изъяснил, — льстиво и вкрадчиво сказал он, — а вижу, что ежели служить святому делу, так до конца служить надобно. Может быть, так-то и лучше выйдет. Ведь правительница тоже в сторону всяческих новшеств гнёт; не надёжна она для отеческой веры, ох, как ненадёжна! Не столп она её и даже не подпорочка. А ежели нарышкинец вырастет, ещё хуже будет. Стало быть, нужно, чтобы был у отеческой веры такой столп, которым она прочно держалась бы.

— Вот ты и будь таким столпом, княже! — поддержал его старик. — Тебе мы верим, хотя и ты — такой столп, что много ещё к нему

подпорок надобно! Так по рукам, что ли?

— По рукам! — согласился Хованский, лицо которого так и сияло, — значит, к новолетью и всё у нас по-старому будет...

— Дай Бог! Только, чтобы уже на этот раз верно всё было, не так, как в прошлый раз. Шума сколько хочешь, а дела ничего.

Хованский только улыбнулся.

— А теперь и силы подкрепить можно! — сказал он.

XIV ДВА БРАТА



Вышних палатах князя Василия Голицына стояла невообразимая толчея. По всем покоям суетились многочисленные слуги, собирая со стен роскошные персидские ковры, укутывая мебель в чехлы, упаковывая в наполненные сеном ящики статуи и различные

скульптуры, навезённые из-за рубежа. Похоже было, что хозяин этих роскошных, но совсем не на русский лад обставленных палат, собирался надолго в отъезд и брал с собой всё то, что ему было так или иначе дорого.

Так оно было и на самом деле. Князь Василий Васильевич Голицын отъезжал из Москвы со всей своей семьёй, отъезжал спешно. Никто не знал и не ведал причины этой спешности, но отъезд Голицына задевал интересы многих.

Князь Василий Васильевич был не единственным среди московской знати, жившим уже на иной, близкий к зарубежному, лад. Он, не стесняясь, выставлял те новшества, которые перенял в свою жизнь от Запада. Слуги в его доме были одеты одни по-польски, а другие на парижский лад. На кухне у него были повара, выписанные из Парижа, а так как они готовили куда вкуснее московских поваров, то на интимные пиры к Голицыну любили ездить московские знатные люди, которые были помоложе и для которых отступление от дедовщины не считалось грехом. Бывали у Голицына и старики, но это стало случаться

лишь в последнее время, когда на высоте царского престола очутилась могучая царица Софья.

Действительно, Голицын собирался в отъезд из Москвы, и никто пока не знал, какая его муха на то укусила.

Москва только что успокоилась от раскольничьих и старообрядческих безобразий, унятых не столько вооружённою силою, сколько находчивостью и поистине царским могуществом царицы Софьи. На Красной площади ещё стоял стрелецкий столб, напоминавший всем и каждому, что пока стрельцы являются истинными владыками Москвы, а их батько Хованский и самой царице-правительнице, и даже самим царям, на престол венчаным, указать всё, что угодно, может. Конечно тем, кто был родовит, такое положение далеко не нравилось, могуществом обоих Хованских знать тяготилась и не добром поминала Милославских, которые разожгли эту смуту, и, дав возможность стрельцам почувствовать своё могущество, тем самым вывели на высоту Тараруя и его сына.

Пока в доме шли переполох и суета, князь

Василий Васильевич в глубокой задумчивости сидел в своём кабинете у письменного стола, в изобилии обставленного на зарубежный лад всяческими безделушками.

Он был в ту пору ещё молод и красив. Его лицо отражало пронизательный ум, глаза смотрели задумчиво и всегда были устремлены вперёд, как будто князь Василий был намерен постоянно прозревать будущее. Одет он был тоже не по-московски — в длинный камзол с откидными, закинутыми назад рукавами, и в польские шаровары, красиво заправленные в невысокие, расшитые сапоги. Волосы на его голове были коротко острижены, подстрижена была клинчато и борода, так что князь Василий Васильевич по своей внешности ничуть не напоминал знатных москвичей того времени. Если прибавить к этому, что около него стояла трубка с длинным мундштуком, а на столе — светец с фитилём для закуривания, то контраст ещё резче кидался в глаза, потому, что курение хотя и было распространено, а при покойной царице Агафье Семёновне в дворцовых палатах курили почти все, но после её кончины и в осо-

бенности после кончины царя Фёдора новые обычаи были поприпрятаны, чтобы не раздражать стрельцов и раскольников. Только князь Василий Голицын да ещё несколько сорвиголов шли наперекор общему положению и нисколько не скрывали своего пристрастия к иноземщине и всяческим зарубежным свечаям.

Князь Василий Васильевич был не один. Против него за тем же столом сидел другой Голицын, князь Борис, его двоюродный брат. Этот Голицын носил старомосковскую одежду, длинноватые волосы и только по свободному обращению да звучавшей ещё более свободно речи можно было заключить, что это — новый человек, столь же новый, как и его брат.

— О-ох, ахти, Васенька, — произнёс князь Борис, — с чего это ты наутёк собрался? Или новую грозу предвидишь, или с разлапушкой своею рассорился? Уж очень ты скороспело вспархиваешь. Смотри, не сядь с небес, да в воду!

Князь Василий Васильевич в ответ слабо улыбнулся и промолвил:

— Полно, брат Борис! О каких ты там небесах говоришь? Не ведаю я того. Было когда-то дело, это — правда, а теперь... что теперь? Всё было, да прошло и былём поросло.

— Ну, полно тебе, с чего туман-то напускаешь? вся Москва знает про твои дела.

— Про какие такие дела? — высокомерно спросил князь Василий Васильевич. — В толк не возьму я, о чём ты говоришь, брат Борис.

— Ну, полно, полно!.. Уж разобиделся! — отступил тот назад. — Твоё дело! И я тоже забыл, что промеж двоих третьему вступаться нечего, а ежели и начал что говорить, так только потому, что тебя жалею. Ведь подумай: совсем не вовремя ты уезжать собрался. Смута только унялась, стрельцы спокойны, Тараруй хвост поприжал. Теперь такие, как ты, царевне в подмогу, ой-ой, как нужны! Где она другого такого возьмёт. Все около неё медведи Тишайшего да лисы Милославских стоят. Никто ей, голубушке, правды не скажет, всякий на свой лад понимает и на свою сторону тянет. Ты же один был при ней, который без всякого стеснения мог говорить ей всю правду. И вдруг ты покидаешь её и ухо-

дишь. К чему, зачем? Ведь ты не только её, но и всех нас покидаешь: пропадай, дескать, вы! Да, так и будет. Ты хотя и молод, а для всех нас, Голицыных, и для тех, кто с нами, — голова.

Князь Василий Васильевич опять улыбнулся, и в его улыбке отразились и грусть, и насмешка.

— Эх, брат Борис, — проговорил он, — вот рассуждаешь ты и, думаю, говоришь только то, что сердце ведаёт. Знаю, что и жалеешь ты меня, и за себя боишься. Но что же поделать, ежели такое время для меня подошло? Вот подумай-ка, каково мне сидеть да глядеть, как другие государыней-царевной промышляют. Что я для неё такое? Забава на время малое, да и только. Ну, нравился я ей, говорю тебе о том откровенно, как брату, а как нравился? — как игрушка, как кукла нравится забавляющемуся дитяти. Понаиграется дитя и бросит, и забыта игрушка. А нешто я могу в таком положении быть? Нешто наша голицынская гордость может допускать это? Так уж лучше, Борисушка, вовремя уйти.

XV
ЛЮБОВЬ ОКОЛО ТРОНА



Как же очутилась на престоле, или почти на престоле, эта царевна-богатырша, эта могучая дочь "горазд тихого" царя Алексея Михайловича, любимая воспитанница развёсёлого пиита-мниха Симеона Полоцкого, о которой только что вспомнил князь Василий Васильевич Голицын?

Два-три слова истории отнюдь не помешают общему ходу этого правдивого повествования. Вот они.

Софья Алексеевна по матери была Милославская и сохранила в своём характере многие типические особенности этого молодого рода боярских выскочек, и в знать-то попавших только потому, что интриги боярина Морозова удалили от царя любимую им Евфи-

мьюшку Всеволожскую и выдвинули в царские невесты Марью Ильинишну Милославскую. Последняя вскоре стала русской царицей, но была женщиной тихой, незаметной и не оставила по себе совершенно никакого следа, кроме многочисленного потомства.

Сестра Марьи Ильинишны стала боярыней Морозовой, и таким образом, Тишайший царь породнился с одним из самых коварных интриганов своего двора.

После смерти царицы Марьи Ильинишны царь Алексей Михайлович женился на мелкопоместной смоленской дворянке Наталье Кирилловне Нарышкиной, и, конечно, в славу вошёл род Нарышкиных и затмил было своим влиянием Милославских. Так было до смерти Тишайшего царя, а в начале царствования его сына Фёдора Милославским снова удалось занять первое место среди дворцовых бояр. После смерти Фёдора Алексеевича, последовавшей очень скоро вслед за кончиной его юной супруги, Агафьи Семёновны Грушецкой, на царство в 1682 году вступил малолетний царь Пётр Алексеевич, и вместе с тем, конечно, опять вошли в честь и славу его род-

ственники Нарышкины. Милославские выдвинули со своей стороны царевну Софью и путём дворцовых интриг и народного возмущения, в котором главную роль играли стрельцы — "преславная надворная пехота" — добились того, что вместе с Петром Алексеевичем на царство был возведён его старший слабоумный брат, Иван Алексеевич; при этом, вследствие неспособности к какой бы то ни было умственной деятельности царя Иоанна V и малолетства Петра I, правление государством было поручено царевне Софье, старшей сестре обоих царей.

Во всём этом деле главную роль сыграли стрельцы, хотя и не довели до конца своего действия.

Милославские были уверены, что в этих кровавых беспорядках, происшедших в мае 1682 года, погибнут все Нарышкины, не включая даже и малолетнего царя Петра. Но они ошиблись в расчётах. В жертву судьбе был принесён только юный брат царицы Натальи Кирилловны, Иван Кириллович Нарышкин, которого стрельцы выбросили из окна второго этажа дворца на копья стоявших

внизу товарищей. Малолеток царь Пётр остался невредим, а вместе с тем и Софья Алексеевна, став правительницей и пользуясь неограниченною властью, тоже не оправдала надежд своих "дядьёв". Когда вскоре после этого раскольники, пользуясь ещё не совсем улёгшейся смутой, вздумали было при помощи всё тех же стрельцов вооружённой силой вновь водворить на прежнее место "древле-препрославленное благочестие", то Софья Алексеевна так обошлась с ними, что главный вожак московских раскольников, Никита Пустосвят, поплатился за своё смутьянство головою, а другие его пособники оказались в таких сибирских дебрях, куда не только птицы не залетали, но даже и политических преступников никогда до того не ссылали.

В то время во главе стрельцов уже стоял князь Иван Андреевич Хованский, известный стрелецкий "батька" Тараруй; но даже и его влияние на стрельцов оказалось ничтожным в сравнении с влиянием могучей красавицы-царевны Софьи, одним своим окликом укрощавшей пьяные ватаги "надворной пехо-

ты".

Однако, царица Софья Алексеевна, несмотря на свой ум, энергию и почти мужскую неукротимость в достижении цели, всё-таки была женщиной, и ничто женское ей не было чуждо. Её женское сердце жаждало любви, и любовь жила в её сердце. Ещё когда она была девочкой-подростком, ей понравился молодой князь Василий Васильевич Голицын, один из замечательнейших щёголей того времени. Чуть не с детства он изъездил почти все зарубежные государства, бывал и у дождей венецианских, и у дюков итальянских, и в Риме у папы был, и по священной Римской империи путешествовал; ко всему он там присматривался и всё, что видал там хорошего, спешил перенести на свою родину. А юная головка Софьи была уже в то время полна рассказами развесёлого мниха Симеона Полоцкого о том, как живут за рубежом. Поэтому не мудрено, что красавец Голицын стал идеалом юной царицы. Ещё при её "горазд тихом батюшке" слюбились они, и не раз тёмные ароматные летние ночи покрывали своей непроницаемой завесой страстные свиданья

царской дочери и её красавца-палладина.

У царевны на глазах был печальный пример её тёток, так и оставшихся вековушками-девицами только потому, что они имели несчастье родиться царскими дочерьми. А Софья Алексеевна была не из тех натур, которые безропотно покоряются выпавшей на их долю участи. Она готова была с боя взять то, что принадлежало ей по праву человеческого существования, и взяла: человеческое превозмогло в ней царское. Она любила князя Голицына, даже и очутившись у власти, но эта любовь всегда оставалась тайною. Никогда ни Софья Алексеевна, ни Голицын никому не выставляли её напоказ, хотя тайные помыслы честолюбивой царевны стремились к тому, чтобы создать такое положение, при котором её любимец мог бы неразрывно быть связан с нею, царицею земли русской.

Князь Василий Васильевич тоже любил эту пылкую девушку; но он уже был женат, у него были дети, и никогда не тревожили его думы о престоле...

Этот представитель молодой Руси, этот щеголь-западник был честен. Для него существо-

вали идеалы, до которых не доросли в то время многие бояре большого московского дворца; у него были принципы ненарушимые и, будучи "западником", он в то же время был убеждённым монархистом и считал, что единственным законным царём на московском престоле может быть только младший сын Тишайшего царя.

Покончив с историей, возвратимся снова к повествованию.

XVI

ВЕСТОЧКА ОТ МИЛОЙ



а пороге покоя бесшумно появился слуга и стал почтительно, совсем по-иностранному, ждать, чтобы господин заметил его.

— Что там ещё? — вскользь обратился к нему Василий Васильевич.

— Из большого дворца, князь-государь, го-

нец к тебе пригнан, — с поклоном ответил слуга. — Тебя видеть желает.

— Хорошо, сейчас выйду! — и, махнув рукой, князь Василий отпустил слугу.

— Ну, вот, видишь, видишь? — торопливо и радостно заговорил князь Борис. — Ведь это она за тобой посылает. Верно прослышала государыня о том, что ты в отъезд собираешься, вот и шлёт к тебе гонца.

— Пусть шлёт, — сумрачно ответил князь Василий. — Поздно спохватилась...

— Как поздно? Неужто ты не пойдёшь?

Голицын отрицательно покачал головой.

— погоди малость! — сказал он при этом, и поднявшись вышел из своего кабинета.

Князь Борис глядел ему вслед, пожимая плечами.

— Нет, видно, и он что-то задумал, — проговорил он. — Вот все-то они так. И умён наш Васенька, ох, как умён!.. И знаю я, что обойдёт он царевну-то правительницу и она глазом моргнуть не успеет, как в его тенётах очутится, а всё-таки не далеко его ума-то хватает. Что бы он там ни говорил, а тонко я его игру понимаю. Надумал он в бабью душу без мыла

забраться, вот и играет со своей лапушкой, как кошка с мышкой. Добивается от неё своего, а того и не замечает, что она-то на престоле краденом недолговечна, ой-ой, как недолговечна! Не по дням, а по часам Пётр-нарышкинец подымается!.. Проглядят они его — и останется верх-то не Васеньки братца, а мой. Ведь я около нарышкинца постоянно. В их дела как будто и носа не сую, живу вместе с опальным царём в Преображенском — нужно же кому-нибудь из бояр и при его царском величестве оставаться — и хорошо мне: в стороне, покойно. Никто меня не тронет, и я сам никого не трогаю. Вокруг меня всякие бури носятся, стрельцы кипят-бурлят, а я-то на них гляжу да посмеиваюсь. Старайтесь, дескать, други любезные, грызите друг друга! Чем больше вы сами себя перегрызёте, тем меньше вас для нарышкинца останется.

Он залился тихим, мелким смехом, потом, встав, подошёл к окну и, отпахнув его, вдохнул чистый, ароматный воздух полной грудью.

Пред князем Борисом был хорошо знакомый ему сад, тенистый, плохо разделанный,

густой настолько, что солнечные лучи не всегда пробивались сквозь листву его деревьев. Обширный это был сад; много было в нём всяких дорожек, тайных беседок, гротов, искусственных пещер. Отец Голицына много раз бывал на Западе, близко видывал тамошнюю жизнь, прельстился ею и одним из первых на Москве стал заводить всяческие свои порядки. Сад при доме разбивал иностранец, приглашённый специально для того из Кукуй-слободы, и в своё время чуть не вызвал всенародной гили, как "новшество, не соответствующее православию".

— Что? Нашим старым садом любуешься? — раздался голос князя Василия Голицына, и князю Борису показалось, что звучит он как-то особенно: не то великим удовольствием, не то гордостью, которую не смог скрыть на этот раз всегда владевший собой вельможа.

— И впрямь люблюсь, — ответил князь Борис. — Детство наше с тобой вспоминаю. Сколько раз мы тут играли в ребяческие годы...

— И тузил же ты меня тогда! — весело сме-

сь, промолвил князь Василий. — Доставка-лось мне!..

— Да, было время, — в тон ему, ответил князь Борис. — Тогда-то Васенька, я тебя тузил, а теперь твоя очередь настала. Силён ты стал больно, хоть Хованского заламаешь.

Князь Борис говорил всё это, зорко всматриваясь в лицо своего двоюродного брата, как бы стараясь прочесть на нём его сокровенные мысли. Но он только подметил, что Василий Васильевич в эти мгновения находился в каком-то восторженном настроении: не то, чтобы он сиял, как говорится, от радости, но недавние морщины на его лице поразгладились, красивые, лучистые глаза смотрели весело, он даже улыбался как-то совсем по-особенному.

— Уж и Хованского сломать! — шутливо сказал он. — Ишь, чего тебе, Борисушка, захотелось!.. Не широко ли шагнул?

— Чего там широко? Такие звери, как Хованский да Милославские, нашему голицынского роду только и по плечу. С разной там остальной мелочью и возиться не стоит. Ну, что ты там, с гонцом-то?

Лицо князя Василия сразу приняло серьёзное выражение.

— Правду ты говорил, — промолвил он. — Она, правительница, за мной присылала.

— Ну, и что ж ты? что? — заволновался князь Борис.

— Да, что? Сказал, времени не имею, а потому, чтобы и не ждала меня. Когда мне тут возиться с чужими делами, когда своих по горло? Этакий дом весь на выезд собрать; сразу не соберёшь, а на холопов полагаться нельзя. За всем своим хозяйским глазом приглядеть нужно. Не на день на выезд собираюсь.

— Так-таки и сказал царевне, что не придёшь?

— Так и сказал.

На мгновение братья замолчали.

— Ой, Вася, высоко метишь! — тихо проговорил Борис. — Смотри, и в самом деле не сверзись!.. Неловко тебе тогда будет.

— Тебе-то что? — нахмурился князь Василий. — Не тебе сверзиться придётся, а мне...

— Нам-то, Васенька, в Преображенском с чего сверзиться? Сам ты знаешь, на каком низу мы там. Ниже травы посажены вашими-то,

так что больше и падать нам некуда. А ежели говорю тебе так, то по-родственному, по-братски. Вот наши бывшие ребячьи игры в этом саду припоминаются, — указал на открытое окно князь Борис. — Помнишь, как мы играли там? Играть-то, братанчик, играй, да смотри, как бы за что не зацепиться да носа в кровь не разбить!..

— Да ты что? — вдруг весь так и вспыхнул князь Василий. — Или пронюхал что-либо твой лисий хвост?

Он с тревогой глядел на руку брата, указывавшую на сад, и эта тревога исчезла с его лица только тогда, когда рука князя Бориса опустилась.

— Эх, Васенька, — сказал тот, — ну чего мне пронюхивать? Глядим мы, нарышкинские мураши, снизу в милославскую высь, а там всякие нам виды кажутся, ну, вот и чудится разное. Вы-то в этой выси ничего не замечаете и ни о чём низком не думаете. Так уж ты меня прости, — отвесил он брату поясной поклон, — ежели что и не ладно сказал. А пронюхал-то я и в самом деле пронюхал. Напрасно собираешься, братанчик, не уедешь ты

из Москвы. А на сем слове прости, родной, желаю тебе всяческого успеха!

XVII

МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И ДОЛГОМ



Учка, набежавшая на лицо Голицына, так и осталась на нём, даже когда ушёл князь Борис.

Оба двоюродные брата ещё с детских дней очень любили друг друга и почти всегда были согласны во всём. Борис был старше годами и с ребячьих лет привык уступать тогда маленькому задорному братишке. С годами привычка не пропала, а, пожалуй, укрепилась, но вместе с нею осталось и некоторое покровительство, выражавшееся, когда братья стали зрелыми мужчинами, в лёгкой, добродушной насмешке.

Пока жив был царь Алексей Михайлович,

жизненные дороги братьев не расходились, но уже при царе Фёдоре они разделились и каждый пошёл своим путём: князь Василий Васильевич остался на стороне Милославских и Софьи, князь Борис присоединился к Нарышкиным и царю Петру. Когда царь Пётр, его мать и все близкие к нему люди были высланы из Москвы на житьё в Преображенское, князь Борис последовал за высланным царём, пренебрегая всяческими опасностями. Он мог бы остаться в Москве — для этого достаточно было одного слова князя Василия Васильевича, — но наотрез отказался от этого, объясняя свой отказ привязанностью к царевичу Петру, тогда ещё малолетку. В дворцовых кругах такое поведение двоюродного брата могущественного царедворца казалось удивительным. Всякий тогда думал, что всё семейство Нарышкиных обречено было на гибель и быть при царе Петре значило как бы и самого себя приговорить к смерти. Не раз говорили об этом князю Борису его друзья, но он продолжал упорно стоять на своём и только загадочно улыбался, когда ему совсем недвусмысленно намекали, что, дескать, все

Нарышкины в совсем недолгом времени будут стёрты с лица земли так, что и "запаха их, нарышкинского, не останется!"

— Слепой сказал: "посмотрим", глухой сказал: "послушаем!" — обыкновенно отвечал на такие намёки князь

Борис и сам первый же смеялся своим словам, как бы давая понять, что в этом случае и "слепым", и "глухим" он считает самого себя.

Однако князь Василий Васильевич знал, что его двоюродный брат вовсе не из тех людей, которые говорят и смеются на ветер. В душе он даже признавал превосходство князя Бориса над собой и нередко прибегал к его советам.

"И как это все они разнюхают, пронюхают! — с неудовольствием думал князь Василий Васильевич. — Откуда бы, кажется? Ан, нет!.. даже и то, что думаешь, они знают. Ежели один Борис, так это ещё ничего: он — свой человек, болтать не будет! А что, ежели другие вот так же пронюхали?.. Ведь тогда борисово пророчество втуне останется: придётся отъезжать. А как не хочется! Не бросить ли мне то, что я замыслил? Нет, никогда! Ежели

есть козыри в руках, так нужно ими рисковать. У меня же всяких козырей достаточно: есть и большие, и малые".

— Да стоит ли? — вдруг словно шепнул князю Василию Васильевичу какой-то тайный голос, — не бросить ли всё то? Из-за чего стараться? Жизнь так хороша: всего в ней довольно, всего! У кого ещё столько довольства, сколько у него, князя Василия? Кого страстно и пламенно любит царевна Софья, такая женщина, которая всем другим женщинам — король? Да ради одной её любви огневой разве нельзя всё на свете позабыть? Разлапушка любезная! стало быть, чего же ещё добиваться, чего хотеть? Уйти разом от всей этой грязи, от интриг, от подкопов, забыть, что есть на свете и Милославские, и Хованские, жить своим счастьем, благо много его судьба ниспослала!

Князь Василий Васильевич присел к окну и задумался. Он переживал смутные мгновения. Томительные вопросы будоражили его душу и мозг.

"А что же, — мыслил он, — уйду я от всего и буду счастлив. Это верно, но буду счастлив

только я один. А родина-то моя, а этот народ мне родимый? Он-то будет счастлив? Уже и теперь рвут его, несчастного, Милославские, Хованские и всё прочее ненасытное коршунье, а кругом-то, кругом так и сторожат злые нахвальщики, когда изнеможет Русь в бедствиях окаянного грабительства. Турки, татары, ляхи, шведы так вот глаз и не спускают, так вот и готовы кинуться, как только приметят, что истощённый народ не в силах будет отшвырнуть прочь злую нахвальщину. Так разве не стоит Русь страдающая того, чтобы на неё поработать? Стоит, стоит! Немало впереди меня Голицыных, сколько их за родину головы положили! Им тоже умирать-то не хотелось, а они шли на смерть, о себе не думая. А что же я-то, потомок славных предков, другим путём пойду? Вот везде новые времена настали, жить по-прежнему нельзя, невозможно от соседей отставать. Нет отечеству врага злее того, кто даёт соседям свой народ ограбить!.. Хуже Иуды-предателя такой враг, а Милославские да Хованские, за рубежом не бывавшие, тамошней жизни не видавшие, об этом не думают. Вон что замыслил старый

пёс князь Иван! Да ежели ему преграды не поставить и дать хотя частички задуманного достигнуть, так погибнет Русь в раскольничьих лапах, и я сам повинен в том буду... Да, я! Всё у меня в руках есть, чтобы беды избежать, а я о себе только думаю... Так не бывать этому! Лучше погибнуть, чем злым врагом для своей родины, для своего народа стать! Не сдам я в борьбе, не сдам, лучше голову сложу!"

— Э-эй, кто там? — хлопая в ладоши, закричал Василий Васильевич и, когда на зов прибежали слуги, произнёс: — Собираться, живее, народу нагнать больше, чтобы так всё и кипело!..

XVIII
НОЧЬ В САДУ



С е эти сборы продолжались до позднего вечера. Князь Василий Васильевич на этот раз принимал в них самое деятельное участие. Он чуть не сам помогал холопам укладываться, сам суетился, распоряжался, вообще проявлял усиленную деятельность, в которой, казалось бы, для него не было никакой необходимости. Когда уже начинало темнеть, он зашёл в сад и здесь долго ходил с толпой холопов, указывая, какие статуи — а их в голицынском саду было порядочно — и как укладывать.

Уже смерклось, когда он, словно утомлённый хлопотами, опустился на скамейку под раскидистыми ветвями большого дерева и здесь так и застыл в позе, свидетельствующей

шей о крайнем его утомлении.

— Идите прочь! — приказал он холопам. — Ужинайте, что ли, и ждите меня, пока я не приду.

Приказание не заставило ждать повторения, и князь Василий Васильевич остался один среди благоухавшего сада. Так, не меняя позы, просидел он около получаса, а потом, медленно и лениво поднявшись, побрёл по дорожкам, направляясь вглубь своего сада. Сделав несколько шагов вперёд, он остановивался, чего-то переживал, оглядываясь во все стороны, и потом опять столь же тихо двигался вперёд. Пред глухой чащей деревьев он приостановился, достал огниво и выбил слабый огонёк. При свете его он взглянул на карманные часы-луковицу и, задув огонь, пошёл уже быстрым шагом прямо через траву к одиноко стоявшей в глубине чащи небольшой беседке. Около приступки, заменявшей крыльцо в беседку, князь Василий приостановился, простоял с мгновение и, энергично махнув рукой, как бы отбрасывая в последний раз все свои сомнения, быстро вошёл в беседку через едва притворенную дверь.

Едва только князь Василий перешагнул порог, как его шею обвили мягкие женские руки, и он услышал страстный женский лепет:

— Лапушка, что так долго мучиться меня заставил?

Голицын ответил не сразу. Минуту или две в тишине беседки раздавались звуки поцелуев и только в перерывах между ними слышался влюблённый лепет:

— Разлюбил ты меня, видно, коли покидаешь?

— Нет, Сонюшка, нет! — тихо, но пылко ответил князь Василий. — Не разлюбил я тебя и никогда не разлюблю. Не может того быть! Разве позволит мне такое, голубь, сердце? В могилу лягу, так и то любить тебя буду...

— С чего же уезжаешь?

— Так нужно, Сонюшка.

Голос Василия Васильевича звучал уже серьёзно, в нём теперь слышались отзвуки горя и тоски. Обвив рукою стан любимой женщины — царевны Софьи Алексеевны, — он вместе с нею подошёл к большому венецианскому окну и отпахнул его. В беседку ворвалась

тихая лунная летняя ночь. Серебрящий свет луны озарил обоих любовников, стоявших у окна, нежно прижимаясь друг к другу. Князь Василий слегка дрожал, чувствуя на своём плече чудную головку красавицы, прильнувшей к нему так, что, казалось, никакая сила не могла бы уже оторвать её. Он нежно смотрел в милое лицо и, казалось, вот-вот слёзы заблестят на его красивых глазах.

— Так нужно, Сонюшка, — повторил он.

— Почему так нужно? — забеспокоилась молодая женщина. — Или указка какая ни на есть над тобой со мной завелась? — гордо проговорила она.

— Указка над нами — судьба, ненаглядная! — тихо ответил Голицын. — Уж против неё-то ничего не поделаешь. Судьбе такая от Бога сила дана, что, хоть с рожном иди против неё, ни за что с своей дороги упрямой не своротишь.

Он посадил свою собеседницу на небольшой раскидной табурет, а сам стал, опираясь на подоконник, так что их лица приходились почти вровень и обоих их озарял кроткий свет сиявшей на далёком небе луны.

— Пугаешь ты меня, князь Василий! — В свою очередь серьёзно проговорила царица. — С чего это ты вдруг о судьбе заговорил? — не то насмешливо, не то сердито произнесла она. — Ведь оба-то мы — не простецы какие-нибудь, так что нам судьба? Как хотим, так ею и поворотим.

— Нет, Софьюшка, нет! Ты про себя одну говори, а меня уж оставь. Где мне не только против судьбы, а хотя бы и против людей идти?..

— Ну, заныл! — недовольно и с оттенком гневности воскликнула гостья. — Видно, все московские бояре на один лад. Как только что им нужно, так и заноют. Недостаёт того, чтобы и ты из-за лакомого куска словно чужеземный стриженный пёс на задние лапки стал! Брось! Мне это и так уже надоело. Только тебя в моей боярской своре не доставало, а тут вот и ты налицо.

Слова царицы уже дышали гневным раздражением. Недавно ещё столь нежная, вся полная любовной истомы, жаждавшая только поцелуя, эта женщина вдруг изменилась. Прежнего настроения как не бывало; явилась

сухая властность, сказалось презрение высшего к низшему.

Голицын вспыхнул. Он выпрямился во весь рост и подёргивал плечами, как будто его давила какая-то тяжесть. Видимо слова этой властной женщины задели его за живое.

— Бог с тобой, Софьюшка! — промолвил он, видимо сдерживаясь. — Не тебе бы так говорить со мной. Нешто мало мы вот таких, как эта, ночек коротали вместе, мало, что ли, между нами слов ласковых сказано, клятв страшных друг другу дано?.. Не тебе меня заискиванием корить. Припомни-ка, просил ли я у тебя какой-нибудь милости, кроме любви твоей? Добивался ли я через тебя когда-нибудь чего-либо у твоего батюшки, затем у твоего брата-царя покойного, а теперь у тебя самой? О-го! Что мне нужно на белом свете. Разве я — не Голицын? Всего у меня достаточно и было, и будет, да кроме того ещё одна драгоценность самая лучшая в мире есть!.. Это — ты, Софья, слышишь? Ты — Софья! Но только, как бы я ни любил тебя — жизнь я за тебя отдаю, кровь каплю за каплей выточить позволю, — словно вдруг охваченный порывом,

громко, слово за словом, беспорядочно выкрикнул князь, — а того вовек я не забуду, что мужчина я, и Голицын притом. Да, не забуду. Вот прикажи меня сейчас в застенок отправить, повели катам так меня истязать, чтобы, глядя на меня, дьяволы в аду слезами от жалости залились, — а не пикну я и умру, тебя благословляя. Умирая буду твоё имечко лепетать, а делиться тобой, делиться твоей любовью с кем бы то ни стало, хотя бы самым архангелом Гавриилом, не стану! Не на то я тебя люблю, не на то я душу тебе в полон отдал; не на то я — мужчина, и ещё Голицын к тому же.

— Бог с тобой, Васенька! Что ты такое придумал? — уже совсем другим тоном, видимо поражённая словами своего возлюбленного, промолвила царевна. — О чём ты говоришь — не ведаю. Кажись, и ты на мою любовь пожаловаться не можешь. Уж я ли тебя, касатика, не любила? Я ли тебе всегда верною не была? Не я тебя, а ты меня чем-то неведомым корить хочешь. Скажи на милость, с чего ты сердце моё бедное терзать вздумал.

— Как с чего? — мрачно выговорил князь Василий. — Или ты отпираться станешь, что

князя Хованского Ивашки, Тараруя проклятого, ты женою стать задумала?

XIX

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ



О последние слова князь Василий Васильевич почти выкрикнул, и замолчал, как будто выжидая, чтобы этот внезапно раздавшийся гром произвёл своё впечатление. Так оно и было.

Несколько мгновений в беседке царило молчание. Собеседница Голицына очевидно была, действительно, поражена его обвинением.

— Уж и не знаю, о чём ты говоришь, Васенька! — проговорила она заметно дрожащим голосом. — С чего ты окаянного Тараруя приплёл? Будто не знаешь ты сам, что ненавижу я его, как злого врага, и глаза мои на

него не смотрели бы. Скажи на милость, откуда ты это взял? Да ведь и старик — он, Тараруй-то, сивый пёс, и, какую он жизнь ведёт, мне тоже ведомо. Так неужто я тебя, моего сокола быстролётного, на него променяю? Да скажи же ты мне, наконец, откуда ты эту такую несурязицу взял?

— Вся Москва о том говорит, — сумрачно произнёс князь Василий.

— Вся! — расхохоталась молодая женщина. — А я вот на Москве тоже живу с рождения, а эту такую новость впервые от тебя сейчас услышала.

— Оставь, Софья, — серьёзно и с раздражением проговорил Голицын, — ведь мы с тобой — не дети малые, чтобы в прятки играть. Ежели говорю я, так, стало быть, знаю, что говорю дело. И Москва о твоём замужестве болтает, и Тараруй им похваляется.

— А я тебе говорю, — перебила его Софья, — что я о сём деле и слыхом не слыхала, и думать никогда не думала. Ненавижу я Тараруя, смутьяна проклятого. Велика у него сила: всеми стрелецкими душами овладел он, пёс негодный. Недоумков да малых ребят на

царский престол сажает, а вот моей воли ему никогда не сломить, даром, что я — девка, а не муж доблестный... Никогда!.. Слышишь, Вася? Никогда! Ты вон давеча про застенки говорил, а теперь я скажу. Пусть я хоть в застенки попаду, пусть я хоть всем ангелам бесовским в лапы брошена буду, а Тарарую меня своей женой не видать. Ежели он о таком деле заикнуться посмеет, так прежде всего кубарем из моих покоев вылетит — я хоть и девка, а рука у меня мужской потяжелее. А потом он сам с сынишкой своим мерзким в застенке очутится. Пусть стрельцы, как хотят, мятутся, пусть хоть всё царство кровью зальют и в ней его утопят, а перемены моей воли не будет. Понимаешь ты это, Вася? Я говорю тебе и на том клянусь пред тобой. Уж мне-то, думается, ты поверить можешь.

— Верю я, верю, касаточка ты моя, — со страстным воплем вырвалось у Голицына, — а только всё же в сердце моём смуты хоть отбавляй. Ночей не спал я сколько, всё думал, как мне тут быть.

— Вот глупый-то! — весело засмеялась молодая женщина. — Ты и Тараруй. Да о чём тут

и думать-то? Плюнул бы на сплетни московские, вот и всё.

— Ах, Софьюшка, — проговорил Голицын, — да нешто такие-то, как ты, о любви думают? Коли нужно — так не то, что за Тараруя, а за старого козла замуж пойдёшь. Твои же Милославские тебя к тому принудят.

Молодая женщина засмеялась в ответ на эти слова. Её смех был громкий, несколько неприятный, но в нём слышалась искренность.

— Брось ты всё думать, Вася! — опять проговорила она. — Даром и себя, и меня терзаешь. Что ж, ты из-за этого, что ли, в отъезд собрался?

— Из-за этого, Софьюшка, из-за этого. Думал я всё одно и то же в ночи бессонные и надумал, что иного и быть не может. Приказывать я тебе не могу, не смею: что там ни говори, как ты меня ни люби, а всё же я — подвластный. Сейчас вот люб, а завтра скажешь слово — и голову с плеч.

— Твою-то, Васенька?

— А что ж? Мало, что ли, голов пред тобой-то склоняется?..

— Да такой, как твоя, другой нет, — разда-лось страстное восклицание, и опять руки го-стыи нежно обняли шею молодого князя, и опять раздались страстные поцелуи. — Ну, го-вори же, говори дальше, что такое ты, глу-пенький, надумал в бессонные ночи твои? — пролепетала молодая женщина. — Ну, прика-зать ты мне не смеешь, а дальше-то что?

— А переносить то, что ты женой другого станешь, да ещё такого, как проклятый Тара-руй, я не в силах. Вот и решил я отъехать на чужбину.

— На чужбину? — задрожал испуг в голосе молодой женщины. — Куда же ты это наду-мал отъехать, Васенька? Уж не к польскому ли королю?

— Думал я в город Париж ехать. Уж там-то мои недруги меня не достали бы. Там, может, скорее успокоилось бы моё сердце.

— Позабыл бы ты там меня, Васенька. Не мало ведь у французского короля красавиц...

— Ой, нет, оставь. И там бы я страдать по тебе стал, — воскликнул князь Василий, — а только не на глазах моих ты была бы с Тара-руем. Не стал бы я ему, окаянному, век слу-

жить!..

— И не будешь! — пылко воскликнула Софья. — Уж ежели на то пошло, так живо я эту сивую дурацкую голову с обмызганных плеч уберу! — В молодом, звучном голосе царевны звучал такой яростный гнев, что даже он, знавший всю неукротимость и пылкость её натуры, назад отступил, инстинктивно хватаясь руками за свою собственную шею. — Ну говори ты, Василий, теперь! Какие там толки на Москве? Что говорят?

— Говорят, — забормотал Голицын смущённо, — что тут скоро крестный ход будет, а за ним — цари шествовать должны. Окаянные же стрельцы гиль подымут и, якобы оберегая царей от Милославских, под свой караул их возьмут. Вот что говорят.

— А ещё что? — гордо и грозно спросила правительница. — Договаривай, Василий!

— А ещё говорят, что вскоре после того оба царя волею Божию преставятся и останешься ты одна. Тебе же, девке, на престоле не хорошо быть, а посему и заставят тебя в замужество с князем Ивашкой вступить. И будут у нас на царстве не Романовы, а Хованские. Вот

что говорят! На тот же случай, ежели у Хованского от тебя приплода не будет, так он своего Андрюшку негодного на одной из сестриц твоих женит и в смертный час ему царство передаст.

— Ха-ха-ха! — дико расхохоталась молодая женщина. — Вон уже куда у них зашло! Тараруй уже о царском наследии думает. Больно уж он на своих стрельцов-то надеется!

— Не одни стрельцы за ним пойдут, — тихо, уже страшась вскипавшего и вскипавшего гнева своей гостью, промолвил Голицын, — И раскольники за ним, за Тараруем, пойдут.

— Пустосвяты-то? Ну, пусть их, пусть их, пусть их идут! — в диком озлоблении выкрикнула царевна. — Пусть больше куча собирается! По малости и бить их не стоит; сразу бы всех их, русской земли вредителей, с лица её смыть... А тебе, князь Василий, я вот что скажу: нечего отъезжать тебе ни на чужбину, ни просто с Москвы; твоя голова мне здесь нужна. Ха-ха-ха! Посмотришь, по крайности, что будет князь Хованский в свой смертный час отказывать.

ПОСЛЕ НОЧНОГО СВИДАНИЯ



Юбовное и в то же время деловое свидание в далёкой беседке голицинского сада окончилось лишь тогда, когда уже забрезжила алая утренняя заря.

Тихо выскользнула плотно укутанная женская фигура через потайную калитку в стене сада на безмолвный пустырь, прилегавший к голицинским владениям. Там возвращавшуюся домой гостью поджидал лёгкий тарантас. В нём прикорнула, забывшись дремотою, так же плотно закутанная женщина. При появлении возвратившейся царевны эта женщина разом проснулась, засуетилась, помогла ей взобраться на сиденье, и тотчас вслед затем дребезжанье колёс прозаически завершило полную поэзии ночь любви.

Князь Василий Васильевич, словно очарованный, стоял у открытой потайной калитки всё время, пока слышался стук колёс. Блаженством сияло его лицо, неизъяснимыми восторгами горела его душа. Он был весь полон дивного счастья. Для него вновь разгорелась чудная заря воскресавшей любви.

— Пришла! — шептал он. — Сама пришла, хотя и потайно!.. Значит, и впрямь она любит меня, любит, любит! Не мимолётная забава я для неё, а сердцем она меня любит... Лапушка ненаглядная!.. А уж как я-то её люблю. Пуще света белого... Ничего от неё не хочу я, ничего, только сама она мила и дорога сердцу моему. Жена? Что мне жена моя неведомая?.. Эх, батюшка покойный, не зла ты мне желал, окручивая меня по рукам и по ногам, а вот и вышло, что худо мне от твоего добра приключилось.

Искренен ли был князь Василий Васильевич? Такова ли была его любовь к могущественной женщине? Скорее да, чем нет. Он, действительно, обладал в жизни всем, что было доступно человеку в его положении, и мог любить бескорыстно.

Князь Василий Васильевич был умница, каких было немного и за рубежом! Да, что рубеж! И Париж, и Лондон, и все вообще столицы того времени вовсе не были в чём-либо выше Москвы. Только там люди жили внешне несколько по-иному, другой уклад жизни был, и только... Дичь была в народе такая же, как в России, высшие классы-развратители были также. Допетровская Русь ни в чём не уступала при первых Романовых своим соседям. Прогресс развивался в ней правильно, но самобытно; государство было органически здорово и только катастрофы, терзавшие его с самого начала XVIII века, внесли в могучий организм России тяжкие недуги. Нужна была нелепая ломка всего государственного строя, всего бытового уклада, чтобы поставить московское государство в хвост других народов Европы. Но тут действовали уже не человеческие силы, а несчастная судьба...

Идя вровень со своими зарубежными соседями, а в некоторых отношениях будучи и выше их, московское государство имело своих выдающихся людей, таких государственных деятелей, которые на Западе были бы

признаны великими умами.

Именно к таким людям принадлежал и князь Василий Васильевич Голицын.

Прекрасно образованный, всесторонне просвещённый, знавший зарубежную жизнь не по одной только наслышке, этот человек как бы самой судьбой был предназначен к тому, чтобы стать у кормила правления московского государства. Он был богат и знатен и, действительно, не нуждался ни в чём; добиваться для себя чего-либо от жизни у него тоже не было необходимости: он всё имел. В то же время это был искренний патриот и его патриотизм был не узкий, не невежественный, а широко просвещённый. Голицын искренне желал добра и процветания своему отечеству, своему народу, но никогда не закрывал глаз на недостатки строя. Он видел, что нехорошо в государственном организме его родины и что в этом же отношении хорошо у соседей, и не постеснялся бы пересаживать чужое хорошее на отечественную почву. Если не все, то многие наиболее разумные реформы великого царя-сокрушителя — Петра Алексеевича — были лишь продолжением го-

лицынских мероприятий, так сказать, родились от его, князя Василия Васильевича, инициативы. Посылка юношей-дворян для обучения за границу — была задумана Голицыным. Он же проектировал и освобождение крестьян от крепостной зависимости, в то время отнюдь не бывшей позорным рабством; он же задумывал дать народу и религиозную свободу, идя навстречу желаниям той части русских людей, которая была известна под именем "раскольников". Голицын был другом народного просвещения, да не внешнего, поверхностного, показного, а истинного. Но и на нём оправдались сказанные много спустя после него слова поэта: "Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано!".

Голицын был русским человеком, и его судьба была русская, очень печальная, приведшая его вместо храма бессмертия и славы в ледяные тундры дальнего севера.

XXI НА БАЗАРЕ



На другой день вся Москва говорила о том, что князь Василий Васильевич отменил свой отъезд. Одни этому радовались, другие же ехидно посмеивались.

— Ну, да, как же, уедет он! — говорили эти последние. — Нешто может улететь воробей из-под орлицына крылышка?

Впрочем таких злобствующих было не слишком много. Большинство москвичей, особенно простонародье, любило всегда приветливого, всегда ласкового князя Голицына и любовь к нему царевны-правительницы никого особенно не смущала, тем более что ни сама Софья Алексеевна, ни князь Василий Васильевич никогда не выказывали своей близости на людях и о том, что они любили

друг друга, знали разве только одни ночки тёмные.

Однако никто не понимал и не догадывался, что значили и неожиданные спешные сборы, и такая же неожиданная отмена отъезда. О ночном свидании в садовой беседке, конечно, никому не было известно.

На другое утро Василия Васильевича разбудило довольно рано присланное из дворца от царевны письмо. Прочитав его, Василий Васильевич весело улыбнулся.

"Свет ты мой, Васенька, — написала царевна-правительница. — Буду ждать тебя о полдень по некоему делу государскому. А к тому времени помоги ты мне в одном моём деле, которое весьма важным для нас обоих быть может. Подумай ты мне о таком человеке, который бы никому на Москве ведом не был, только тебе одному; и должна быть у этого человека душа, на верную службу неукротимая, чтобы положиться на него во всём можно было, и сердце спокойное, и чтобы голову свою он не боялся потерять на нашей службе. Когда ты придумаешь такого человека, то скажи мне о нём. Премного я его возвышу, если он

надобные нам службы верно сослужит".

Под письмом, как и всегда, выведено было крупными латинскими буквами имя царевны.

"Нелёгкую задаёт мне задачу Софьюшка! — подумал князь Василий Васильевич. — И нелегко бы мне было исполнить её, если бы не был такой человек у меня под рукою. Думается, что ужогу я им свет-царевне ненаглядной. Только на что он ей понадобился? Какой такой службы она от него потребует?"

Весело и легко встал со своей постели князь Василий Васильевич; хотя и мало спал он в эту ночь, но не чувствовал никакого утомления. словно солнце небесное улыбалось ему. Давно он не чувствовал себя так покойно, как в эти мгновения.

Напившись ароматного сбитня, князь выехал из своего дворца в сопровождении двух вершников-холопов. Один из этих последних вёз с собою большую кису, битком набитую мелкими медными деньгами. Так обыкновенно выезжал князь Голицын тогда, когда хотел побывать в людных местах. И теперь он отправился на одну из площадей пред кремлём.

Как и всегда, площадь в утренние часы кишела народом. Словно живое море пред князем Василием волновалось, когда он спускался к берегу Москвы-реки. День был не праздничный, но базарный; всякого народа в такие дни собиралось на всей вообще площади видимо-невидимо, всякого люда было много. Одни торговали с возов, лотков и прямо с рук всякой-всячиной, другие покупали. Базарные парикмахеры то там, то сям стригли "под горшок" своих неприхотливых клиентов, а последних было столь много, что местами площадь сплошь была устлана мягким ковром из волос. Кое-где видны были продавцы навезённых из-за рубежа эстампов — этот товар в Москве, несмотря на дорогую цену, шёл довольно ходко; были и продавцы книг, по большей части духовного содержания. Кое-где сидели прямо на земле слепцы, калеки, уроды, тянувшие заунывными голосами разные стихи. Между народом толкались стрельцы, тоже и продававшие, и покупавшие; кое-где затевались обычные в базарные дни драки и потасовки, и над всем этим живым морем стоял непрестанный весёлый гомон люд-

ских голосов.

— Дорогу боярину князю Василию Васильевичу Голицыну, — выкрикивал ехавший впереди вершник, и шумевшая толпа, только слышав имя любимого вельможи, расступалась пред князем.

Справа и слева летели в неё полные пригоршни денег и везде, где только замечали этот поезд, долго не смолкали крики:

— Здрав буди на многие лета князь Василий Васильевич!

Голицын приветливо и добро улыбался. Он знал, что в Москве его любят, и всячески старался подогреть эту любовь мелкими подачками. Но он вовсе не искал популярности, ему просто нравилось чувствовать себя любимым. Ему приятны были эти обращённые к нему восторги многих сотен людей, а теперь, в это счастливое и радостное утро, ему хотелось, чтобы вместе с ним было как можно больше счастливых людей.

Однако, улыбаясь и кланяясь, он тем не менее зорко поглядывал вокруг себя, как бы отыскивая глазами кого-то, особенно нужного ему. Вдруг его взор остановился на молодом

красивом подъячем, горделиво подбоченившимся и стоявшем так молодцевато, что его сразу можно было заметить среди обычной базарной толпы.

— А, Федя, Федя! — весело крикнул Голицын, направляя к нему своего коня. — Вон ты где? Тебя-то мне и нужно!

— Здрав буди, боярин! — почтительно, но отнюдь не подобострастно поклонился ему молодой красавец. — Всею душою рад, ежели понадобится тебе. Приказывай, послужу.

— Ну, Федя, до службы ещё далеко, — усмехнулся Голицын. — Прежде чем за службу приниматься, поговорить нам надобно.

— И на том рад, боярин. Говори, буду слушать и на ус мотать. Небось всё о том же колоднике, что в мои руки попался, речь поведёшь?

— И о нём, Федя, а покамест прежде всего о тебе. Слышь-ка ты приди ко мне хоть сейчас, да приди так, чтобы ни одна живая душа о том не знала. Вы, подъячие, на такие ходы мастера немалые, не мне тебя учить.

— Вестимо так, князь дорогой, — с добродушной усмешкой поглядел на Голицына по-

дьячий. — Ладно, пойду я к тебе. А ты-то скоро будешь?

— Сейчас вслед за тобой коня вертаю...

— Ну, тогда я побегу, встретимся. Ты ведь на прогулку только выехал, княже?

— На прогулку, на прогулку Федя.

Они расстались.

Кругом них во время их разговора уже собралась толпа любопытных, слушавших разиня рот, что говорили эти двое людей, совершенно различных по своему общественному положению.

— Ишь ты, — нёсся шёпотом, — не горделив Васенька-то князь! С Федькой Шакловитым как со своим братом-боярином разговаривает и пересмеивается даже.

— О чём говорили-то они?

— Кто их там знает? О чём-то мудрёном. Ишь ведь как Фёдор Леонтьевич-то припустился!

— Видно, дело какое ему боярин дал.

А в это время князь Голицын, повернув коня, уже направлялся назад к своему дворцу.

XXII ПРИМЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК



е велика была сошка — подьячий стрелецкого приказа Фёдор Леонтьевич Шакловитый, а всякий на Москве знал и побаивался его. Был он, как говорили о нём, "птичка-невеличка, а ноготок востёр", хоть и гульливый молодец, а своего дела такая умница, что в других приказах такого подьячего и не сыскать бы. Был он не только смекалист по своему подьячему делу, но и умён к тому, и всяческим книжным премудростям обучен, а сверх того всегда ловок, смел и в карман за словом лазать не любил.

Таков был этот добрый молодец, которого при всём честном народе приветил ласковый князь Василий Васильевич.

Когда князь вернулся домой, Шакловитый

уже ждал его.

Князь приказал ему идти в дальнюю горенку своего обширного дома, а сам приказал слугам, чтобы ни единая душа близко не подходила, даже распорядился, чтобы на караул холопа с саблей поставили, и только тогда прошёл сам к своему гостю.

— Прежде всего, Федя, — ласково заговорил он, — спасибо тебе за твои вести. Присядь-ка, милый, вон табуретка! — движением руки указал он Шакловитому место, делая вид, что вовсе не замечает его смущения.

Шустрый обыкновенно подъячий на этот раз действительно растерялся от такого приглашения.

— Ничего, княже, — смущённо пробормотал он, — невелика я персона, и постоять могу...

— Садись, садись, милый, — внушительно промолвил Голицын, — чиниться в приказе должно, а ежели ты в гостях у меня, так милости просим, гостю почёт подобает всякий. Бывал я в разных зарубежных странах, так там друг пред другом никто не чинится...

— Так-то так, княже, — как-то особенно

усмехнулся Шакловитый, — а у нас, на Москве, разве можно? Узнал бы Хованский князь, что пред тобою сидеть я осмелился, он мне все жилы повымотал бы...

— Ну, авось, Бог даст, ничего не узнает князь Иван Андреевич, — добродушно засмеялся Василий Васильевич. — Не чинись же, друг, садись, я тебя о том прошу.

— Твоя воля, княже, ты приказываешь! — пробормотал Шакловитый и сел.

Голицын спокойно, но пристально, словно изучая его, смотрел ему в глаза, а затем начал:

— Я сказал уже тебе "спасибо" за твои вести, ну-ка, доложи мне теперь, что твой колодник всё ещё не признается, кто он такой?..

— Нет, говорить не хочет, молчит, как дыба в застенке... Только напрасно он... Я уже признал, кто он такой.

— Неужто? Кто же?

— Про князей Агадар-Ковранских слышал поди? Так тёзка он твой — князь Василий Лукич... Или не слыхивал?

Голицын наморщил лоб, стараясь припомнить что-либо об этом княжеском роде.

— Словно бы и слышал, — сказал он, — при блаженной памяти царе Фёдоре слух пошёл, будто он ляхского монаха-иезуита зарезал...

— Вот-вот, он самый, — подтвердил Шакловитый. — Сыскали его тогда, да он неведомо куда скрылся... Так и не нашли! Именьишко его за государя взяли, а он как в воду канул, вон когда только объявился... да и то! — и не договорив, Шакловитый махнул рукой.

— Ну-ка, Федя, — мягко ободрил его князь Василий Васильевич, — скажи-ка мне поподробнее, как он попал к тебе... С татями большедорожными, говоришь, взяли-то его?

— С ними, князь, с ними... Волокли они его куда-то и на отряд стрельцов нарвались, ну, их и сцапали. Отряд-то на дороге был выставлен, чтобы князя Ивана Андреевича берёг, и был поставлен в засаде... Ну, и схватили их тут... Разбойные люди были-то, опознали их на заезжем дворе; хозяин опознал, хотя и перепорчены были их лики, так что живого места не оставалось...

— Перебили их? — тихо спросил Голицын.

— На смерть всех... Уцелел князь Василий Лукич, и то потому только, что спутан был и

видно было, что у разбойных людей в плену он. После сам князь Иван Андреевич спрашивал, кто он да как с татями очутился. Не робкого десятка молодец, зуб за зуб с ним шёл, прямо в глаза смеялся, огрызался-то как! — и глаза Шакловитого даже заблестели от удовольствия при одном только воспоминании о допросе Агадар-Ковранского.

— А князь Иван что? — тихо спросил Голицын.

— Злился Тараруй, сопел, кряхтел, кричал, грозил... Всё спрашивал, где князь Василий Лукич был, не сидел ли он в заезжем доме, когда он там был, только ничего не добился, ничего тот ему не сказал. Тараруй приказал его в свой погреб бросить и караул верный приставить, чтобы никто к узнику пробраться не мог...

— Тебе приказали? — быстро спросил Голицын.

— Мне. А как вылучилась минутка да остались мы с ним с глаза на глаз, князь Василий Лукич засмеялся и говорит... Ты уже, княже, прости, не свои слова я сейчас вымолвлю...

— Говори, всё говори без утайки...

— Ну, так вот и говорит он: "Молод ты, парень, а видно, что смелый. Так беги к князю Василию Васильевичу Голицыну и посмейся ему от меня: скажи ему, что, мол, его любушка ненаглядная за Тараруя скоро замуж выйдет... Им уже брачные венцы куют... Тараруй царём захотел стать... А князь Голицын пусть крестного хода в августе боится".

— Так, так, — задумчиво промолвил Василий Васильевич, — ну, и дела же! Больше-то ничего не говорил?

— Ничего, княже, хуже всего то, что не попасть мне теперь к узнику, — князь Иван Андреевич строжайше запретил пускать меня к нему. Вот тебе всё я сказал, больше ничего не знаю.

XXIII
НА ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ



Нязь Голицын бесстрастно выслушал это сообщение, задевавшее его лично. На его лице словно маска была надета. Глаза, ещё недавно ласково смотревшие, теперь как в сталь одели свои взоры.

— Так, так! — проговорил он. — А что, Фёдор, узник жив?

— Полагаю, княже, что жив, — было ответом, — постоянно вижу, как ему пропитание носят и сам князь Иван Андреевич, нет-нет, да и спустится в погреб. По-моему, князь дорогой, выходит так, что побаивается Тараруй князя-то Агадар-Ковранского.

— Чего ему бояться-то? — вздохнул Голицын. — Кабы боялся, так давно бы извёл.

— За этим у Тараруя дело не станет, да,

видно, нельзя извести-то. Вишь ты, разбойничал князь-то Василий Лукич... Слышал ты, по-ди, про шайку головорезов, что на большой дороге засела и обозы купецкие грабила? Много их, таких-то шаек, развелось, а эта отчаяннее их всех была. Так вот князь Агадар-Ковранский этой шайкой и атаманствовал.

Голицын поморщился.

— И это прознал! — сказал он.

— Всё как есть, князь милостивый! — весело ответил Шакловитый. — Знаю я про всё, пожалуй больше, чем Тараруй знает; купецкого приказчика Петра я разыскал, так он мне всё рассказал. И знаешь, княже, повели ты мне ещё сказать то, что я думаю...

— Говори, Федя, — ласково сказал Голицын, — говори всё, что на душе есть... Ничего не бойся!

— Опять смуту Тараруй затевает — это верно узник-то мне сказал. С раскольниками он столкнулся... может, и впрямь задумал царём сесть... Со стрельцами он медовые разговоры ведёт, для стрелецких голов пированьица потайно устраивает. Только на Москву и мос-

ковский сброд не надеется он; ведь в Москве-то ежели подлый народ и пойдёт за ним, так тогда лишь, когда смута разожжена будет. Пойдёт, чтобы богатеев пограбить. Вот и нужно Тарарую, чтобы кто-нибудь новый смуту разжёт. Тут ему от князя Агадара большая помощь быть может. Знает князь Иван Андреевич, что князь Василий Лукич у большедорожных татей атаманствует, вот и думает, что придёт он со своей шайкой на Москву и гиль почнёт, а там раскольники подстанут, а на покрышку всего стрельцы явятся. Только ошибается он! Того он не ведает, что я знаю.. У князя-то атамана с его шайкой распря вышла, мне и это приказчик Петруха поведал.. Теперь-то князь Василий Лукич всё равно, как перст один.

Пока он говорил, князь Василий Васильевич уже закурил трубку с длинным чубуком, и ароматный дым стал расстилаться по небольшому покойчику.

— Поглядели бы, княже ласковый, — весело засмеялся Шакловитый, — те, кто на Москве в старой вере остался..

— Что бы тогда было? — остановился про-

тив него Голицын.

— Расчихались бы! — совершенно неожиданно докончил подьячий, не желая сказать то, что вертелось у него на языке.

Но Голицын понял, чего не досказывал Шакловитый.

— Вот то-то и есть! — заговорил он, словно обращаясь к самому себе. — Гиль устроить, государство великое потрясти — это не грех, а на такое дело, как куренье, все оглядят и все незамолимым грехом считают.

— Не все, княже, — перебил его Шакловитый, — такое теперь пошло, что разве одни младенцы-сосунки табаком не дымят. Из Кукуя табачного зелья, сколько хочешь, добыть можно и добывают...

Голицын рассеянно слушал, что говорит Фёдор Шакловитый.

— Опять смута, опять никому ненужная борьба, — говорил он, — а тут столько дела, столько великого государева дела! Ведь если бы выполнить его, всем бы, даже смутьянам самим, лучше жилось бы! Нет, не должен я уходить. Я должен порадеть о Руси православной, только для того и дано мне от Господа

всё. Кому ещё радеть кроме меня? Некому! Всякий только о себе думает, а о государстве страдающем и мысли ни у кого нет... Фёдор!

— Что прикажешь, боярин-князь? — быстро вскочив с табурета, спросил Шакловитый.

Голицын подошёл к нему, положил ему на плечо руку и несколько мгновений в упор смотрел ему в глаза. Шакловитый, выдерживая этот упорный взгляд, не потуплял своего взора.

— Фёдор, — заговорил наконец Голицын, голосом, так и лившимся в душу, — страдает наше великое царство, Русь наша родимая страдает... Не дают нашему народу покоя злые вороги, а враги-нахвалящики стерегут наши беды, чтобы, вылучив пору, голыми руками нас забрать... И те вороги, которые внутри куда злее, чем те, что снаружи. Те далеко, а эти близко, вот тут, везде. С ними нужно бороться, не щадя живота своего... А кому бороться? Где люди? Их нет! Цари-малолетки, царевна-правительница... Да под силу ли ей время, под которым и Тишайший порой гнулся? Тогда оно будет под силу, когда она около себя преданных людей соберёт, таких предан-

ных, чтобы живота своего не щадили ради её государского дела, чтобы и на розыске под пытками её врагов не выдали. Федя, тебя я приметил в такие люди царевнины. Хочешь, не ей, а Руси православной послужить, ни на какое жалованье не зарясь?.. Опасна служба, голова с плеч слететь может, но всё-таки тебя спрашиваю, хочешь послужить, Фёдор?

— Хочу, княже! — восторженно воскликнул Шакловитый, и на его глазах заблестели слёзы.

XXIV ТАРАРУЕВ УЗНИК



Фёдор Шакловитый ничего не утаил, рассказывая князю Голицыну про пленника князя Хованского.

Агадар-Ковранский, действительно, оказался в руках стрелецкого батьки и сидел, за-

пертый в одном из погребов его московского дома.

Князь Иван Андреевич и в самом деле боялся передать его в судный приказ. Он всё ещё не мог уяснить себе, как мог этот неведомый ему человек очутиться столь близко от заезжего дома, где произошла его встреча с раскольничьим посланцем, и беспокоился, не была ли подслушана им их беседа.

У князя Хованского было тоже немало дошлых людей, преданных ему за его "ласку", за подачки, на которые Тараруй был щедр всегда, когда ему нужно было чего-нибудь добиться. Ему скоро стало известно, кто такой его пленник, и эти сведения в самом деле окрылили его. Шакловитый был прав, когда высказывал предположение, что Тараруй хочет ввести в затеваемую им смуту новый элемент, доселе отсутствовавший, а именно: "народ". Но вместе с тем подьячий ошибался относительно того, на что это было нужно князю Хованскому. Тараруй просто рассчитал, что если бы смута не удалась, то её возникновение всегда можно было бы свалить на "злых людей" — на татей большедорожных, и

таким путём даже и при неудаче сухим и чистым из мутной воды выйти.

Однако, князь Иван Андреевич Хованский при всей своей дерзости, при всём своём несомненном уме, не был психологом. Хотя у него были на руках подробнейшие справки об Агадар-Ковранском, он не понял существа этой неукротимой натуры и при своих начальных переговорах прибег к обычной своей тактике: к запугиванию, то есть к тому, что как раз несколько не действовало на князя Василия Лукича. Чем больше он грозил своему пленнику, тем злее тот над ним надсмехался, тем громче хохотал над ним.

Злобный, мстительный Тараруй терял голову, не только не зная, что ему делать, но не понимая, в какую игру затеял играть с ним пленник... Князь Агадар-Ковранский своими дерзостями и пылкими наскоками, положительно, сбивал его с толку.

— А-а, воронья снесь, — рычал князь Василий Лукич на Тараруя, когда тот, явившись к нему в погреб, заявил, что ему всё известно: и кто такой его пленник, и какие за ним провинности числятся, — прознали-таки?.. Ну, да

мне всё равно! Знайте, знайте! По крайней мере на виселице умными казаться будете.

Свои слова он сопровождал злобным, гогочущим смехом, всегда смущавшим Тараруя. Князь Хованский привык, чтобы люди, к своему несчастью попадавшие в его руки, унижались пред ним, ползали у его ног на коленях, умоляли его о пощаде... О, с ними Тараруй знал, как себя вести! С ними, с этими жалкими червями, он был надменен, дерзок, беспощаден, но тут, слыша сам обиды и дерзости, он терялся и невольно притихал.

— Полно тебе, князь Василий Лукич, гротить-то, — ответил он на дерзкую выходку Агадар-Ковранского, — не страшна твоя гроза в погребе-то! — и прибавил, желая смутить узника: — ты вот лучше скажи мне, как ты разбойничал-то?

— Ежели с московскими боярами сравнивать, — загрохотал злобным хохотом Василий Лукич, — так я, разбойник больше дорожный, кротким агнцем был! Мы, разбойные люди, — телята кроткие, а волки-стервятники — вы, бояре... И за что только и нас, и вас одним и тем же жалуют: двумя столбами с переклади-

ной?

Опять этот сарказм смутил Хованского, смутил до того, что он даже не знал, что ответить. Ему всё казалось, что человек, попавший в его полную власть, не мог бы говорить так, если бы не чувствовал за собой чьей-либо поддержки, обеспечивавшей ему полную безопасность.

— А ну тебя, князь! — беспомощно махнул рукой Тараруй. — Тебя верно и не переговоришь... Тебе слово скажешь, а ты в ответ десять... Давай лучше по-хорошему...

— Давай по-хорошему! — согласился Агдар-Ковранский. — Да и чего нам в добре не быть? Ведь одинакие мы: ты — боярин именитый, а я — разбойник придорожный, одного, значит, поля ягода...

— Полно, — перебил его Тараруй, — надоел!.. Ну, одинакие, так одинакие, одного поля ягода, так одного, — цинично признался он, — ежели так, то и помнить мы должны: слышал, поди, рука руку моет?..

— Слышал... Что же из того?

— А вот что. Хочешь этот погреб на хоромы сменить? Хочешь, чтобы все твои художе-

ства навсегда забыты были? Хочешь, чтобы всё твоё именишко, за государя взятое, назад к тебе пошло? Мало этого, хочешь важным боярином стать... думским, что ли? Оно и роду твоему княжескому подстать совсем!

— Ну, ну, говори, что дальше, — грубо перебил Тараруя князь Василий, — по всему вижу, хочешь ты меня, разбойника, к себе в учителя взять... Брось лисить: не тебе у меня, а мне у тебя разбойному делу учиться нужно!

Князь Хованский пропустил мимо ушей эту новую дерзость своего пленника и продолжал прежним миролюбивым тоном:

— И мало для этого служить нужно: всего только пособрать бы тебе твоих молодцов да на площадь выдти с ними, погорланить малость...

— Или гиль опять? — быстро спросил Агдар-Ковранский.

— Гиль не гиль, — ответил Тараруй, — а народ православный своей святой правды искать собирается. Знаешь, поди, сам: цари-то — малолетки, а за них государевым делом баба, сестра их, правит... Нешто это полагается? Царь-то всякий, поди, по образу и по-

добию Божию, аки Адам сотворён, а всякая баба из ребра, что кочерыжка... Кочан на ней должен быть, так не Ваське же Голицыну кочаном стать?.. Не желают этого православные, и вот ты правде Божьей послужи со своими молодцами, а послуги твои втуне не останутся: зело добрая награда тебе будет.

XXV

ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИСЫЛ



Жидая ответа, князь Иван Андреевич, поглаживая бороду, лукаво смотрел на Агдар-Ковранского. Он не сомневался, что ответ будет утвердительный, и думал:

"Ага, попался-таки, парень! Пред добычей-то никогда ворон ворону глаз не выключет... Вот после, когда добычу делить придётся, так другое дело, а теперь... Да и что мне тебя в погребу гноить, ежели ты мне службу сослу-

жить можешь? А погреб к тому же мне для хозяйства нужен; осень скоро — с деревенских огородов всякую всячину повезут, а тут держи тебя. После-то погребца не понадобится, прямо тебя, друга милого, в сырую землю упрячу"...

На лице князя Василия Лукича заметно отражалось волнение.

— Ну, что же, родной? — заторопил его Хованский, — какой твой ответ будет?.. Вижу, что согласен ты...

— Нет, погоди, князь Иван Андреевич, — так и встрепенулся князь Агадар-Ковранский, — дай мне хотя до утра пораздумать.

— Чего раздумывать-то, сокол мой ясный?

— Нужно... Не всё ты знаешь! Ведь я своих молодцов растерял; повздорили мы промеж себя малость...

— Эка, велика беда! — перебил его Хованский. — Хочешь, так я тебе под начало сколько угодно молодцов дам... Твоим-то уж ни в чём не уступят: злы, как псы цепные, и в разбойном деле куда как искусны...

— Твоей, что ли, выучки? — пренебрежительно кинул ему Агадар-Ковранский.

— Вот именно! — залился смехом стрелецкий батька. — Ну, что ж, милый, по рукам да и в баню?

— Нет, поразмыслить хочу, — упёрся Василий Лукич, — а что и сулить, ежели ничего я сделать не сумею и не смогу... Молодцы-то мои, видно, к себе меня в атаманы опять хотят... Силой в своё становище тащили, да твои сорванцы им помешали...

— Ну, что же поделать, ежели так вышло? Кто такое дело знать мог? — поднялся со скамьи князь Иван. — Так и быть, милый, подумай до утра, ежели тебе того так хочется... До утра недолго. А чтобы тебе думать не скучно было, так я тебе французского винца pošлю... Выпей, вкусное вино-то, я за ним на Кукуй-слободу к купцу Монсову посылаю и нарочно по малости беру, а то у нас, на Москве, его беречь не умеют... Подумай, подумай, друг сердечный; ежели надумаешь народу православному послужить, за мной пошли, а не надумаешь — и посылать не нужно... Я тут своих людишек сам пришлю; нечего и погреб понапрасну занимать, он мне под овощи куда как нужен! — закончил разговор угрозою

князь Хованский.

На этот раз узник не разразился, как прежде, злым хохотом, не отпустил вслед уходящему обычной дерзости. Теперь он был всецело погружен в свои думы, и весь остальной мир как бы перестал существовать для него.

Холоп, принёсший князю Агадару объёмистый кубок вина и блюдо всякой снеди, очевидно, со стола самого князя Ивана Андреевича, застал его расхаживающим большими шагами из угла в угол. Василий Лукич словно не заметил вошедшего и обратил на него внимание только тогда, когда тот умышленно громко кашлянул.

— Ты чего? — накинулся князь на холопа. — Пошёл вон!

— Я... я-то ничего, — забормотал тот, — а вот Фёдор Леонтьев...

— Какой Фёдор Леонтьев?

— Шакловитый... подьячий... так он... сказать твоей милости велел, что ежели пить будешь, так поболтай посильнее... Тогда оно вкуснее станет... А я что? Мне ничего не надо...

— Ну, и пошёл вон! — даже замахнулся на холопа князь Василий Лукич.

Холоп исчез, а князь Агадар-Ковранский опять остался один со своими думами, овладевшими им после ухода Тараруя.

— Ловко придумано, куда как ловко! — словно отвечая самому себе, воскликнул он, — ай, да Тараруй! На что другое, а на всякое низкое дело взять его... Хочет, чтобы народ смуту поднял... Потом раскольники пристанут, а там его стрельцы всё повершат... Чего ловче! В смуте всякое бывает: ненароком можно и в кого не хочешь нож всадить... А в самом деле, правду я говорил, что разбойникам у вельмож царских разбою-то учиться следует!

И вдруг, когда так подумал князь Василий, словно кто-то неведомый щипнул его за самое сердце. Никогда этого раньше не бывало; никогда, с той самой поры, когда он, князь Василий, потайно свою ненаглядную Ганночку увидел, не знало его сердце жалости, а тут вдруг опять заговорило. Вспомнилась князю-разбойнику тихая обителька на берегу лесного озера с её ветхими, давно покинув-

шими мир стариками, вспомнилось, как они приняли его, болящего, обеспамятевшего, зная, что за зверь он лютый был, и вдруг этому неукротимому, полному всегда кипящей злобы человеку, стало жалко этого приюта мира и любви, до боли в неукротимом сердце жалко стало... А тут распалённое воображение представило ему пылающую смутой Москву. Вот где разгуляться есть, вот где есть чем потешить сердце богатырское, руки поразмять... Хорошо! Эх, пропадай всё! Хоть день, да мой...

В горле Василия Лукича пересохло, и он, подойдя к столу, взял кубок с присланным от Хованского вином. Тут ему припомнился несвязный лепет холопа.

Инстинктивно последовав странному совету, князь Василий сильно потряс кубок, и сейчас же послышались какие-то звуки, словно металл ударялся о металл.

— Это что? — так и вспыхнул князь, и, забывая о жажде, повернул кубок вверх дном.

Вино вылилось, но вместе с ним на каменный пол упал, сильно звякнув при падении, большой ключ.

Не помня себя, Агадар-Ковранский схватил его, отёр и несколько мгновений смотрел то на него, то на дверь. Потом с искажённым от волнения лицом он кинулся к двери, вложил ключ в замочную скважину и повернул его. Дверь отворилась, князь Василий увидел полутёмный коридор, но стражи в нём не было...

— Так вот как? — тихо проговорил он. — Знать, судьба... Э-эй, Тараруй, не удалось тебе меня в кабалу взять!

XXVI

ПРЕД РОКОВОЙ ВСПЫШКОЙ



Е раз приходилось Москве переживать бурные гили, не раз все её предкремлёвские улочки и площади заливало живое, бурлящее море, но никогда ещё столь долго не затягивалась смута. Бывало, гили вспыхивали и уни-

мались, как вспыхивает и угасает всякое случайное пламя. Но на этот раз было не то: начиналась затяжная смута.

Московские люди притихли, попрятались подальше; им было хорошо ведомо, что смута коснётся прежде всего их и им прежде всего придётся поплатиться и своими именьями, а не то и своей жизнью.

Князь Хованский ликовал. Он был вполне уверен в благополучном исходе своего предприятия. Всё, казалось, говорило за его успех. Стрельцы восторженно принимали своего "батюку", когда он, так сказать, гипнотизировал их, наезжая то в одну, то в другую из слобод для беседы. Из внутренних городов приходили от верных людей, вожаков-раскольников, вести, что ежели только Москва начнёт, то они на местах не отстанут.

Всё это так вскружило голову Хованскому, что о предстоящем захвате молодых царей, а затем и о своей женитьбе на царевне-правительнице он говорил уже, как о совершившемся факте.

— Ты, Андрей, свою-то царевну береги, — лукаво подмигивая, сказал он сыну, — она у

тебя хоть и перестарок, — намекнул он на уже решённый им брак князя Андрея с царевной Екатериной Алексеевной, — а девка в соку, по красивости-то и моей Софьюшке мало в чём уступит... Притом же тихая, не то, что сестрицы Марфинька или Марьюшка, а о Софьюшке-правительнице и говорить нечего...

Князь Андрей кисло-вато улыбнулся: с одной стороны, ему не верилось, что природная царевна станет его женой, с другой — он завидовал отцу, не желая его смерти, чтобы занять московский престол.

— Эх, — ответил он, — кажись, чтобы старшая сестра у младшей дочерью стала, того и в зарубежных царствах не было!

Князь Андрей, профессиональный юрист, ещё ничего не достигнув, уже подыскивал основание к тому, чтобы столкнуть отца, когда тот заберётся на престол, и занять его место. Однако, упоенный заранее восторгом старик не обращал внимания на отдалённые намёки сына.

У князя Ивана Андреевича был ещё младший сын — князь Иван. Это был буйный молодец, гуляка, безобразник. Отец уже давно

махнул на него рукою: старику Хованскому думалось, что на этого сына он надеяться не может: "больно ветра много в голове", тогда как спокойный, рассудительный, до тонкости знавший все законы Андрей Иванович казался ему самым подходящим в хитросплетённой интриге, которая должна была их обоих привести к престолу и возвести на него.

Уверенный в преданности стрельцов Тараруй всё-таки несколько побаивался одного стрелецкого полка, не выказывавшего ему своих восторгов и безучастно относившегося ко всяческим его заигрываниям.

Это был стрелецкий стремянный полк, особенно часто вызываемый для караулов в Большой дворец. Этот полк пользовался большим вниманием царевны-правительницы, часто видел обоих царей и казался старому интригану ненадёжным.

"Надобно удалить его, — размышлял князь Иван Андреевич, — а то одна ложка дёгтю весь мёд испортить может... Вон и бутырские солдаты неведомо ещё на чьей стороне будут".

В самом деле, в слободе Бутырке, у заставы,

где были поселены гарнизоны солдат бутырского полка, положение было довольно неопределённо. Солдаты были совсем новым войском, большинство их было взято из московских семей. Они знали, что при смуте прежде всего пострадают их родные, и потому далеко не были проникнуты желанием помочь в беспорядках стрельцам. Эти же последние были для Москвы чужаками: московских уроженцев среди них было немного; большинство составляли астраханские стрельцы и вообще уроженцы Поволжья. Все они были закоренелыми раскольниками, и на них-то была у князя Хованского самая твёрдая надежда.

В своём упоении князь Иван Андреевич даже особого внимания не обратил на побег князя Агадар-Ковранского из его погреба. Когда Хованские подсчитали свои наличные силы, для него сразу стало ясным, что при таком их количестве можно обойтись и "без народа", а стало быть, и вожака для гилевщиков было уже не нужно.

— Пусть его! — решил князь Хованский, когда ему доложили, что пленник неизвестно

как убежал. — Далеко не уйдёт, тут на Москве трепаться будет... Найдётся — повешу на первом заборе, вот и вся недолга!

Он даже не назначил расследования о том, как удалось бежать пленнику: не до того было, — все его мысли были заняты предстоявшим "великим действием".

А начало этого великого действия было назначено на 19 августа 1683 года, когда по Москве из Успенского собора в Донской монастырь совершался крестный ход в память избавления от нашествия татар-крымцев при царе Фёдоре Иоанновиче.

Обыкновенно, этот крестный ход совершался с особенной пышностью. За ним всегда следовал сам царь, нёсший крест. Тут должны были идти оба царя, и у Хованского был план произвести беспорядок во время пути к монастырю и захватить под предлогом "верного обережения" обоих царей — Ивана и Петра, — оставив, однако, на свободе их сестру-правительницу.

XXVII

СОРВАННАЯ СМУТА



Разные дни переживала царевна-правительница Софья Алексеевна. Она ясно понимала своё положение, сознавала призрачность своей власти. Какая это власть, если иные стрельцы могли шатать её из стороны в сторону, если они могли за несколько бочек вина, выкаченных им для пропоя, сгонять с царства одних, возводить на престол других! Что это за положение, если развратный старик Хованский, плохой полководец на поле битвы, мог предъявлять требования на красавицу, царскую дочь, замужеству с которой был бы рад любой зарубежный король!

Царевна зубами скрежетала, платки свои кружевные в мелкие ключья рвала, всех своих горничных девок перещицала со злости,

когда ей вспоминались замыслы Тараруя. В ней этими замыслами была оскорблена женщина, женщина гордая, властная, знающая, кто и что она такое, и притом ещё, женщина любящая...

После ночного свидания в беседке царевна не видела князя Василия Васильевича, — да мало того, что не видела, а сама не хотела его видеть.

— Когда сдержу своё слово и покажу ему, что Тараруй в свой смертный час будет отказывать, — приказала она передать своему любимцу, — тогда и свидимся...

Однако, тут говорила уже не одна только гордость. Как ни была могуча царевна, а и в её мужественное сердце закрадывалась неуверенность в своём будущем. Она тоже хорошо знала, на какие силы опирался Хованский, и порой отчаяние начинало охватывать её. В сущности говоря, она была одна, совсем одна; то трусливое боярское стадо, которое толклось постоянно в царских палатах, только раздражало её своею растерянностью.

"У-у, окаянные! — думала не раз царевна. — Возьмёт Тараруй силу, так от меня все

они к нему и посыплются! Вот и вся их цена".

Однако в последние дни при царевне оказался человек, в котором она сразу же уверилась безусловно. Это был Фёдор Леонтьевич Шакловитый. Уже одного того, что он был прислан "светом Васенькой", было вполне достаточно, чтобы царевна положила на него, как на каменную гору. И она на этот раз не ошиблась: Фёдор Шакловитый был именно такой человек, какой и нужен был Софье Алексеевне в переживаемое ею тревожное время.

Она сразу приблизила его к себе, долгие часы проводила с ним в разговорах о предстоявших событиях, и Шакловитый умел всегда успокоить её тревогу.

— Брось даром крушить своё сердце, матушка-царевна, — говорил он, — что там будет, Бог покажет, а я так думаю, что не Тарарую нас взять...

— Думаешь? — спрашивала Софья Алексеевна.

Шакловитый презрительно передёргивал плечами.

— В грош я тараруевских стрельцов астра-

ханских не ставлю! — говорил он. — Они, что пёс-пустолай, только на одно тьявканье и годны... Сделай по-моему, царевна, и увидишь, что выйдет... Доверься мне в этом! Богом клянусь — не пожалеешь!..

Шакловитый уже не однажды развивал пред правительницею в подробностях свой план борьбы со смутой, но только накануне того дня, когда должен был идти роковой крестный ход, царевна-правительница сказала ему:

— Ну, Фёдор, сделаю по-твоему, а в остальном сам действуй...

Глаза молодого человека заблестели радостью, когда он услышал эти слова.

В день крестного хода несмотря на все страхи, все московские улицы и проулки, по которым он должен был пройти в Донской монастырь, кишели народом. Все знали, что вряд ли дойдёт до монастыря крестный ход, что на пути ему тараруевы приспешники приготовили засаду, и что дело дойдёт до кровопролития; но всё-таки во всех говорило любопытство и собрало на улицы толпы праздных людей. Среди них был и недавний плен-

ник Тараруя — князь Василий Лукич Агадар-Ковранский.

Когда он вырвался из погреба Хованского, то первым, на кого он наткнулся, очутившись на свободе, был Фёдор Шакловитый. Последний увёл к себе освободившегося пленника, скрыл его у себя до поры, до времени и только теперь, в день крестного хода, позволил ему выйти на московские улицы, чтобы посмотреть, как начнётся тараруево "великое действие".

Князь Василий Лукич ходил из улицы в улицу, как сонный. Всюду он видел буйные толпы пьяных стрельцов, слышал угрозы залить Москву кровью и не видел ничего такого, что было бы приготовлено хотя бы для отпора начинавшегося бунта.

А что последний был неизбежным, это казалось очевидным.

— Возьмём за себя великих государей, — во всё горло орали пьяные, — пусть они сами царствуют, а бабьего хвоста нам на престоле не нужно...

Такие крики раздавались всюду. Начало своего "великого действия" Тараруй полагал

именно в захвате царей. Это он считал наиболее важным; остальное всё, по его расчётам, должно было пойти как по маслу.

Вдруг незадолго до того, как кончилась в Успенском соборе литургия, показались стройные ряды всадников, направлявшихся через Москву к Коломенской заставе. Это выходил в полном своём составе стремянный полк, тот самый, на который не питал надежды князь Хованский. Полк красиво прошёл по улицам, никого не трогая, и это ещё более убедило бунтовщиков в их успехе.

— Видел, князь, стремянных? — ликовали полупьяные стрельцы, — теперь нашему делу ни от кого помехи не будет...

Чу, зазвонили колокола. Это пошёл крестный ход. Вот его хоругви, слышны песнопения... Вот идёт духовенство.

Стрельцы не двигались с места. Они стояли, разинув рты, не зная, что им делать. Ни царей, ни царевны-правительницы за крестным ходом не было...

— Отъехали цари-то с Москвы, — пронеслась вдруг весть среди обескураженных бунтовщиков, — стремянные их поезд провожать

позваны.

Хитросплетённый план Тараруя потерпел крушение.

XXVIII ЦАРСКИЙ ОТЪЕЗД



а, не удался в самом своём начале план старого Тараруя!..

Несчастные пьяницы-стрельцы были подбиты на то, чтобы захватить обоих царей и скрыть в подмосковном доме своего "батьки". Но царей на крестном ходу не оказалось и захватить было некого. Повод к смуте был вскрыт разом: и всеми сторонниками Хованского овладели смущение и растерянность.

Сам Тараруй не знал, что делать. Теперь ему уже не о царстве нужно было думать, а о том, как спасти свою голову. Старик хорошо знал нрав своих стрельцов. "Сумы перемёт-

ные" — нередко называл он их сам. Всякая неудача действовала на них угнетающе, и теперь можно было ожидать, что если не все полки, то большинство их, перейдут на сторону правительницы.

"Изловить! Придушить сразу, — было первою же мыслью Хованского, когда он получил известие об отъезде царей, — всё равно пропадать теперь".

Но момент был уже упущен. Весь царский двор был в селе Коломенском и около него для стражи оказался стремянной полк, достаточно сильный, чтобы отбить нападение стрельцов, если бы только те осмелились на это.

Но стрельцам было не до того. Они приуныли, потеряли всякую бодрость и пьянствовали так, что в кружалах не хватало вина.

Однако, Хованский не хотел сдаваться. Он вздумал пугать правительницу "новгородскими боярами", которые, будто бы, прибыли в Москву для всенародной смуты, и совсем уже глупо спрашивал у правительницы, что ему с ними делать?

— А тебе бы, воевода, — последовал от-

вет, — тех новгородских бояр взять за себя и разыскать ими, для чего они то действие затеяли, и, разыскав всё, бить челом великим государям, пусть бы грамоту свою дали и тех смутьянов по своей царской воле пожаловали.

Другими словами, Хованскому указан был обычный порядок судебного расследования по делам подобного рода и при этом даже было подчёркнуто, что, дескать, он, воевода, своего дела не знает, ежели о нём расспросы делает.

Это было таким ударом по самолюбию князя, что он совсем голову потерял и начал было Москву мутить и кровавую гиль поднимать.

Однако опять последовала неудача! Московский народ не хотел гили и был против стрельцов, которых считал рассадником смуты; стрельцы, растерявшиеся после первой неудачи, боялись народа, зная, что они — ничто без него и негодны были ни к каким вооружённым выступлениям.

Раскольники же, видя, что ни народ, ни стрельцы смуты не начинают, тоже сидели, не давая о себе ни слуха, ни духа, так что Та-

раруй и его сын остались совершенно без союзников. А тут ещё наступило новолетие. Нельзя сказать, чтобы день первого сентября праздновался Москвою особенно пышно, но, как и во все другие праздники, москвичи любили основательно выпить в течение его. Москва в день "действия нового лета" обычно имела пьяный праздничный вид, а на этот раз осталась трезвою. От двора пришёл указ Хованскому быть у "действия нового лета", а он, струсив сам, не пошёл. Не пошли и его стрельцы. Из народа пришли только пьяницы, и патриарх остался очень недоволен. Ещё бы! При торжестве был только один окольный.

Москва испугалась, с одной стороны, стрельцкого бунта, а с другой — была уверена, что боярские дети и люди отомстят в день новолетия стрельцам за беспорядок на крестном ходу. Таким образом, с обеих сторон было пусто, а Хованский, не получавший точных сведений о настроении стрельцов и народа, был уверен, что он останется совсем без союзников.

О малолетних царях он получал довольно

верные сведения. Они, благоверные, изволили путешествовать. Из села Коломенского оба царя отъехали в Воробьёво, из Воробьёва — в Павловское, затем — в Саввин-Сторожевский монастырь, где праздновать изволили память чудотворца Саввы. Затем они вернулись в Павловское, а из него проехали в Хлябово, а из Хлябова — в село Воздвиженское, где и были четырнадцатого сентября, дабы отпраздновать здесь престольный праздник.

Ездили-то цари не совсем просто. Не Бог весть какие они сёла объезжали, а массу народу собрал их поезд. Напрасно сказал поэт, что "живая власть для черни ненавистна". Во время этого путешествия царей, из которых один был недоумок, а другой — малолеток, около них собралась такая масса всякого народа, какая и в Москве не всегда собиралась.

Софья ездилa с братьями и ловко придумала.

Прибыл с Украины гетманыч Семён и ради него царевна-правительница стала рассылать всем боярам, окольнічьиm, думным людям, стольничьиm, стряпчим, дворянам московским и жильцам указы о походе из Москвы в

Воздвиженское, всем было приказано съехаться непременно к 18 сентября. В этот день назначился большой приём гетманьча великими государями, а так как в канун этого дня были именины царевны-правительницы, то ещё шестнадцатого сентября масса московской знати переполнила Воздвиженское. Тут были не только придворные люди, но и множество простых стрельцов, пожелавших воспользоваться именинным днём, чтобы заявить о своём раскаянии принести повинную царевне.

Князь Иван Андреевич Хованский видел, что вся его затея рушилась, но для вида всё ещё держал голову высоко. Он оказался в полном одиночестве; около него ютился ещё сын его, Андрей, прекрасно понимавший, что его судьба связана безусловно с судьбою отца. Второй сын, Иван, словно не замечая, что происходит, пьянствовал и беспутствовал со стрельцами, как прежде.

Нельзя сказать, чтобы князь Иван Андреевич казался забитым или униженным; напротив того, он держался совсем гоголем, отдавал распоряжения, как будто ничего не

произошло в Москве, и не показывал вида, что число преданных людей вокруг него с каждым днём всё таяло и таяло. Должно быть, он всё ещё питал надежду, и эта надежда прочно сидела в нём, хотя бы потому, что он видел, что и князь Василий Васильевич Голицын всё ещё остаётся в Москве и даже не делает никаких сборов к отъезду.

— Обнесли нас пред царевной-то, — лицемерно вздыхал он в беседах с сыном, — уж если она своего... милого дружка к себе не требует, так, значит, ничего она не задумывает, и всё пойдёт на Москве по-старому.

Однако, семнадцатое сентября сильно пугало Тараруя. Он уже прознал, что на день своих именин царевна назначила в Воздвиженском "большое сидение", то есть совет по каким-то государственным делам. Если бы она не призвала к этому сиденью и Хованских, то это значило бы, что они в великой опале, но этого не было. Особым гонцом правительница просила и князя Ивана, и князя Андрея прибыть к ней "на водку", то есть, другими словами, она приглашала их и на созываемый ею совет.

Тараруй был в восторге от этого приглашения и, нимало не медля, собрался в Воздвиженское.

XXIX ЛЮБОВЬ И ТРОН



Князь Василий Васильевич Голицын тоже получил приглашение прибыть в Воздвиженское на именины царевны, но оно было далеко не таково, как приглашение Тараруя.

Царевна-правительница уже чувствовала и ясно видела, что она в состоянии исполнить те обещания, которые несколько хвастливо были даны ею князю Василию при ночном свидании в беседке, и написала ему очень нежное приглашение.

"Свет ты мой Васенька, солнышко ты моё ненаглядное! — читал князь Василий Васильевич в нежном послании своей разлапуш-

ки. — Проходит наша тёмная ночка и радостный светлый день наступает, но, как в беде, так и в радости, не могу я тебя забыть, моего светозарного. Спасибо тебе за Федю Шакловичего! Вот парень, в молодые лета умудрённый опытом старца седого. Он мне один только добрый совет подал; но я так думаю, что не он, а ты мне добро сделал, ибо если б ты его ко мне не прислал, так и его в тяжёлые годы около меня не было бы. Так что не он, а ты мне помог окаянную хованщину избыть. Теперь же я ничего не боюсь. Около меня народ сошёлся и происки врага мне не страшны. Приезжай ты, свет мой, в Воздвиженское, где я с братьями милыми и с мачехой будем справлять именины мои, святой Софии, премудрости Божией, коей имя невозбранно ношу я с твоею теперь, Васенька, помощью. Назначила я после водки у великих государей великое с боярами сиденье. Ты на него хотя и не приезжай, а после пожалуй. Может быть, и исполнится слово моё, кое я тебе в нашем особливом разговоре сказала, и увидишь ты, какое кому царство проклятый Тараруй будет отказывать. А тебе, соколу моему поднебесно-

му, привет от меня. Поцелуи же мои потом последуют, когда мы без письма с глазу на глаз встретимся".

Это письмо, дышащее и любовью, и ненавистью, произвело большое впечатление на князя Василия Васильевича. Он не любил Хованского, считал его вредным интриганом, но уже по той паутине, которую раскидывал Тараруй, видел в нём человека, куда более способного, чем дядя царевны, Иван Михайлович Милославский. И ему жалко было князя Ивана Андреевича, жалко потому, что, по его соображению, этот зарвавшийся вельможа, как бы там ни было, человек с русской душою, мог бы быть полезным русскому царству. Но Голицын видел, что князь Иван Андреевич приуготовил свою судьбу, и теперь, жалея его, размышлял, как бы устранить от него его ужасную участь.

Шакловитый был у князя Василия Васильевича постоянным гостем и являлся к нему запросто.

Скромный подьячий величался теперь уже думным дьяком и правил многие царёвы дела. Он отнюдь не был снисходителен ни к Хо-

ванским, ни к стрельцам.

— Брось ты, княже, жалеть эту мразь, — сказал он Голицыну. — Много их, и обо всех-то их, от первого до последнего, плаха да виселица плачут. Одну голову срубить — десяток на её место явятся. Одного повесить — десяток с петлями на шее прибежит. Чего их жалеть-то? Э-эх! Добра ещё царевна-правительница! Собрать бы их всех на Красную площадь да перерезать, как персюки баранов режут, чтобы другим, что после придут, не повадно было бунтовать. А то, сам посуди, из-за чего они стараются? Очень им переболело, кто на царстве будет; ведь Романовы, Милославские, Хованские — один им дьявол. Кто их водкой поит, тот им и царь. А польза какая от них? Вот смутьянят ляхи, обидные грамоты рассылают, Украину в подданство к султану зовут, чтобы от нас их отшибить. А пошли-ка этих стрельцов на рубеж, так разве они годны для царского дела? Нет, новые солдаты куда пригоднее. Ежели бы моя воля была, вывел бы я всё это войско стрелецкое до единого... Смута только одна от него...

В ответ на такие суждения князь Василий

только головой кивнул.

— Всякому овощу своё время, — произнёс он. — Хорошо, что теперь и стрельцы есть. Буйны они, что говорить, а всё-таки сила. Силою же один только ум владеет. Настанет время, когда и сами они пропадут. И так я думаю, что такое время не за горами. Недолговечна правительница. Сам, поди, знаешь, не по дням, а по часам растёт богатырём нарышкинец-то. Мало времени пройдёт — и придётся правительнице ему царство сдать. А уж он-то и не с одними стрельцами управится.

— А скажи мне, княже вот ежели бы, к примеру сказать, Пётр-то Алексеевич царём стал? Был бы ты ему слуга, или нет? — спросил Шакловитый.

— Был бы! — без всякого раздумья ответил князь Василий. — Не за страх, а за совесть был бы, хоть и не люб мне. Ведь всё же он — царь над Русью венчаный.

В князе Василии Васильевиче уже сказывался будущий дипломат, умеющий заглядывать за завесу грядущего.

XXX
НА ПУТИ К ПЛАХЕ



С я московская знать двинулась в Воздвиженское, как только стало известно, что царица Софья там будет справлять свои именины. По дороге в тихое, мало посещаемое село потянулись длинные обозы; с утра до ночи, а то и ночью, видны были колымаги, окружённые вершниками, слышались непрерывные крики, брань, понукание, и уже одно это должно было бы показать князю Хованскому, что затеянное им дело потерпело полнейшую неудачу.

Однако, старый Тараруй всё ещё не хотел сдаваться; он никак не мог поверить тому, что его тайные замыслы могли быть раскрыты. Он не допускал мысли, чтобы кто-либо мог прознать его сокровенные тайны, а всё

то, что пока произошло, ещё отнюдь не составляло, по его мнению, никакого преступления, в котором можно было бы обвинить его. Такие мути и гили, как вызванная им, и раньше того не раз бывали в Москве; задорность и буйность стрельцов были хорошо известны, а он ничем не проявил себя — ни подстрекательством к мятежу, ни даже попустительством на него. Да и мятежа-то никакого не вышло, всё обошлось тихо. А злые языки мало ли что говорить могут? Их мерзкого бреханья не переслушаешь.

Так думал Хованский, и женской придурью, то есть капризом, объяснял себе желание царевны отпраздновать именины не в столице, а в далёком подмосковном селе. Наконец, видя, что все отъезжают из Москвы в Воздвиженское, князь Иван Андреевич решил и сам поехать вместе со старшим сыном, князем Андреем.

Было ясное сентябрьское утро, когда, наконец, из Москвы к Пушкину тронулся поезд Хованского. Желая показать, что ему бояться нечего, князь Иван Андреевич не взял даже стрелецкого конвоя, а ехал запросто. Дума-

лось ли ему в те мгновения, когда он отъезжая крестился, что он в последний раз в жизни видит блистающие главы московских сорока сороков?

А оставленная им Москва словно теряла голову от неожиданно нависшей над ней беды. Такое с ней случалось ещё впервые. Правда, отъезжали на время гили и Тишайший царь, и царь Михаил Фёдорович, но столица, всё-таки, никогда не оставалась без высокой власти, к которой она уже привыкла в предшествующее царствование. Всюду шатавшиеся пьяные стрельцы, то там, то тут задиравшие мирных обывателей, как бы хотели показать, что ждало бы москвичей, если бы они, "тараруевы детки", стали и на самом деле хозяевами положения, и тем самым как бы отняли значение высшей власти для мирного населения. Скоро эти полупьяные буяны стали ненавистны своими бесчинствами для всех, кто оставался в Москве, и если бы не уверились, что в конце концов правительство справится со смутой стрелецкой, против них двинулся бы сам народ.

Князь Василий Лукич во все эти смутные

дни шатался по Москве, к чему-то всё приглядываясь, чего-то всё ожидая. Ему казалось, что "тараруево действо" далеко ещё не закончено и что так ничем не может быть кончено. Порой ему становилось жалко, что он не принял предложения Хованского, порой он обвинял самого себя в том, что сам до известной степени был виновником всей этой московской бестолочи, только напрасно перебудоражившей людей.

"Э-эх, если бы в прежнее времячко да это, — думалось ему, — уж тогда было бы, где разгуляться!.. А то и народ-то какой пошёл: режь его, а он, как телёнок, голову протягивает. И стрельцы тоже — хороши молодцы.. нечего сказать! А ещё войском считаются!.."

И опять в душе этого неукротимого человека рождалась злоба, притом, совершенно беспричинная в его положении. Вряд ли он даже знал, на кого он злобствовал; он сознавал только одно, что всё делается не так, как ему хотелось бы, что смута не принимает такого характера, какой он представлял себе. В то же время князя Агадар-Ковранского неудержимо тянуло в Воздвиженское, где была теперь вся

Москва. Ему хотелось видеть, как встретится Тараруй с неукротимой царевной и чем завершится их встреча. Натура князя Василия Лукича была непосредственна, он легко поддавался своим порывам, и, когда прознал, что князья Хованские собрались на царевнины именины, решил и сам отправиться в Воздвиженское, дабы стать свидетелем того, чем завершится наконец "тараруево действо". Как ни неукротима была душа этого человека, всё-таки то, что он пережил в последние дни, как бы покинуло его и уже лишило прежней мощи, в которой всегда сказывалось более безумства, чем ума.

Нельзя сказать, чтобы замыслы Тараруя, в которые он столь неожиданно проник, не привлекали его. Всё преступное скорее находило отклик в душе Василия Лукича, чем доброе. Злость заставила его помешать Тарарую, выдав Шакловитому его тайные планы, а теперь, когда, благодаря доносу, "тараруево действо" было проиграно, ему было уже жалко этого лихого старика, хотя и не прикидывавшегося доброжелателем простого народа, но всё-таки кое-что для него делавшего.

Обуреваемый такими мыслями, Агадар-Ковранский, пристроившись на чьём-то возке, начал пробираться к Воздвиженскому.

Между тем, Хованский добрался уже до Пушкина. Дорога была для него лёгкая. Много народа шло по ней, и со своим величайшим прискорбием он должен был видеть, что все эти люди шли к Воздвиженскому, то есть на поклон к царевне. Грустно было на душе у Тараруя, но тем не менее он считал своё дело далеко ещё не проигранным.

— Э, пустяки всё, — сказал он сыну, князю Андрею Ивановичу, стараясь ободрить его. — Полно, сынок, не робей!.. Не в таких мы с тобой передрягах бывали, а сухими из воды всегда выходили. И теперь мы выйдем. Не бойся!..

— А слышал ли, батюшка, в чём виноваты нас? — спросил приунывший князь Андрей. — Знаю, что заведомую напраслину взводят, а как бы дыбою в застенке наше дело не кончилось.

— Э-э, пустое! Какая там дыба? Не так-то легко именитого князя на дыбу вздёргивать, не простые мы с тобой люди. Прежде чем в за-

стенок отправлять, спросят, поди, нас, так ли то было, или нет.

— А ежели, батюшка, не спросят? — настаивал младший Хованский. — Ежели вот и видеть-то нас царевна не пожелает.

— Ну, тогда мы и сами на неё не взглянем, — дерзко сказал старик. — Возьмём да назад на Москву и отъедем, а там нас стрельцы-молодцы не выдадут.

— Хорошо, кабы так!.. А гляди-ка, батюшка, никак боярин Лыков из Воздвиженского назад едет.

Андрей Иванович не ошибался. Прямо на поезд Хованского надвигался отряд стремянных стрельцов, во главе которых был боярин Лыков, один из боевых воевод царя Алексея Михайловича, личный враг Хованского.

— Эге, князь Иван Андреевич, — закричал он ещё издали. — Поздно ты на царевнины именины собрался! Соскучилась по тебе наша матушка и вот теперь меня за тобой послала. Ну-ка, поедем вместе, скорее будем.

Глазом не успел моргнуть Хованский, как его поезд был окружён стремянными. Теперь и его сердце почувствовало недоброе.

КОНЕЦ СТРЕЛЕЦКОГО БАТЬКИ



В Воздвиженском в Софьин день, несмотря на именины царевны, после поздравления её, началось в постоянной избе у съехавшихся бояр "о государевом деле великое сиденье".

— Великим государям ведомо учинилось, — доложил думный дьяк заседавшим боярам, — что боярин, князь Иван Хованский, будучи в приказе надворной пехоты, а сын его, боярин, князь Андрей, в судном приказе, всякие дела делали без великих государей указа, самовольством своим, и противясь во всём великих государей указу; тою своею противностью и самовольствием учинили великим государям многое бесчестие, а государству всему великие убытки, разоренье и тя-

гость большую. Да сентября во второе число, во время бытности великих государей в Коломенском, объявилось на их дворе у передних ворот на них, князе Ивана и князя Андрея, подмётное письмо: извещают московский стрелец да два человека посадских на воров и на изменников, на боярина, князя Ивана Хованского, да на сына его, князя Андрея: "На нынешних неделях призывали они нас к себе в дом — человек девять пехотного чина да пять человек посадских — и говорили, чтобы помогали им достигать царства московского и чтобы мы научили свою братию ваш царский корень известь, и чтобы придти большим собранием неожиданно в город и называть вас, государей, еретическими детьми и убить вас, государей обоих, царицу Наталью Кирилловну, царевну Софью Алексеевну, патриарха и властей; а на одной бы царевне князю Андрею жениться, а остальных царевен постричь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить: Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой

веры не любят, а новую заводят; и как то злое дело учинят, послать смущать во всё московское государство по городам и деревням, чтобы в городах посадские люди побии воевод и приказных людей, а крестьян подучать, чтобы побии бояр своих и людей боярских; а как государство замутится, и на московское бы царство выбрали царём его, князя Ивана, а патриарха и властей поставит, кого изберут народом, которые бы старые книги любили".

С напряжённым вниманием слушало всё "сидение" этот страшный обвинительный акт против могущественного вожака стрельцов. Все знали, что тут много прикрас, но вместе с тем было понятно и то обстоятельство, что в основу обвинения заложена сама сущая правда.

— Вот вам, бояре именитые, и слово знаменитое, — звонко выкрикнула царевна, всё время безмолвно слушавшая чтение. — А к тому вам добавить хочу, что и сам-то Ивашка Тараруй на такое помыслить осмелился, чтобы я, царевна, за него замуж пошла, и через то самое оный Тараруй над вами царём бы стал.

— Прости, царевна, — выступил один из бояр, — если бы шуты такое говорили, так я посмеялся бы, может быть, а теперь смеяться не смею, а верить не могу. Слышите, бояре, Тараруй у нас царём захотел быть!

— Полно тебе лисить!.. — раздался голос из задних рядов. — Сам, поди, лучше других знаешь, на что Тараруй метил.

— Откуда знать-то мне? — высокомерно ответил вопросом первый боярин. — Я с Тараруем пива не пивал.

— С раскольничьими идолопопами зато ведался. Сами поди, сговаривались старую веру на новое место стрельцовскими бердышами на наших головах укрепить.

Сама собой разгоралась ссора, сравнительно нередкая на подобных боярских "сиденьях". Софья прекрасно знала, что завершением таких ссор обыкновенно бывает всеобщая потасовка, а между тем, момент был вовсе не такой, чтобы дать страстям разгуляться.

— Молчите, бояре! — гневно выкрикнула она. — Кто что думал, о чём с кем сговаривался, того я не спрашиваю теперь, может быть, и после не спрошу, а созвала я вас сюда в име-

нинный свой день за тем, чтобы вы сказали мне, повинен ли князь Иван Андреевич Хованский с сыном своим, князем Андреем, в лихом умысле на наши царские величества?

Задавая такой вопрос, Софья даже со своего трона приподнялась и теперь стояла, обводя пылающим взором всё собрание. Она хорошо знала всех этих людей и проникала в сокровенные их мысли. Среди заседавших бояр не было, ни одного, который не страшился бы Тараруя, как пожара. Ведь князю Ивану Андреевичу ровно ничего не стоило бы напустить на своего противника ватагу пьяных стрельцов, им же напоенных, и тогда, конечно, недовольного им человека постигло бы полное разорение. Этого и боялись московские знатные люди.

Тараруй для них был неуловим. Ведь не мог же он, в самом деле, отвечать за пьяные стрелецкие безобразия. Ну, взыскал бы он с первого попавшегося батогами, а какой был бы толк от того разорённому? Эта боязнь сказывалась даже и теперь. Софья, не слыша ответа на поставленный ею ребром вопрос, сильно заволновалась, но всё-таки нашла вы-

ход из такого положения.

— Это хорошо, что вы не сразу отвечаете, — пренебрежительно кинула она собранию. — Подумайте, подумайте хорошенько, авось по правде ваше решение будет.

— Матушка-царевна, — перебил её слова вбежавший с докладом один из назначенных в караул боярских детей. — Дозволь тебе сказать, государыня, что привёз боярин Лыков Ивашку Тараруя с его отродьем, и стоят они у села на большой дороге, в том месте, где ты указала.

Словно буря внезапно налетела и оживила дотолле упорно молчавших бояр.

— Повинен... в лихом умысле на здоровье царских величеств князь Хованский... И Иван, и Андрей повинны... — кричали в первых рядах.

— Казнить их обоих, чтобы и памяти от них не осталось... — неистовствовали задние.

— Худая трава из поля вон... Да здравствует царевна Софья Алексеевна! — повторяли третьи.

— Да живёт она многие лета!

О царях Иване и Петре никто не вспоми-

нал.

— Ручку, ручку дай поцеловать, царевна милостивая, — так и подкатился к Софье Алексеевне тот самый боярин, которого только что уличали в сношениях с раскольниками, поддерживавшими Хованского. — Ты одна у нас солнце красное и тебе мы все верою и правдою служим. А Ивашке Тарарую смерть. Пусть ему голову отрубят за то, что такое помыслить осмелился. Нечего такую голову и жалеть, если в неё столь срамные мысли приходят...

— Так каков же ваш приговор, бояре? — покрывая весь шум, выкрикнула царевна. — Повинен, говорите, князь Иван Андреевич Хованский с сыном Андреем?

— Повинен... Смертью казнить! — опять раздались голоса. — И откладывать дело нечего: палачей не занимать, поди, стать, всегда найдутся...

— Ты слышал, дьяк? — обернулась царевна к дьяку, читавшему обвинительный акт. — Поди же немедля к боярину Лыкову и скажи ему, что присудили бояре. Пусть Федя Шакловитый с тобой идёт для верности и стремян-

ных поболее захватит с собой на случай, ежели гиль какая выйдет. Оба идите и исполните, как бояре приказали.

Вовсе не ожидал столь скорого для себя конца несчастный князь Иван Андреевич. Когда он увидел, что приближается дьяк, то подумал, что его послали поторопить нового гостя с приходом на именинное пиршество. И вдруг вместо этого он услышал чтение грозного обвинительного акта и, прежде чем дослушал его до конца, уже понял, что настали последние мгновения жизни его и его сына.

— Богом клянусь, — воскликнул он, — что никогда ничего такого не замыслил, а если бы сын мой такое помыслил, так я своими руками удушил бы его.

Громкие клики стремянных заглушили слова осуждённого. Притащили из леса толстый обрубок дерева и этот обрубок заменил плаху. Один из стремянных вызвался быть палачом, и вскоре после того скатились с плеч головы и старого Тараруя, и его сына.

У той части русских людей, которая столь яростно противилась надвигавшемуся прогрессу, было вырвано могучее оружие. Так на-

зываются раскольники лишились единственного смелого человека, не задумывавшегося идти против укрепившейся династии новаторов Романовых; прогресс кровавым путём сделал новое завоевание.

XXXII ПОСЛЕ КАЗНИ



Огда князь Агадар-Ковранский увидел, как под неумелой рукой добровольца-палача скатились головы князей Хованских — отца и сына, — им вдруг овладело неистовое бешенство, приступов которого он не испытывал уже давно. Он совершенно забыл, что эти головы скатились не без его участия, что если бы не он, так, может быть, всё пошло бы по-иному: князь Хованский не очутился бы в столь жалком положении, и эта голова, столь дерзко думавшая о царском престоле, уцелела

бы на плечах.

Теперь в глазах Агадар-Ковранского оба эти человека были жертвами коварства, и их кровь вопияла к небесам об отмщении. Но кому же было мстить за них? У несчастного Тараруя, и его сына было много друзей среди московской знати, когда сила была на их стороне, но эти друзья — и явные, и тайные — не пошевелили бы пальцем, чтобы спасти обречённых, и несчастные жертвы остались бы одни в роковое мгновение своей жизни.

Всё это промелькнуло в голове Василия Лукича, и он, словно повинувшись внутреннему властному порыву, не помня себя от ярости, вдруг выкрикнул:

— Нечестивцы! Изверги! Да падёт эта кровь на головы ваши!

Этот крик, обратившийся в отчаянный вопль, резко нарушил мертвящую тишину, вдруг воцарившуюся около места казни. Он как бы привёл в себя сотни людей, словно застывших при виде ужасных мгновений, словно почувствовавших дыхание смерти, пронёсшейся среди них, нарушил великое очарование её, возвратил всех к жизни. А в следую-

щее же мгновение князь Василий Лукич почувствовал, как несколько рук ухватило его так, что он даже не мог двинуться с места.

— Стой, молодец! — услышал он над собой, — Откуда взялся.

— Чего спрашивать? — зазвучал другой голос. — Нечто не видно, что он из тараруевских ребят окаянных! Что с ним долго возиться? Плаха не убрана, пусть идёт сынок за батенькой, туда ему и дорога!

— Проклятые, — рванулся было князь Агадар-Ковранский, но его держали крепко, и попытка оказалась тщетною.

— Врёшь, негодник, не уйти тебе! — крикнул один из державших, — пришибить его, вот и вся недолга!

Несколько опомнившийся Агадар-Ковранский, словно в тумане, видел вокруг себя возбуждённые, дышавшие злобой лица. Его уже оттащили в сторону от дороги.

Пинки, тумачи, удары градом сыпались на него, но он не чувствовал ни боли, ни унижения. Ярость словно слепила его. По кафтанам и шапкам он различал, что его схватили стрельцы преданного царевне стремянного

полка, и, стало быть, о пощаде или хотя бы о промедлении казни и думать было нечего. "Стремянные" ненавидели всех тех, кто держал сторону Тараруя, теперь же они были распалены зрелищем его позорной смерти и искали, на ком бы сорвать свою ярость. Жертва была налицо, и некому было остановить этих разъярённых людей.

Но этого не случилось. Видно, князь Василий Лукич свершил ещё не всё, что суждено было ему свершить на земле.

— Эй, молодцы, — раздался властный оклик, — что ещё такое вы затеяли? Кого это вы уму-разуму учить задумали?

Услышав этот голос, стремянные оставили Агадар-Ковранского и даже несколько отступили от него. Тот взглянул вперёд и увидел пред собою Шакловитого. Князь Василий впервые видел его после встреч в Москве. Это был далеко не прежний шустрый подьячий. Фёдор Леонтьевич сидел на коне, молодецкато избоченясь, и гордо, даже презрительно смотрел пред собою. Когда он увидел порядком потрёпанного стрельцами князя Агадар-Ковранского, в его взоре не отразилось

ничего: ни удивления, ни сострадания. Он смотрел холодно и безучастно, как будто никогда ранее не видел Василия Лукича.

— Что у вас такое, молодцы? — переспросил он.

— Да вот, батюшка, — выступил один из стремянных, — вора поймали... проклятое тараруево отродье!

— Непохож что-то! — отозвался Шакловитый, — тараруевых-то деток, поди, сами выдаете; я чуть не каждого в лицо знаю, а такого что-то не видел!

— И из нас никто его не знает! — последовал ответ. — Неведомый человек, а нас всех паскудить стал, как тараруева голова с плеч скатилась! Ну, мы и взялись было за него!

По лицу Шакловитого скользнула тень недоумения. Он опять взглянул на Василия Лукича и даже слегка пожал плечами при этом.

— Вот что, братцы, — сказал он после недолгого раздумья, — вы-то — не тараруевы дети, престолу верны, а своевольничать начинаете, как и те, окаянные. Мало ли что бывает! Человек, никому из нас неведомый, а

вы за него принялись. Не дай Бог, зашибёте ещё...

— Что же делать-то с ним? Научи, кормилец! — слышались просьбы.

— Как что? Будто не знаете? А ещё государыне-царевне служите верой и правдой! На суд к ней, пресветлой, отвести его надобно, вот что! Как она присудит, так тому и быть!

— А и вправду, что так! — закричали кругом. — Человек неведомый, может, и не тараруев он бес. Волоки его, братцы, на село!.. Пусть сама царевна скажет, что с ним делать...

Василия Лукича потащили.

XXXIII

У КРЫЛЬЦА



Н даже не упирался и не отбивался, прекрасно понимая, что всякое сопротивление в его положении было бы бесполезно. Напротив того, очутившись пред правительницей, он всё-таки мог бы надеяться на некоторую пощаду: ведь как-никак, а Фёдор Шакловитый, очевидно, становился теперь большим человеком. Князю Агадар-Ковранскому не казалось странным даже его поведение у места казни. То, что Шакловитый сделал вид, будто не узнает князя Василия, было вполне естественно. Ведь если бы он и признался пред разъярёнными стремянными, что знает их пленника, то это разъярило бы их ещё более, и — кто знает — как бы могла закончиться внезапно вспыхнувшая свалка!

Всё это понимал князь Василий и покорно следовал за схватившими его стрельцами. Идти было не особенно далеко. После замечания Шакловитого стремянные обращались со своим пленником не так уже свирепо; их ярость, очевидно, уже прошла, и они теперь думали только о том, чтобы поскорее представить его своей возлюбленной царевне.

Вот и высокая тесовая изба, с красивым резным коньком. Она казалась лучшею из всех построек Воздвиженского. Да так и было: именно в этой избе приютилась на эти смутные дни царственная именинница. Толпа орущих стремянных вместе со своим пленником приблизилась к крыльцу и начала громкими криками вызывать к себе царевну. Несколько времени никто не выходил. Крики усиливались и привлекли любопытных и зевак.

Вдруг одно из окон приподнялось и под откидной рамой выглянуло красивое женское лицо.

— Царевна, сама царевна! — загудели голоса. — Будь здрава, мать наша, на многие лета!.. Пожалуй нас, матушка, своей милостью!

Выйди к нам!

Как-то совсем незаметно под навесом крыльца вдруг очутилось несколько бояр, образовавших собою внушительную группу, и только тогда на фоне этих величавых стариков появилась могучая, рослая женская фигура. Это сама царевна-именинница сочла нужным выйти на зов своих вернейших приверженцев.

Громкий клич радости огласил площадь; словно море вдруг заволновалось и зашумело от этих криков, рвавшихся уже из сотен могучих грудей. Шапки полетели вверх; видимо, восторг охватил всех этих людей. О пленнике забыли и он остался совершенно на свободе.

В эти мгновения князь Василий Лукич мог бы совершенно спокойно скрыться; ему для этого стоило только несколько податься назад, и тогда он очутился бы среди толпы, которая вполне укрыла бы его, и выбраться из которой уже не составило бы труда. Но он не сделал ни шага; он словно забыл сам в эти мгновения о всём на свете и стоял, как очарованный, глядя на царевну Софью, эту красавицу-женщину, гордо и дерзко смотревшую с

высоты крыльца на шумевшее пред ней человеческое море.

Князь Василий Лукич никогда до сих пор не видал близко царевны Софьи; он только слышал о её красоте, о её смелости, но никогда, особенно, не верил этому. Теперь он был вблизи этой богатыря-девицы, чувствовал на себе её огненный взгляд, и ему казалось, что вместе с ним в его душу проникает какая-то неотразимая сила, быстро завладевающая и его разумом, и его душою. Он и сам не понимал, что с ним творится, но забыл и жалкую смерть Хованского, и свою вспышку, и, если бы эта могучая женщина на крыльце сейчас вот послала бы его на казнь, он умер бы без сопротивления, без ропота, без сожаления, радуясь одному тому, что умирает по её приказанию.

Между тем крики несколько стихли, и, воспользовавшись этим, царевна властно заговорила своим несколько грубоватым голосом:

— Звали вы меня, молодцы? Вот и вышла я к вам. Что скажете, детушки? Зачем я вам понадобилась?

— Здрава будь, царевна-матушка, на многие лета! — рёвом ответила толпа на это приветствие. — Вот пришли мы к тебе с неведомым человеком. Стоял он около того места, где головы Ивашки Тараруя да его отродья, князя Андрюшки, с плеч скатились, и нас, твоих верных стремянных, поносными словами неведомо за что честил.

— Где ж он, этот человек? — спросила царевна, и в её чёрных глазах как будто блеснули недобрые огоньки.

Князь Василий Лукич почувствовал, как толпа сзади нажала на него и выдвинула вперёд, так что он очутился на нижней ступеньке крыльца, и в тот же самый момент он почувствовал на себе взгляд царевны-богатыря. Князь поднял голову и сам взглянул в упор на царевну. Их взгляды скрестились, как клинки, и, должно быть, в глазах князя Василия тоже было достаточно силы, потому что царевна слегка потупилась, на её щеках вспыхнул едва заметный румянец и голосом, менее суровым, чем прежде, она спросила:

— Ну, говори, не бойся, что ты за человек?
Агадар-Ковранский понял, что на его сто-

роне очутилась вдруг выгода положения и что он не пропадёт, если сохранит присутствие духа и смелость.

— Твоего царского величества слуга верный, — проговорил он, называя себя. — Никогда я против тебя, государыня, не шёл, оболгали меня людишки шумные. Сама, быть может, знаешь, что, не будь меня, тараруевы головы и до сих пор на плечах ещё оставались бы.

Царевна вскинула на него изумлённый взгляд, а затем произнесла:

— Ах, да, помню, помню! Дьяк Фёдор Леонтьевич уже не раз докладывал нам. Что ж, услуги нам мы не забываем, а поносить наших верных слуг тоже не годится.

— И не поносил я их, — дерзко ответил князь. — Говорю, шумны они! — намекнул он на нетрезвость многих стремянных. — А что сказал, то сказал. Сказал же я про Тараруя и его детёныша, а не про тех, кто их на казнь предал.

Однако, когда он снова взглянул на царевну, то сразу понял, что его слова пропали даром. Софья Алексеевна словно позабыла обо

всём, что происходило. Она глядела куда-то вперёд, через головы толпы, и на её лице появилось уже другое, отнюдь не суровое выражение. Улыбка так и расплылась по её красивому лицу, глаза смотрели ласково, она как будто видела вдали что-то такое, что вдруг сделало её счастливою.

— Так, так! — опомнилась она. — Ну, что ж, были у тебя, князь Василий Лукич, и заслуги пред нами, да ведомо мне, что и негодяйства тоже бывали. Так, памятуя заслуги твои, прошу тебя гостем быть моим, а вы, молодцы, ради именин моих, на князя Василия не гневайтесь и на мне не взыщите. Дорогой гость на именины едет, надо пойти по хозяйству распорядиться.

Всё это царевна говорила торопливо; она, видимо, волновалась и спешила уйти поскорее от всех этих людей, так внимательно стороживших каждое её движение, ловивших каждое её слово.

— Ишь заёрзала! — услышал позади себя князь Василий Лукич сдержанный шёпот. — Издалека увидала, что князь Василий Васильевич Голицын жалуется. Все бабы на один

лад.

Агадар-Ковранский оглянулся, чтобы взглянуть на дерзкого, но вместо этого увидел приближавшийся богатый, совсем не по-русски составленный, поезд. Вместо обычных вершников ехали впереди рейтары в немецких кафтанах, а за ними катилась богатая, нарядная карета с рослыми гайдуками на запятках. В тот же момент на плечо князя Василия опустилась чья-то рука, и ласковый голос, по которому он узнал Шакловитого, сказал ему чуть не на ухо:

— Ну, князь, вывернулись, так нечего глаза мозолить. Пойдём прочь скорей!

Шакловитый увлёк за собою князя Агадар-Ковранского. А последний даже не подумал о том, что теперь будет с ним. Он повиновался Шакловитому и был готов на всё, лишь бы не уходить отсюда, из этого кипевшего жизнью села. Чудовищной силой тянуло его к молодой царственной женщине, которую он увидел на крыльце. Он совершенно позабыл, что это — царевна, что она недосягаема для него, и видел в ней только женщину, красота которой очаровывала его. Слыша вокруг себя

мощные клики, которыми возбуждённая толпа приветствовала князя Голицына, Василий Лукич вдруг ни с того, ни с сего почувствовал, что адски ненавидит этого человека и с наслаждением всадил бы ему между рёбер нож, но в то же время сознавал, что князь Голицын для него совершенно недосыгаем, как недосыгаема для него и любовь могучей царицы.

XXXIV ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ



а кловитый увёл князя Василия в какую-то надворную постройку, приспособленную под жильё. Он, видимо, очень торопился, так как, приказав слугам накормить и напоить гостя, ласково сказал ему:

— А меня, князь Василий, уж прости. Пойду туда князю Василию Васильевичу покло-

ниться. Нельзя иначе: он меня любит, и я его привечать должен. Ты же, поди, устал после передраги... Вот покушай, подкрепишься, а потом ляг, сосни малость... Я, как только там освобожусь, приду к тебе и обо всём мы с тобой поговорим. Много есть нам, чем словами перекинуться; времена такие настали, что, ежели без разумения жить, так пропадёшь совсем. Так будь милостив, князь Василий, подкрепляйся; помни, что ты у меня и никто здесь тебя тронуть не посмеет.

Шакловитый исчез, и только теперь, оставшись один, Василий Лукич почувствовал, как он устал во все эти дни непрерывных скитаний по волновавшейся Москве. Он присел на лавку, хотел было налить себе вина из стоявшего на столе объёмистого кубка, но раздумал, отодвинул его прочь, потом опять придвинул, быстро налил чару до краёв, залпом выпил, осушил вторую, за нею ещё одну, другую и ещё несколько чар. Что-то так и жгло его внутри, страшно жгло; словно огонь какой-то невидимый палил всего его и нечем было утолить это мучительное пламя.

— Что со мной творится? — провёл он ру-

кой по голове. — Или стремянные так напугали, что меня со страха лихорадит.

Князь чувствовал себя совсем плохо; его глаза заволакивал белесоватый туман, всё помещение, где он находился, словно наполнилось его клубами, и в то же время Василия Лукича жгло, жгло так, что по временам ему казалось, будто у него горит кожа; а между тем его трясла лихорадка. Пред ним как бы в тумане рисовалось что-то, какие-то смутные фигуры отовсюду кивали ему головами. То ему представлялись люди с перерезанными горлами, трясущиеся, кивавшие ему, и в них недавний атаман разбойников узнавал жертв своих придорожных неистовств. Он ясно различал их лица, видел широкие кровавые раны; но это не ужасало его — уж слишком были привычны для него такие зрелища. Дальше в туманной дымке он видел нагло смеющееся лицо Ивана Милославского, виновника того, что он пошёл атаманствовать на большую дорогу. Рядом с ним выглянуло бритое, иссохшее лицо польского иезуита.

"Этот зачем? — удивился Василий Лукич. — Ведь я-то в его смерти неповинен. Ми-

дославский зарезал его, так зачем же он-то сюда пришёл?"

Однако и это видение, созданное распалённым от болезни мозгом, только мелькнуло пред князем и на смену ему в какой-то дымке глянуло другое — молодое женское — лицо, кротко смотревшее на него голубыми чистыми глазами. Василий Лукич сейчас же узнал его. Ведь эта была Ганночка Грушецкая, первая, кого он полюбил, действительно, искреннею любовью, та самая Грушецкая, которая стала потом русской царицею Агафьей Семёновной, и которую он пощадил в тот момент, когда распалённый вином и ядовитыми насмешками Милославских шёл, чтобы отомстить ей за измену, в чём она вовсе была неповинна.

Теперь, видя это лицо, Василий Лукич почувствовал, как увлажнились его глаза и какое-то чувство, мимолётно знакомое ему, чувство всепрощения, смягчало его неукротимую душу.

— Милая, милая, ненаглядная — зашептал он. — Помню я тебя. В душегубствах неистовых старался я позабыть тебя, в крови люд-

ской хотел утопить любовь свою, ан нет, не по-моему вышло. Ушла ты с этого света, ушла, даже и не ведая любви моей!

Князь простёр к дивному видению дрожавшие руки, но в белесоватом тумане вынырнуло новое красивое женское лицо, так и дышавшее могучей энергией, лицо с крупными чертами и с соболиными бровями, загнутыми дугою над горящими, как угли, глазами. Эти глаза глядели на Василия Лукича и словно жгли его своим искристым огнём. Неукротимо сердце князя-разбойника затрепетало, забилось, как попавшая в тенёта птица, и вдруг князь Василий Лукич нежданно для самого себя понял, что значит это последнее видение, отчего вдруг замерло его сердце и закружилась его пылающая голова.

На него — неукротимого, злобящегося — во второй раз в жизни снизошла любовь, любовь пламенная, всезахватывающая, всепоглощающая. Богатырь-царевна там, на крыльце, двумя-тремя взглядами взяла в вечный плен сердце князя Василия Лукича, и он чувствовал, что конца края не будет этой его новой неволе, что на всю жизнь он останется

безвольным рабом своей новой любви.

Нехорошо он почувствовал себя в это мгновение. Явилось удручающее сознание собственного ничтожества. В самом деле, что такое был он, разбойник с большой дороги, пред нею, царевной, правившей как государь целым народом, целой необъятной страной.

Сознание всего этого успокоительно подействовало на Василия Лукича. Он почувствовал, что силы возвращаются к нему, а томительный туман мало-помалу рассеивается. Однако, ему не хватало воздуха в этой душевной горенке и он чувствовал, что непременно должен выйти на воздух, дабы хоть несколько освежить себя. Повинуясь этому инстинктивному влечению, князь пошёл было к двери, но побоялся выйти обычным путём. Ведь за дверьми, непременно, кто-нибудь должен был быть и без надзора его не выпустили бы. Тогда он прибег к обычному своему способу: он выпрыгнул прямо в окно и очутился в саду, окружавшем эту избу. Сразу же он увидел пред собою ярко освещённое окно, и словно какую-то силу его так и повлекло к нему. Ночь была тёплая, окно оставалось откры-

тым, и князь Василий Лукич свободно мог заглянуть внутрь горницы.

XXXV

МУКИ ОЖИДАНИЯ



Василий Лукич стоял под окном, скрытый кустами уже давно пожелтевшей зелени. Он ясно видел всё происходившее в комнате с приподнятыми оконными рамами и узнавал тех, кто находился там. Прежде всего он увидел царевну-правительницу, Софью Алексеевну, а с нею был и князь Василий Васильевич Голицын. Они свиделись впервые после того, как было между ними тайное свиданье в заброшенной беседке голицынского сада.

Князь Василий Васильевич терпеливо переносил эту разлуку. Его натура была вполне уравновешена, он не был способен к резким порывам, умел ждать и подчинять свои жела-

ния обстоятельствам. Но царица Софья по характеру и пылкости была совсем другая. Порыв охватывал её всецело и всякое ожидание заставляло её нестерпимо страдать. Она даже несколько растерялась, когда увидела приближавшийся поезд своего "лапушки" и, только сделав большое усилие воли, овладела собою и приняла нового именитого гостя, как подобало её сану и положению.

Однако тут её выдержки хватило ненадолго. Все присутствовавшие при этом приёме заметили, как сильно волновалась царица. Она то бледнела, то краснела, то вдруг становилась не в меру разговорчива, то неожиданно замолкала. Всем со стороны было видно, что она непомерно томилась. Наконец, она не выдержала и под предлогом усталости удалилась в свою опочивальню.

Это было как бы сигналом к тому, чтобы всем расходиться на отдых после этого чреватого событиями дня.

— Мамушка! — кинулась на шею старой своей мамке царица, когда осталась одна с нею в просторной горнице, обращённой теперь в её спальню. — Тяжко мне, милая, инда

места не нахожу себе нигде...

— Да уж вижу, всё вижу, — несколько ворчливым тоном ответила старуха — мне и говорить не надобно! Ждёшь ты — не дождёшься сокола-то своего!

— Жду, мамушка, — откровенно призналась Софья, — и так жду, что сердце так вот на части и разрывается...

— Ну, и пожди ещё малость времени, приведу я его к тебе. До утра времени много; вдосталь намилиуетесь!

Вульгарное слово ударило царевну по нервам.

— Ты, старый пёс, что это такое? — вдруг вспыхнула она. — Что я, девка, что ли, чёрная, что свиданья дожждаться не могу? Не для забавы у меня свет мой Васенька, а друг собинный! Ты попомни! — даже затопала она ногами на старуху. — Ежели хочу его видеть, так не для одной своей забавы, о коей и не помышляю даже, а для беседы душевной о делах государских.

Такие переходы от ласки и нежности к пламенным гневным вспышкам были у царевны нередки. В гневе Софья Алексеевна бы-

ла прямо-таки страшна. Её лицо всё искажалось, губы начинали подёргиваться, глаза метали молнии, и разгневанная царевна могла перепугать и нетрусливого человека. И теперь, как ни привыкла мамка к этим сценам, а всё-таки струсила не на шутку.

— Прости, матушка-царевна, меня, неразумную, — робко сказала она, сопровождая свои слова поклоном, — по глупости, разве, обмолвилась я.

Вид оробевшей старушки подействовал успокаивающе на царевну-богатыршу.

— Вот так-то все вы! — смягчилась она и потом заговорила уже с кротостью: — Все вы одним миром мазаны! Этакую тяготу пришлось мне поднять, врага такого сломить! Да и не сломлен он ещё совсем-то: только у двух Хованских головы слетели.

— Ещё отродьнице, князь Ивашка, остался, — напомнила старуха о втором гульливом сыне казнённого старика, — ещё бед немалых понаделать может, того и гляди стрельцов подымет.

— Не боюсь я стрельцов! Раскольники бо-гомерзкие — вот кто страшны! По всему цар-

ству они рассеяны, и, где хоть один из них есть, смута тлеет. Вот кто мне страшен! А с ними вот так, как с Хованскими, не управишься, все головы раскольничьи за один раз не снесёшь. Вот и нужно думать, как от этой проклятой гидры упасть. Голова же у меня одна, да и голова-то, притом, бабья. Вот и хочется, чтобы при мне была голова мужа достойного, чтобы могли мы вместе над государским делом думать. Васеньку Голицына я для того избрала и будет он при мне до скончания живота моего. С ним я власть свою разделю, а не для забавы он мне нужен. Поди, старая, приведи его!

XXXVI
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ



Е минуты, которые провела Софья Алексеевна одна в ожидании князя Василия Васильевича, показались ей особенно длительными; они тянулись бесконечно, время словно остановило свой лет, мучая влюблённую женщину.

А разных мыслей и отрывков несвязных дум столько роилось в этой гордой головке, сколько ещё никогда не тревожило её во всё то недолгое время, когда ей, царевне-богатырше, пришлось взять на себя всю тяготу управления великим государством.

Она, очутившись без всякой подготовки у власти, часто терялась, не зная, как ей поступить, чью сторону держать. Отовсюду предъявлялись настойчивые требования, каждый

из близких людей хотел, чтобы дела правления шли так, как ему хотелось. Даже такие родные люди, как Милославские, в особенности, старший дядя, Иван Михайлович, действовали только для себя, и нужд государства словно не существовало для них. Софья Алексеевна, хоть и богатыршей была духом и телом, всё-таки была женщиной и мыслила поженски. Ей была нужна опора, а кто же и мог быть надёжной опорой, как не человек, которому уже давным-давно было отдано её девичье сердце?

— Васенька, светик мой радостный! — крикнула Софья Алексеевна, увидав входящего в её покой князя Голицына. — Да и встосковалась же я, тебя ожидаючи!

Она бросилась к князю и порывисто обняла его. Прозвучал долгий, полный жгучей страсти поцелуй, другой, третий. Потом влюблённая царевна откинула назад голову Василия Васильевича и жадным, испытующим взором с минуту или две вглядывалась в его лицо, как бы желая проникнуть в тайники этой души, узнать самые затаённые помыслы этого дорогого для неё человека.

Эту самую сцену и видел стоявший под окном князь Агадар-Ковранский.

Сперва дыхание остановилось у него в груди, в глазах потемнело, а в горле словно заклокотало что-то. Его рука сама собою потянулась к поясу, нащупывая рукоять ножа. Но это длилось только мгновение, кровь отхлынула от головы и перестала туманить мозг, руки бессильно опустились, весь он поник и как-то сразу ослаб. Он слышал поцелуи, страстный лепет, и нестерпимая тоска вдруг охватила его сердце.

"Нет! — вихрем летели в его мозгу мысли. — Видно, не суждено мне любить счастливо, не для меня на роду счастье написано!.."

И тут вдруг ему припомнилась его любовь к Ганночке Грушецкой, вспыхнувшая в его страстной душе вот так же неожиданно, как и теперь. Тогда она всецело родилась из жажды мести, но всецело овладела им. Это была бешеная страсть, и она не нашла себе ни малейшего удовлетворения: ведь Ганночка даже не узнала, что князь Агадар-Ковранский любил её, он в её жизни был лишь мимолётным воспоминанием. Она даже не узнала о том, что

только внезапно всколыхнувшийся в неукротимой душе добрый порыв отвёл от неё смертельный удар.

Теперь случилось то же. Сразу был очарован Василий Лукич другой женщиной, и эта женщина, опять всколыхнувшая его душу, уже принадлежала другому.

Так и стоял неукротимый князь, около стены под окном, и всё слабела и слабела его душа, замирал его мятущийся дух, ослабевала недавно ещё могучая воля. А в открытое окно ясно слышался любовный лепет. В людях сказалось человеческое: ради любви было позабыто всё на свете, нежному чувству уступили место все тревоги и заботы.

Посерела недолгая сентябрьская ночь, на востоке загоралась предрассветная заря.

— Новый день зачинается! — проговорил князь Василий Васильевич, тихо подводя Софью Алексеевну к поднятому окну, сквозь которое врывались в неосвещённый покой утренняя свежесть и первые лучи ещё невидимого солнца. — Видишь, ненаглядная?

— Пусть эта заря будет нашею зарею! — томно ответила Софья, — помни, Васенька: и

на жизнь, и на смерть вместе.

— Да будет так! — с чувством проговорил Голицын.

В этот момент ему кинулась в глаза чья-то фигура, быстро удалявшаяся к воротам сада. Это уходил сломленный любовью князь Агадар-Ковранский.

XXXVII ПОСЛЕ ВСПЫШКИ



Же на другое утро по Воздвиженскому разнеслась весть, что на Москве бунтуют стрельцы, поражённые слухом о казни своего батеньки Тараруя. Они, охваченные мстительным порывом, разобрали оружие и попробовали поднять бунт. Кремль был занят ватагами стрельцов, у которых оказались даже пушки, самовольно захваченные ими на Пушечном дворе. Стрельцы дошли до такой дерзо-

сти, что толпились на Крестовой у патриарха и грозили убить его. К ним скоро присоединились солдаты бутырского полка, также вооружившиеся и также озлобившиеся на отсутствующее правительство. Словом, вспыхивал новый бунт, грозивший залить кровью всю Москву.

Но в Воздвиженском уже не страшились этих новых волнений. Без Тараруя стрельцы отнюдь не казались опасными.

Тем не менее, весь двор перебрался из Воздвиженского в Троицко-Сергиевскую лавру, и она сейчас же была приведена в осадное положение; вместе с тем во все окрестные города поскакали придворные люди с царскими грамотами о том, чтобы служилые люди сходились к лавре в полном вооружении на защиту великих государей от злых врагов.

Главное начальство в многострадальном монастыре, превращённом в крепость, было возложено на князя Василия Васильевича Голицына, в Москву же для распоряжения был отправлен боярин Михаил Петрович Головин, человек нрава крутого и решительного.

Он своими распоряжениями показал вол-

новавшимися стрельцам, что их теперь не боят­ся. Да те и сами поняли это: сбор служилых людей к Троицко-Сергиевской лавре нагнал такого страха на "надворную пехоту", что многие стрельцы плакали, как дети, и вскоре же пришли к Головину с челобитной о царском жаловании их великою милостью: позволением быть при государях их выборными. От Головина они ходили с таким же челобитием к патриарху и так странствовали от одного вершителя их судеб к другому, пока, наконец, не вымолили себе указа "быть к государям в лавру стрелецким выборным по двадцати человек от полка".

Грозно встретила этих выборных правительница-царевна. Она сама вышла на крыльцо к ним и, буквально, кричала на них, понося их разными словами. Но волей-неволей приходилось им слушать: проиграно было стрелецкое дело!

Однако, стрельцы в ту пору не знали того, что их московская смута перекинулась в разные области и, особенно, на юг, в казацкие стороны. Там приводился, очевидно, в исполнение раскольничий план. Не осведомив-

шись о том, в каком положении было московское "действие", раскольничьи агитаторы всюду, где было только возможно, поднимали гилы и смуты. Во многих городах стрельцы отказывались слушать воевод, и к ним подставала жадная до всяких бесчинств чернь, всюду ходили по рукам подмётные "воровские письма". Однако все эти вспышки были разрознены, не было согласованности в действиях, а потому грандиозные замыслы о восстановлении старой веры всюду терпели крушение...

Двор не особенно торопился с возвращением в Москву, и из лавры правительница именем великих государей рассылала свои указы.

Конечно, они прежде всего касались виновников всей этой передраги — стрельцов. Было уничтожено их прозвание "надворной пехоты", которым они крайне гордились, и вместо того явился уже официальный "Стрелецкий приказ", главным начальником которого был назначен дьяк Фёдор Леонтьевич Шакловитый.

К концу октября вся смута была ликвидирована и 6 ноября двор торжественно возвра-

тился в Москву.

Князь Василий Васильевич Голицын возвратился в столицу первым лицом в правительстве после царевны: он уже носил титул "Царственные большие печати и государственных великих посольских дел сберегателя".

XXXVIII

ПОСЛЕ РАССЕЯВШЕЙСЯ БУРИ



Москве после всей этой стрельцкой перестрелки воцарились давно желанные мир и тишина. Внезапно налетевшая буря, казалось, на этот раз не оставила и следа. До "крови" не дошло, стрельцов удалось укротить без массовых казней. Они поняли, что со смертью Хованских их дело проиграно, что не вождем им и не мстителем за погибших отца и брата гуляка-князь Иван Хованский. Все его попыт-

ки поднять стрелецкую гиль не шли дальше кружал, и если причиняли кому беспокойство, то только присяжным целовальникам, не всегда уверенным, что подгулявшие стрельцы уплатят за выпитое.

Железные руки Фёдора Шакловитого сдерживали даже самых завзятых буянов от открытого бунта. Да и немного прежних стрельцов оставалось на Москве. Все полки, которые были нагнаны в столицу из городов, были возвращены обратно. Из Москвы прежде всего были удалены самые буйные астраханские стрельцы, главный раскольничий оплот прежней "надворной пехоты", самые яростные противники всяких новшеств. Заместившие их новички держались пока тише воды, ниже травы. Стрелецкие полки незаметно, но быстро из преторианской гвардии обращались в самый заурядный гарнизон, и против них была выдвинута теперь новая сила — солдатские полки, число которых всё возрастало.

У стрельцов, несмотря на уничтожение звания "надворной пехоты", всё ещё сохранились кое-какие привилегии, у солдат же не

было никаких. И это было причиною ожесточённой ненависти последних к первым. Таким образом, одной грубой силе была противопоставлена другая. Обе эти силы были парализованы этим в том случае, если бы они вздумали обратить своё оружие против правительства.

В эту пору у всех в Москве было в памяти и сердцах имя князя Василия Васильевича Голицына, "сберегателя", как все называли его. Именно ему все приписывали то, что смута промелькнула мимо, не залив столицы кровью.

Женский ум и в те времена стоил малого в глазах русских людей. Как бы ни была талантлива правительница, её талантливости не замечали, а вместо неё видели "сберегателя". Он начинал развёртываться во всю мощь своего недюжинного таланта и вёл внешнюю политику московского государства так, что пред Москвою стали заискивать зарубежные соседи.

И в самом деле, никогда ещё Москва не видала столько иноземных посольств, сколько в эти первые дни и месяцы всевластия царев-

ны Софьи. Князь Голицын так ловко повёл дело, что был заключён "вечный мир" с Польшей, по которому к России отошла вся Малороссия с Киевом и киевский митрополит оказался в подчинении у московского патриарха. Само собою, при этом вместо ненавистника России, гетмана Дорошенко, был "избран" гетманом, уже обоих берегов Днепра и всей Украины, пронырливый Иван Степанович Мазепа — человек, лучше которого и нельзя было желать для Москвы на этом посту. Таким образом, Малая Россия воссоединилась с Великою Россией, а это был шаг, недоступный для дипломатов предшествовавших царствований.

Другим блестящим делом "оберегателя" было вступление России в "священный союз народов против турок", который тогда возник в Западной Европе. "Оберегатель" так ловко повёл дело, что России было предложено вступление в союз, а не сама она входила в него. Турки в то время были в нынешней Подольской губернии. Польша должна была вести с ними ожесточённые оборонительные войны, и участие России в союзе обеспечива-

ло от них Европу.

Благодаря этому, европейский дух со всеми его стремлениями к новшествам благодетельного прогресса и эти стремления встречали в московском государстве благодатную, готовую к их восприятию самобытную почву. Прогресс шёл естественным путём; образование быстро развивалось, крепчала Русь великая...

Многочисленные посольства, прибывавшие в Москву со всех концов Европы, различные торжества по случаю их прибытия, на которые отнюдь не скупилась правительница, приучали русских людей к братанью с иностранцами. Москвичи, а через них и вся Россия, видели, что и за рубежом живут такие же, как и русские, люди, и Бог так же, как и в Москве, всяким их грехам терпит.

Начиналось великое сближение русско-азиатского Востока с европейским Западом.

XXXIX

МРАЧНЫЕ ТЕНИ



Ужно ли говорить, как была упоена восторгом молодая правительница в эту счастливую пору своей жизни? Всё удавалось ей, её имя гремело по всей Европе и было славно не менее, чем имя её родителя, положившего могучее начало единения России с Европой. Великие замыслы роились в женской полной фантазии головке, но центром всех дум и мыслей царевны-богатырши всё-таки оставался её собинный друг-"оберегатель".

И вот однажды, покончив с государственными делами, Софья и Голицын заговорили уже не как государыня и её первый министр, а как добрые друзья, крепко спаянные вместе искреннею, хотя и потерявшею пылкость, любовью и общностью интересов и идеалов, ко-

торым оба они служили.

— Помнишь, свет Софьюшка, — проговорил Голицын, откладывая в сторону только что доложенную им правительнице "статью" о каком-то важном посольском деле, — помнишь ли ты, как мы с тобою в утро после казни Хованского у окошка стояли и восходящею зарею любовались?

— Помню, Васенька! Как не помнить! — ответила царевна. — То была наша заря...

— А за зарей, — вздыхая произнёс князь Василий Васильевич, — всегда утро и полдень следуют, а там — глядишь — совсем незаметно и вечер с ночью подходят; а ночи после ясной зари бывают тёмные, непроглядные. Случается так, что ни единой звёздочки на небе не светит, и после яркого дня человек такую ночью чувствует себя, как в сырой могиле.

— Ты к чему это, князь Василий? — спросила царевна.

— А к тому, несравненная, — тихо проговорил Голицын, — что, чувствуется мне, короток будет наш день, ночь же наша близка...

— Экие у тебя мысли, Васенька! — досадли-

во отмахнулась царица. — И с чего они только к тебе приходят? Кажется, всё ладно идёт; все к нам с уважением относятся, разные там короли из-за рубежа и мне, и тебе хорошие подарки шлют. Стрельцы окающие уняты: умеет справляться с ними ставленник твой, Федя Шакловитый, да и раскольники примолкли, будто их и не бывало никогда. Во всём прочем тоже всё ладно идёт и нечего нашему дню к закату близиться. Далёк ещё он, закат-то твой!..

— А что ж ты, царица, разве о своих братьях-царях позабыла? — тихо спросил "сберегатель". — Царь-то, Петрушенька, растёт не по дням, а по часам. Вишь ты, царица Наталья Кирилловна уже и о невестах для него думает.

По лицу Софьи Алексеевны скользнула мрачная тень, и оно сразу же приняло жестокое, портившее её красоту, выражение.

— Не забывала я о них, о братьях-то, — глухо произнесла она, — а всё же так я думаю, что для нас с тобой, князь Василий, да и для нашего государства, куда было бы лучше, ежели бы этих братьев и во век не было.

— Нехорошие мысли, царевна, — перебил её Голицын, — злые мысли! Что бы мы с тобой о себе ни думали, как бы хорошо дело наше ни было, а всё-таки цари они законные, на престол венчанные, и народ пойдёт за ними, а не за нами.

Брови царевны нахмурились ещё более.

— А ежели не пойдёт? Ежели мы народ отворотим от сего пути и заставим его под нашу дудку плясать? Что ты тут скажешь?

— Ничего не скажу, царевна. Незаконное это дело будет. Люблю я тебя, моя ненаглядная, пуще всего на белом свете. Служу тебе, как самому себе не служил бы никогда, а против совести своей идти не могу вовеки. Совесть же мне говорит, что, как только окончательно войдёт в разум царь Пётр Алексеевич, так и должны мы будем передать ему царство. Он — законный царь, он должен наш народ к великому счастью вести. Это — его право.

— Да куда-то он его с такого ума своего заведёт! — упрямо возразила царевна. — Сам знаешь, каков он! Ещё только-только подрастать начал, а уже от великого шумства голова

трясётся, как у кружального завсегдатая. Хорош царь будет!

— А кто виноват, царевна? — чуть слышно проговорил князь Василий Васильевич и в упор посмотрел на Софью.

Та не выдержала этого взгляда и потупилась.

— Ну, полно нам говорить с тобою о том, что будет! — воскликнула она, оправляясь от невольного смущения. — Ежели такое с ним приключается, так его мать в том виновата. Чего головой-то качаешь? — вдруг раздражилась она, заметив, что "оберегатель" укоризненно покачал головой. — Я его не спаиваю, даже видеть редко вижу, так что в ответ за него никогда не буду... А ты об этом брось говорить и думать! Помнишь, поди, какое мы слово друг другу сказали, когда наша заря на небо восходила тогда в Воздвиженском?

— Помню, царевна! — ответил Голицын. — Порешили мы с тобою и в жизни, и на смерть рука об руку идти...

— Ну, так вот и всё тут. Жить живём, своё дело делаем, а ежели смерть придёт, так не два раза умирать. Только, ежели она, смерть-

то, раньше времени придёт, я ей так не сдамся. Недаром мне от Господа неженская сила дана. Уж только ты-то меня, Васенька, не оставляй! — под влиянием быстро сменившегося порыва совсем уже плаксиво, по-женски, заговорила царевна-богатырша. — Знаю, будет мне худо тогда!.. Все побегут прочь — и не пожалею я о других. Ты уйдёшь — солнце на небе для меня померкнет...

— Не уйду я сам, — кротко проговорил Голицын, — но разлучат нас с тобою, когда наша ночь надвинется. Не помилуют нас, царевна...

— Что? Разлучат? — полная яростного гнева, воскликнула Софья Алексеевна, и её глаза так и заметали молнии. — Уж не нарышкинец ли посмеет на это? Так я тогда батюшкина государства не пожалею. Раскольников всех подыму, стрельцов на него спущу. Он пропадёт, а мы с тобою, как были, так и останемся.

Князь Василий молча смотрел на неё.

А царевна мощным усилием воли подавила охвативший её порыв и заговорила уже другим, властным тоном:

— Князь Василий, все государи из-за рубежа мне с великой похвалою о твоих, оберегатель, великих делах пишут. Говорят, что другого такого, как ты, и на земле нет, а я вот думаю, что мало видит тебя народ наш и славы твоей не замечает. Так хочу я, чтобы оберегатель мой и царства и на ратном поле стяжал себе великую славу. Тогда вся Русь увидит и восхвалит его, а потом, — она опять перешла на интимный тон, — уж если старый Тараруй меня себе в жёны метил, да не пошла я за него, так, может быть, славный герой-победитель к тому времени овдовеет и меня, старую да некрасивую, после честного венца своей женой назовёт.

Она стояла пред Голицыным, вытянувшись во весь свой богатырский рост, и её красивое лицо горело восторгом, князь же Голицын, глядя на эту жгучую красавицу, грустно-грустно улыбался.

ОСУЩЕСТВЛЁННЫЕ МЕЧТАНИЯ



С тавшись после ухода Голицына одна, царевна Софья Алексеевна вдруг залилась слезами, — горькими, обильными слезами! Слёзы совсем не шли к её лицу и делали её некрасивой, но, оставаясь одна, Софья Алексеевна в последнее время нередко давала волю своим чувствам, в особенности, той тревоге, которая уже давно накапливалась в её сердце, но которой она ни за что не показала бы ни пред кем на свете, даже пред своим свет-Васенькой...

Всё то, что говорил ей в это свидание князь Василий Васильевич, она и сама уже давно чувствовала, понимала и только силою воли старалась отстранить от себя тягостные думы. Царевна чувствовала всю непрочность своего

положения "около престола". Она понимала, что, как только её брат Пётр достигнет совершеннолетия, ей придётся уйти, и это страшно пугало её. Страшила её та участь Голицына, которая могла последовать, если бы над ним очутился ненавидевший его брат Пётр. Он — царь Пётр — и её самое, свою родную сестру-то, терпеть не мог, и Софья знала об этом, а тех, кто служил ей, прямо-таки ненавидел.

И вот в богатырской голове царевны давно уже созрела смелая мысль заставить весь народ полюбить её фаворита. Для этого-то она и хотела облечь его ореолом народного героя, и это вовсе не казалось ей трудным. Русское царство сильно страдало от крымцев, постоянно тревоживших своими неистовыми набегами юг тогдашней России. Тот, кто разорил бы это проклятое гнездо, мог бы приобрести себе великую славу, стал бы народным героем. Так отчего же победителем крымцев не сделаться её свет-Васеньке?

Однако царевна знала, что неохотно пойдёт на это князь Василий, что он — враг всякого кровопролития ратного. Но и это не особенно смущало её: она была уверена, что так

или иначе ей удастся уговорить своего любимца принять ратное поле. Не спрашиваясь "оберегателя", она послала на Днепр к казакам Фёдора Шакловитого, чтобы обследовать всё это дело. А тот исполнил её поручение тщательно и донёс, что все казаки — и днепровские, и украинские — ждут, не дождутся, когда могучая Москва двинется на их вековечного врага. Тогда Софья Алексеевна принялась за своего свет-Васеньку, и ей удалось очень скоро уговорить Голицына отправиться в Киев для переговоров, а в случае надобности, и принять на себя начальствование в походе, если бы таковой состоялся.

Голицын отправился с большой неохотой. Он как раз в то время вёл переговоры с Китаем об исправлении границы, но тем не менее решил отправиться походом на крымцев, предварительно заключив знаменитый Нерчинский договор, благодаря которому Россия стала ближайшим соседом Китая. В 1686 году во главе сотысячного войска он выступил в поход.

Ещё раз пред походом царевна тайно свиделась со своим собинным другом. Мно-

го-много было переговорено между ними на этом свидании. Хмур был князь Василий — ведь он шёл на такое дело, к какому никакого желания не чувствовал. Невесела была также и царевна.

— Не боюсь я, Васенька, — сказала она, — за тебя. Знаю, что ты здоров и невредим с похода вернёшься, а щемит моё сердце оттого, что не ведаю, как этот поход кончится, будет ли в нём слава для тебя.

Голицын ни слова не ответил на этот вопрос. Ему больше, чем Софье, было известно, что не оправдаются их надежды. Нигде на земле русской места не было, в котором бы не плакала жена, мать, невеста, сестра, не горевали бы родители и родные. Дал себя почувствовать набор стотысячного войска!

XLI РОКОВОЙ ЗАКАТ



Первый крымский поход князя Василия Васильевича Голицына не оправдал надежд, которые возлагала на него правительница. Он не был неудачен, но и не было свершено никаких таких подвигов, которые стяжали бы "оберегателю" славу героя. Крымское гнездо осталось невредимо и даже нисколько не пострадало, так как русские войска не проникли вглубь полуострова.

Понадобился второй поход.

На этот раз было собрано 112 000 войска, и 20 мая 1689 года русские стали уже у Перекопа, укрепленного замка, защищавшего ров через перешеек. За этим рвом был Крым. Для настоящего полководца оставалось только шагнуть вперед, так как оба укрепления Пе-

рекопа не могли оказать серьёзное сопротивление, но "оберегатель" был не полководцем, а дипломатом, и вместо решительного натиска повёл переговоры с ханом, надеясь так "напугать" его, что он и без битв на ратном поле сделает всё, что хотелось врагу. Хан и "испугался". Он собрал у Перекопа свои бесчисленные орды, перепортил колодцы, и русскому войску волей-неволей пришлось уйти.

Татары даже не преследовали его, и когда "оберегатель" послал подробное донесение обо всём этом правительнице, то она даже в восторг пришла, несмотря на явную неудачу.

Действительно ослеплённая страстью царица была в восторге от того, что "свет её ясный" избег страшной опасности и возвратился здоровым из степного похода, где он мог погибнуть со всем войском. Голицын казался ей "вторым Моисеем", проведшим своих людей по дну морскому.

Но так смотрела на ратные подвиги "оберегателя" только одна правительница, отуманенная, ослеплённая своею любовью, всё же кругом — и знать, и народ — видели только неуспех, и все её восхваления казались им

просто смешными. Софья же в своём ослеплении ни с чем не считалась. Всё, что говорилось о неудаче обоих походов, она приписывала недоброжелательству, зависти, обычным проидам.

Когда князь Василий Васильевич возвратился в Москву, ему была устроена триумфальная встреча, как будто он и в самом деле стяжал себе лавры героя под Перекопом.

Однако, этот умный и, главное, честный человек прекрасно знал, что замыслы царевны провалились и что уже наступало начало его и её конца. Когда он в качестве "триумфатора" прибыл в царские палаты на поклон великим государям, то, прежде чем взглянуть на "свою царевну", он поглядел на высокого, очень похожего на неё юношу, сидевшего на втором царском месте; он поглядел, и нехорошо стало у него на сердце!

Это был младший царь Пётр Алексеевич, которого Голицын не видел больше двух лет. Рядом с недоумком-братом Иоанном V он производил неотразимое впечатление: высокий, статный, с таким же, как и у сестры Софьи, горящим взором, с заметно подергивающеюся

головой, он показался "оберегателю" истинным властелином, таким, какими уже давно представлял себе Голицын московских властителей. Когда он перевёл свой взор на стоявшую рядом с царским престолом правительницу, то она показалась ему слабой и жалкой женщиной, ничтожеством, которое этот подросший богатырёк мог раздавить и уничтожить в каждое мгновение.

"Вот он, вечер-то ненастный! — невольно подумалось Голицыну, — и близкая ночь непроглядная... Где-то только будут моя да Софьюшкина могилы?"

Но царевна была наверху блаженства; в мгновение радостной встречи будущее словно перестало существовать для неё, а потом даже не пошли, а помчались с быстротою молнии дни великого упоения. Влюблённая правительница словно позабыла о всех государственных делах, к которым она была так прилежна. Она упивалась своею любовью, словно стараясь наверстать всё то, что было потеряно в дни горестной разлуки.

"Оберегатель" пытался вернуть царевну на прежнюю деловую почву. Он указывал ей на

подростка-брата, на то, что не за горами то время, когда им придётся "сдавать царство" молодому царю. Однако Софья и слушать об этом не хотела.

— Ему, нарышкинцу, государство сдать? — со смехом восклицала она. — Да не бывать тому во-веки!.. Что он за царь? Недалеко от Иванушки-братца ушёл... Ты, оберегатель мой, только посмотри на него: женат, дитя ждёт, а сам только и делает, что в солдатики играет. Вон потешных себе завёл, с ними забавляется. Теперь в Кокуй-слободу к немцам зачастил, говорят, прелестницу, Монса кабатчика дочку, там себе подыскал, с ней там хороваются. Нет, не царь это! Государство погубит, ежели ему престол передать! Так и не бывать этому!.. Сказала, что стрельцов на него напущу, раскольников подыму, смуту великую настрюю, а всё-таки к царским делам загорожу ему дорогу... Ты, хоть и не венчаный, а царём через меня будешь. И устроим мы народ наш в счастье, на новый лад все порядки в нашем царстве заведём... И то уже много новшеств наш народ принял.

В самом деле дивное было это время неза-

метно, но быстро двигавшегося благодетельного прогресса. Без всякой ломки новшества входили в народный обиход. Их никто народу не навязывал, он сам принимал их. Эволюция совершалась правильно. Но не судил Бог счастья многострадальной России! Близка была гигантская ломка, поставившая великий народ в хвосте всех его ничтожных соседей...

Солнце царевны-богатырши уже закатывалось, но она, упоенная своим счастьем, не замечала этого заката: ей, бедной, казалось, что всё ещё длится безоблачный день.

Примечания

1

Первая невеста царя Алексея Михайловича, избранная им, но внезапно до венца заболевшая.

[^^^]

2

"Сволочь" в то время не было бранным словом.

[^^^]

3

В 1590 году, прекратился род Милославских в 1791 году.

[^^^]

Молодая царица родила единственного ребёнка, умершего во младенчестве, — царевича Илью Фёдоровича. Скончалась она на третий день после родов 14 июля (24 июля) 1681 года от горячки.

[^^^]